ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМ.-ЖУРНАЛ



№ 6

ИЮНЬ

ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА"

МОСКВА 1-9-2-7

Цена 1 р. 50 к.

„ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА“

ежемесячный философский и общественно-экономический журнал

Журнал выходит под редакцией: **А. М. Деборина, А. А. Максимова, М. Н. Покровского, Я. Э. Стэна, А. К. Тимирязева** и **А. Я. Троицкого.** Отв. редактор **А. М. Деборин.**

В журнале принимают участие:

И. Агол, И. Альтер, А. Айхенвальд, Арк. А—в, В. Асмус, В. Астров, Гр. Баммель, А. Бартенев, Я. Берзтыс, А. Болотников, В. Борзенко, Б. Борилин, Н. Бухарин, В. Ваганян, И. Вайнштейн, П. Виноградская, А. Вишневский, А. Вознесенский, Р. Выдра, Б. Выропаев, Б. Гессен, С. Гоникман, Б. Горев, И. Дашковский, А. Деборин, Ш. Дволайцкий, Г. Дмитриев, Ф. Дучинский, В. Егоршин, Б. Завадовский, Г. Зайдель, Н. Звенигородцев, П. Ионов, Ф. Капелюш, Ник. Карев, В. Кирпотин, Б. Козо-Полянский, В. Колоколкин, К. Корнилов, А. Кон, Ст. Кривцов, И. Куразов, М. Левин, Н. Ленцнер, Б. Лившиц, Н. Лукин-Антонов, И. Луппол, А. Максимов, Дм. Марецкий, Л. Мендельсон, К. Милонов, В. Милютин, Я. Мирошхин, Ф. Михалевский, С. Моносов, В. Невский, И. Орлов, М. Павлович, Е. Пашуканис, В. Позняков, В. Полянский, М. Покровский, И. Разумовский, Я. Розанов, М. Рубинштейн, Н. Рубинштейн, Д. Рязанов, И. Сапир, П. Сапожников, Н. Саргин, А. Серебровский, А. Слепков, Вас. Слепков, И. Степанов, А. Столяров, П. Стучка, Я. Стэн, А. Тальгеймер, Ф. Тележников, А. Тимирязев, А. Троицкий, Г. Тымянский, А. Удальцов, Ю. Франкфурт, Ц. Фридлянд, В. Фриче, З. Цейтлин, Г. Шмидт и др.

Адрес редакции: Москва, Тверская, 48. Тел. 1-21-16, кремлевский 3-90.

Прием по делам редакции от 12 до 2 час.

Непринятые рукописи не возвращаются.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ
И ОБЩЕСТВ.-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

№ 6

ИЮНЬ

ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА“
МОСКВА—1927

Главлит № 93872 Москва. Тираж 4.500 экз.

Тип. изд-ва «Правда» и «Беднота». Яузский мост, Серебрянич. наб., д. 23а.

СОДЕРЖАНИЕ.

Стр.

Из неопубликованных рукописей Ф. Энгельса.

От редакции.

„Представителей абстрактной немецкой философии, доведенной до крайних логических выводов“ [1]), Бруно Бауэра и Макса Штирнера, Маркс и Энгельс считали в 1845 году единственными серьезными теоретическими противниками своего критического коммунизма. Над Бауэром они держали суд в „Святом семействе“, но с индивидуалистическим анархизмом Штирнера им не удалось открыто посчитаться. Как известно, написанная ими в 1845—1846 гг. „Немецкая идеология“—мощная критика философии после-гегелевского периода и „истинного социализма“—где в самом большом разделе, озаглавленом „Святой Макс“, они подробнейшим образом разобрали учение Штирнера, была в свое время предоставлена „грызущей критике мышей“ и в значительной своей части до сих пор не напечатана.

Из материалов института Маркса и Энгельса мы опубликовываем теперь, с любезного разрешения Д. Рязанова, два документа, в которых Энгельс высказывается о Штирнере, написанные в разное время и остававшиеся до сих пор неизвестными, из которых видно, что скоро после революции 1848 г. Энгельс снова взялся за историко-критическое обсуждение теорий Штирнера и что до самого конца своей жизни он непрочь был описать в литературном труде идейную и политическую среду, в которой Штирнер жил и работал.

Дело идет, во-первых, о рукописи в 4 страницы—отрывке из, повидимому, незаконченного труда, написанном около конца 1850 г., и письма от 1889 г. Хотя обе работы, нельзя сравнивать с „Святым Максом“ ни по размеру, ни по значению, они все же представляют для нас безусловный интерес. Первая рукопись, во-первых, привлекает наше внимание к почти забытой фазе в истории анархистских идей Германии и к противогосударственным стремлениям, обнаружившимся в кругах мелкобуржуазной демократии немедленно после поражения революции 1848 г. Кроме того, снабженные цитатой из „Oberon“ Виланда „Воспоминания о забытом времени“, т.-е. о домартовском периоде, рисуют живую картину брожения умов в связи с младогегелианской бурей и натиском. Вторая рукопись, письмо от 1889 г., содержит интересные данные о Штирнере и берли-

[1]) Энгельс, „Новый моральный мир“, 10 мая 1845., стр. 372.

ском кружке „свободных“ и является, вместе с тем, небольшим автобиографическим документом Энгельса.

Скажем несколько слов о причинах появления и о возникновении обеих рукописей.

Отрывок начинается длинной цитатой из апрельского номера „Neue Rheinische Zeitung“ (Политико-Экономического Обозрения), ежемесячного журнала, шесть номеров которого с трудом выпущены были Марксом и Энгельсом в первый год их лондонского изгнания, до ноября 1850 года. Весьма возможно, что работа о Штирнере предназначалась именно для этого журнала. Энгельс говорит в одном месте, что он „уже раньше изучил“ французские источники, которыми пользовались друзья анархии. Если он ссылается на прежнее изучение, не приводя при этом более подробных данных, то это заставляет предполагать, что он имел в виду читателей этого самого журнала, где уже была напечатана его прежняя работа, а именно—рецензия о книге Эмиля де-Жирардена, ополчающейся против налогов и государства („Социализм и налоги“, Париж 1850)—рецензия, из которой взята цитата, приведенная в начале рукописи. Перед „уже раньше“ в рукописи перечеркнуты слова „в последнем“. По всей вероятности, Энгельс хотел сначала сослаться на последний вышедший тогда в свет (четвертый) номер „Обозрения“. Другой работы об источниках германских противников государства мы не знаем, и вообще в то время ни Маркс, ни Энгельс не имели в своем распоряжении никаких других немецких журналов.

И прочие хронологические данные, имеющиеся в этой рукописи без даты, говорят за то, что она была написана Энгельсом еще в 1850 г.

Противогосударственная пропаганда, развивавшаяся в течение некоторого времени после того, как революция потерпела поражение, имела своим исходным пунктом берлинскую ежедневную газету „Abendpost“, которая оставалась центром движения и во время его наибольшего под'ема. Газета выходила с февраля 1850 г., но уже в августе она была закрыта прусским правительством. „Abendpost“, была органом упомянутой Энгельсом „берлинской „высшей“ демократии“. Редактировал ее сначала Эдуар Мейен, живший от 1812 до 1870 гг. и бывший в 1842 г. выразителем мнения берлинского кружка „свободных“ в их конфликте с „Рейнской Газетой“, редактируемой Марксом, а затем Юлиус Фаухер. И Фаухер, живший от 1820 до 1878 гг., пользовавшийся в 60-х и 70-х годах известностью, как экономист и глава немецкой манчестерской школы, был в 40-х годах членов кружка „свободных“. Его статью об Англии, помещенную в 1844 г. в „Allgemeine Literaturzeitung“ („Всеобщей Литературной Газете“), органе Бруно Бауэра, Энгельс подверг основательной критике в „Святом семействе“. „Abendpost“, остальные сотрудники которой—Людвиг Буль, Джон Принс-Смит, Отто Михаэлис, Вальтер Рогге—также принадлежали в 1843 г. к кругу Отто Бауэра и Штирнера, защищала во всех экономических вопросах крайние фритредерские, а в политических вопросах—крайние индивидуалистические, анархистские тенденции. С величественным пренебрежением она обсуждала вопрос о всеобщем избирательном праве, принципе майоритета, и, вообще, системе представительства, требовала

„полностью расснастить государственный корабль“, пела напыщенные гимны свободе“, которая „является погребальной колесницей для всего старого и застоявшегося, которая напоминает раскрытие почки, а не вдавливание человечества в тесные рамки“. „Оставаясь верной принципу: человек, полагайся на свои собственные силы“,—писала „Abendpost“ в статье, направленной против лживой демократии,—„она (подлинная демократия) будет стараться все больше сводить на-нет правительственную или полицейскую систему. Ибо мы живем не для государства и не для того, чтобы стать рабами каких-либо правовых положений, которые начинают над нами главенствовать. Государство и общество—это наши средства к цели, т.-е. к тому, чтобы стать свободными людьми. И мы должны стать рабами наших орудий?.. Освободимся, наконец, от старой аристотелевской ошибки, будто человек рождается для государства и должен, по предписанию свыше, вечно волочить за собой свинцовое бремя государственного строя, и мы придем к истинному пониманию общества и необходимости свободной человеческой ассоциации“. С апреля 1850 года „Abendpost“ начала выходить без второго заголовка „Демократическая Газета“ и открыто заявила, что она добивается „анархии“—состояния, в котором один человек не является ни рабом другого, ни рабом массы. Она, разумеется, выступила не только против „людей закона из рядов демократии“, но и против всякого социализма и коммунизма, а равно и против „террора революции“.

Не исследован еще до сих пор вопрос о том, сотрудничал ли сам Штирнер в „Abendpost“, находившейся в руках его предмартовских единомышленников. Однако антигосударственная крайне-индивидуалистическая тенденция этого органа ясно говорит о влиянии идей Штирнера, и Энгельс, повидимому, пришел к убеждению—как видно из его ссылки на „берлинцев Фаухера и Штирнера“ в его рецензии о книге Жирардена,—что, кроме Фаухера, и сам Штирнер стоял во главе берлинской пропаганды за „отмену государства“ [1]).

Говоря об „исчезнувших благороднейших идейных представителях нации в Штутгартском парламенте и государственном регентстве“, также усвоивших „буйный по внешности лозунг“, Энгельс, без сомнения, имел в первую очередь в виду Карла Фогта, известного естествоиспытателя и материалиста, героя блестящего памфлета Маркса (написанного в 1860 г.), бывшего в 1848—1849 гг. одним из вождей левых во Франкфуртском национальном собрании. Так называемый „Rumpfparlament“ (обломки парламента), переехавший 6 июля 1849 г. в Штутгарт, выбрал его одним из „государственных регентов“, которые вместе со всеми депутатами были 18 июня прогнаны войсками вюртембергского правительства. Фогт бежал в Швейцарию, где он

---

[1]) Об „Abendpost“ сравни статью „Берлин в мае 1850 г.“, напечатанную в „Leuchtturm“ („Маяк“), Берлин 1850, в номере от 6 июля, стр. 486.—А. М. „Die Berliner Tagespresse“ в „Deutsche Monatsschrift“ (изд. А. Колачек), Штутгарт 1850, т. III, стр. 403—420 (сентябрь).—„Die Berliner Abendpost“, аноним. Статью, написанную Юлианом Шмидтом (а не В. Рогге, как думает Неттлау) в „Grenzboten“, Лейпциг 1850, за третью четверть года, стр. 215—221.—Юлиан Шмидт, История германской национальной литературы XIX столетия“, Лейпциг, т. II, 1853 г., стр. 538—542.—Макс Неттлау, Ранняя весна анархизма, Берлин 1925, стр. 179.

писал свои „Наблюдения над государствами животных" для выходившего в Штутгарте обозрения „Deutsche Monatschrift", в котором, главным образом, сотрудничали бывшие левые депутаты франкфуртского и берлинского парламентов. В этом полуполитическом, полуестественно-научном труде и в особенности в появившемся уже в начале 1850 года введении он создает пустой культ анархии, не жалея напыщенных фраз. Его беспомощная болтовня, направленная против государства, скрывала лишь отчаяние разочаровавшегося мелкобуржуазного революционера и идейное бессилие пред победоносной реакционной силой.

Другим „благородным идейным представителем нации в штутгартском парламенте", также мечтавшим тогда об анархии, был Людвиг Симон, депутат Трира, близкий друг Фогта. Фогт и Симон осыпали друг друга любезностями в „Deutsche Monatschrift" за общность их анархистского мировоззрения (I, 129; II, 93). Статья Симона, ратовавшая за анархию, была напечатана в апрельском номере „Deutsche Monatschrift" (см. особенно II, 95—96).

Еще недостаточно расследовано анархистское течение, начавшееся после поражения революции, но мы можем считать, что Энгельс был прав, заявив, что „отмена государства" и „анархия" были тогда в Германии „всеобщими лозунгами". Уже из приведенной литературы можно, повидимому, заключить, что еще многие другие газеты проводили тенденции, напоминающие тенденции „Abendpost", как, например, „Hornisse" в Касселе, „Neue Oder Leitung" в Бреславле и „Magdeburger Zeitung".

Трудно установить, кого имел в виду Энгельс, говоря о „рассеявшихся немецких учениках Прудона". Самый ревностный немецкий сторонник Прудона в предмартовском периоде Карл Грюн не печатал после 1849 года ничего, что носило бы характер прудоновского учения. С другой стороны, в 1850 году появилось много работ Прудона в немецком переводе отдельными книгами и в журналах, и Энгельс имел без сомнения в виду и Арнольда Руге, который приступил в 1850 году к изданию „Избранных сочинений" Прудона, из коих два тома („Признания революционера" и „Революционные идеи") вышли еще в 1850 году.

Как мы видим, все хронологические данные, находящиеся в отрывке, говорят за то, что он был написан во второй половине 1850 года. За это говорит и то обстоятельство, что о какой-либо работе о Штирнере нет ни слова в переписке Маркса с Энгельсом, которую они начали вести с удвоенной энергией после переезда Энгельса в Манчестер в ноябре 1850 г. и в которой упоминается о всех литературных планах и работах обоих друзей на ближайшие годы. Таким образом, работа, которая и по своему содержанию безусловно не могла быть написана после крушения последних надежд на продолжение выхода в свет „Revue der Neuen Rheinischen Zeitung", т.-е. наверное не позже марта 1851 г., была, повидимому, написана Энгельсом во время его пребывания в Лондоне, где он, разумеется, не вел никакой переписки с Марксом.

Заметим еще, что ироническое описание Энгельсом процесса разложения германской идеалистической философии и хаотического брожения в умах „образованных" немцев в пред-

мартовский период сильно напоминает его описание философского развития в 40-е годы, которое мы находим во вступлении к „Немецкой идеологии". Весьма возможно, что, когда Энгельс писал этот отрывок о Штирнере, он собирался писать „Немецкую идеологию".

Отрывок обрывается на средине предложения и весьма мало вероятно, что работа была доведена до конца. По пространному вступлению видно, что работа предполагалась довольно большого размера. Если бы Энгельс ее довел до конца, он бы, вероятно, упомянул о ней в напечатанном здесь письме, где он говорит о своих отношениях к Штирнеру и упоминает о „Святом Максе".

Это письмо Энгельс писал некоему Максу Гильдебрандту в Берлин. Это был очень образованный и начитанный, но никогда на литературном поприще не выступавший, учитель народной школы с анархо-индивидуалистическими убеждениями, уже в 80 годах поклонявшийся в своем скромном одиночестве Штирнеру. Когда известный биограф Штирнера Джон Генрих Макей напечатал весной 1889 года во многих газетах просьбу, в которой он просил всех помочь ему в его розысках материалов о Штирнере, Гильдебрандт с радостью ухватился за этот случай, чтобы, хотя бы таким образом, т.-е. помогая Макею, активно выразить свое преклонение перед Штирнером. Годами он собирал с величайшим рвением и большим успехом материалы для Макея и переписывался с целым рядом лиц, у которых или при посредстве которых он надеялся что-либо узнать о своем герое. 19 октября 1889 г. он обратился и к Энгельсу с письмом, в котором просил сообщить все, что ему известно о Штирнере. Это письмо сохранилось в наследии Энгельса (находится в фото-копии в архиве института Маркса и Энгельса). Помимо общей просьбы о сообщении ему всего того, что могло бы дополнить представление о личности Штирнера, Гильдебрандт задал в письме следующие вопросы: Какова была политическая позиция Штирнера во время революции? Почему он потерял свое состояние? Как он жил в годы после революции и правда ли, что ему материально так плохо жилось, что он почти умер от голода? В конце письма Гильдебрандт пишет: „Еще одно: имеются ли исторические труды, в которых описываются представители идейных стремлений до-мартовского времени и их жизнь? Если не имеются, могу ли я вам сделать одно предложение? В настоящее время вы являетесь, может быть, единственным, кто мог бы еще написать эту историю, и наука была бы вам за это признательна".

Ответом на этот запрос Гильдебрандта явилось помещаемое нами письмо Энгельса. Письмо попало затем к Макею в его „Архив Штирнера", который Макей, согласно своему предисловию к биографии Штирнера, предполагал завещать Британскому музею и которое два года тому назад было приобретено институтом Маркса и Энгельса.

Конкретные данные в письме Энгельса относятся, главным образом, к берлинскому кружку „свободных". Хотя теоретическая и практическая деятельность „свободных" до сих пор еще далеко не изучена в полной мере, тем не менее история „свободных", виднейшими представителями которых были Бруно Бауэр и Штирнер, нам достаточно известна по работам Макея,

Меринга, Густава Мейера и Рязанова, так что подробнее здесь о них не приходится говорить. Для понимания некоторых деталей письма и для исправления неточностей, нечаянно допущенных Энгельсом, достаточно сделать пару раз'яснений.

Энгельс познакомился со Штирнером раньше начала 1842 г., так как уже в ноябре 1841 года он вместе со Штирнером, Мейеном и другими „свободными" принимал участие в общей выпивке, несколько недель после того, как он начал в Берлине свою годичную службу в качестве военноопределяющегося. Бруно Бауэр, действительно, приехал позже в Берлин, в начале мая 1842 года, после того, как правительство лишило его теологической кафедры в Боннском университете. Знакомство Маркса с этим кружком началось уже в 1837 году. Уже тогда существовал тот докторский клуб, члены которого группировались в 1841 г. вокруг младогегельянского еженедельника „Athenäum". Круг „атенейцев" являлся предварительной ступенью к „свободным", которые получили свое название лишь после переезда Бауэра в Берлин, в середине 1842 года. Маркс, тесно связанный с „атенейцами" и написавший для журнала свои „Дикие песни", оставил Берлин по получении докторского звания уже во второй половине апреля 1841 года.

Упомянутые в письме „свободные" хорошо известны, главным образом, по истории младогегельянизма, а отчасти по работам Маркса и Энгельса. Юлиус Клейн (живший от 1810 до 1876 г.) является известным автором 13-томной истории драмы. Теодор Мюгге (1806—1861) был очень разносторонним и плодовитым, но весьма посредственным журналистом и беллетристом, сотрудничавшим также и в „Rheinische Zeitung". Евгения Цабеля, ставшего впоследствии редактором начавшей в 1848 г. выходить демократической, а позже национально-либеральной „National Zeitung", отчитал Маркс в своем „Господин Фогт". Из упомянутых здесь „свободных" перешли в качестве публицистов на службу к Бисмарку, кроме Цабеля, Эдуард Мейен и Адольф Рутенберг, равно как и сам Бруно Бауэр. О Мюссаке мы знаем, что в 50-годах он работал в „Deutsche Reform"— официозном органе контрреволюционного прусского правительства. На службу к Бисмарку перешел и разделанный в „Святом семействе" Маркса Шелига, но в качестве офицера, а не публициста. Этот прусский офицер, называвшийся собственно Франц Жихлинский, принял выдающееся участие во франко-германской войне и умер в 1900 г. в чине пехотного генерала. Юлиус Вальдек был врачем и двоюродным братом Иоганна Якоби. „Юристом и старшим советником трибунала", с которым не следует смешивать Ю. Вальдека, был Бенедикт Вальдек—вождь левых в прусском национальном собрании 1848 года. Книготорговец и писатель Вильгельм Корнелиус из Штральзунда (Померания), родившийся в 1809 году, был приговорен к продолжительному заключению в крепость за речь, произнесенную им на Гамбахском празднестве 27 мая 1832 года. Лишь в 1839 году он был выпущен на свободу. Он одно время сидел вместе с Фрицем Рейтером, прославившимся впоследствии нижне-германским писателем, в автобиографическом романе которого „Из моей жизни в крепости" (впервые напечатанном в 1862 году) Корнелиус фигурирует под именем Дон-Жуана. О нем пишут как о необычайном

юбочнике, который „всегда готов был влюбиться не один раз навсегда, а всегда на один раз". В 60-годах он выехал в Америку, где пропал без вести. Г. Вахенгузена и австрийца Лейтнера литература о „свободных" знает почти только по имени. Обнаруженное лишь из этого письма знакомство их с Энгельсом должно стать для исследователей жизни и деятельности Энгельса поводом к наведению справок о них. Штегели был владельцем кондитерской, где в „красной комнате" собирались в предмартовское время многие литераторы и журналисты. Из „баварских пивных Фридрихштадта" пивная „Zum Kronprinzen", находившаяся на Постштрассе, была излюбленным трактиром „свободных". Замечательно, что Энгельс не упоминает о важнейшем месте для встречи „свободных"—винном ресторане Гиппеля на Фридрихштрассе.

О судьбах до сих пор еще полностью не напечатанной „Немецкой идеологии"—критической работы, в которой Маркс и Энгельс „разделались с выходцами из гегелевской школы"—подробнейшим образом говорится во вступлении Рязанова о Фейербахе, изданной им в первую очередь (Архив Маркса и Энгельса, т. I, 1924 г., стр. 192—195).

Замечание Энгельса об идейной зависимости Бакунина от Штирнера имеется в его книге „Людвиг Фейербах", написанной в 1886 г., где сказано: „Штирнер останется курьезом, даже после того, как Бакунин сочетал его с Прудоном и это сочетание окрестил именем „анархизма".

Профессор Карл Вердер (живший от 1806 до 1893 г.г.), либерал в политике и приверженец старо-гегельянского учения, пользовался большой любовью студенчества. Он дружил со многими своими слушателями, в том числе и с Бакуниным. Среди русских, которых артиллерист Энгельс видел перед собою на прилежно посещаемых им лекциях некоторых берлинских профессоров, были и И. С. Тургенев и Катков. Если Энгельс не упоминает в своем письме этих имен, впоследствии столь различным образом прославившихся, то это говорит за то, что он не был близок к русскому кружку, группировавшемуся в Берлинском университете вокруг Бакунина.

Жена Штирнера—Мария Денгардт, разведшаяся с ним после $2\frac{1}{2}$ лет совместной жизни в апреле 1846 г. и уехавшая в Лондон, действительно, переселилась в 1853 г. в Австралию, где жила в большой нужде, пока в 1870 г. она не получила наследства, которое дало ей возможность вернуться в Лондон. Эта необыкновенно шаловливая, резвая гостья „свободных", позволявшая за собой ухаживать столь многим членам этого союза дискутировавших атеистов, жила с тех пор ханжей в полном удалении от мира, проводя дни в молитвах. Она умерла в глубокой старости в 1902 г. Ее связь с Густавом Теховым, одним из немногих прусских офицеров, ставших на сторону революции, продолжалась недолго. Техов, которому Бисмарк не разрешил вернуться в Германию и после 1871 года, умер в 1893 г. в Мельбурне.

Отрывок (начало) статьи Ф. Энгельса о Штирнере.

«Упразднение государства имеет смысл только у коммунистов, как необходимый результат упразднения классов, вместе с которыми сама собой отпадает потребность в организованной власти одного класса для подавления других. В буржуазных странах упразднение государства означает сведение государственной власти к масштабу Северной Америки. Классовые противоположности развиты здесь слабо; классовые коллизии всякий раз сглаживаются благодаря отливу избыточного пролетарского населения на Запад; вмешательство государственной власти на Востоке сведено к минимуму, а на Западе не существует вовсе. В феодальных странах упразднению государства означает упразднение феодализма и создание обыкновенного буржуазного государства. В Германии за ним скрывается трусливое бегство от непосредственно предстоящих битв или шарлатанское сублимирование буржуазной свободы в абсолютную независимость и самостоятельность индивидуума, или, наконец, равнодушие бюргера ко всякой политической форме, лишь бы она не мешала развитию буржуазных интересов. И если это упразднение государства «в высшем смысле» проповедуется в столь нелепой форме, в этом, конечно, берлинские Штирнеры и Фаухеры не повинны. La plus belle fille de la France ne peut donner plus que ce qu'elle a» («N. Rh. Z.», выпуск VI, стр. 58).

Между тем (анархия) упразднение государства, анархия сделалась в Германии всеобщим лозунгом. Рассеянные немецкие ученики Прудона (в Германии), берлинская «высшая» демократия и даже позабытые «благороднейшие умы нации» из Штутгартского парламента и имперского регентства—все они, каждый на свой лад, усвоили этот дико звучащий лозунг.

Все эти фракции единодушны в необходимости сохранения существующего буржуазного общества. Отстаивая буржуазное общество, они тем самым неизбежно отстаивают господство буржуазии, а в Германии—даже завоевание (политической) власти буржуазией; (только) от действительных представителей буржуазии они отличаются только необычной формой, придающей им видимость (будто они оставили буржуазию далеко

за собой) «передовых», «самых что ни на есть передовых» людей. При всех практических столкновениях (однако при) эта видимость исчезала; перед лицом действительной анархии революционных кризисов (когда государственная власть исчезала перед силой масс), когда массы овладевали властью пускали в ход «грубую силу», эти (те же самые) представители анархии (стремились) делали все возможное, чтобы предотвратить анархию. Содержание этой пресловутой анархии свелось в конце концов к тому же, что в более развитых странах выражают словом «порядок». («Представители) друзья анархии» в Германии (ближе к amis de l'orde во Франции, чем они хотели бы уверить) находятся в полной entente cordiale с «друзьями порядка» во Франции.

Поскольку друзья анархии не зависят от французов Прудона и Жирардена, поскольку их образ мыслей германского происхождения, они все имеют один общий источник: Штирнера. Период разложения немецкой философии дал вообще демократической партии Германии большую часть ее общих фраз. Представления и фразы последних немецких книжников, Фейербаха и Штирнера, проникли еще до февраля, в довольно разбавленном виде, в общее беллетристическое сознание и в газетную литературу, которые, в свою очередь, послужили главным источником для послемартовских демократических лидеров. Проповедь Штирнера (об анархии) о безгосударственности оказалась особенно пригодной для придания немецкого философского «высшего смысла» прудоновской анархии и жирарденовскому упразднению государства. Книга Штирнера «Единственный и его достояние», правда, позабыта, но его образ мыслей, в особенности его критика государства, всплывает снова в лице друзей анархии. Если мы (в последнем) уже прежде исследовали источники этих господ, находящиеся во Франции, то для разбора их немецких источников мы должны еще раз погрузиться в глубины допотопной немецкой философии. Раз уж приходится заниматься немецкой злобой дня, то все-таки приятнее иметь дело с родоначальниками того или другого (представления) воззрения, чем со старьевщиками, сбывающими чужой товар.

Еще раз, музы, оседлайте мне Пегаса
Для полета в старый романтический край!

Прежде чем обратиться к упомянутой книге Штирнера, мы должны перенестись в «старый романтический край» и то забытое время, в которое книга появилась. (То было время, когда) прусская буржуазия, цепляясь за финансовые затруднения правительства, начинала завоевывать себе политическую власть, а в то же время, на ряду с буржуазно-конституционным движением, ширилось с каждым днем коммунистическое движение в рядах пролетариата. Буржуазия, буржуазные элементы общества,

еще нуждаясь в пролетарской поддержке для достижения своих собственных целей, должны были всячески аффектировать сочувствие социализму; (реакцион) консервативная и (реакцион) феодальная партия также была вынуждена обещать кое-что пролетариату. На ряду с борьбой буржуа и крестьян против феодального дворянства и бюрократии—борьба пролетариев против буржуа; в промежутке—ряд переходных социалистических ступеней, охватывающих все виды социализма: реакционный, мещанский, буржуазный социализм; и над всеми этими борющимися течениями, подавляя их и заглушая их проявление, гнет государственной власти, цензура, запрещение союзов и собраний,—таково было (партийное) положение партий в то время, когда немецкая философия справляла свои последние убогие триумфы.

Цензура с самого начала (указывала) (заставляла) навязывала всем сколько-нибудь нежелательным элементам как можно более абстрактный способ выражения: немецкая философская традиция, как раз пришедшая тогда к полному распаду гегелевской школы, давала сколько угодно таких выражений. Борьба против религии еще продолжалась. Чем труднее становилась политическая борьба в печати против существующей власти, тем (больше) усерднее велась она в форме религиозной и философской борьбы. Немецкая философия, в ее самой расплывчатой форме, стала общим достоянием «образованных», и чем больше она им становилась, тем расплывчатей, бессвязней и пошлее становились философы (тем большую сенсацию вызывали), и эта неряшливость и пошлость создавала им тем больший престиж в глазах образованной публики.

Смута в головах «образованных» была ужасающая и с каждой минутой увеличивалась все больше. Это было настоящее скрещивание идей немецкого, французского, английского, античного, средневекового и новейшего происхождения. Смута была тем более велика, что все идеи брались лишь из вторых, третьих и четвертых рук, и поэтому они циркулировали (в столь искаженном виде) в искаженном до неузнаваемости виде. Не только мысли французских и английских либералов и социалистов, но и идеи немцев, напр., Гегеля, разделяли эту судьбу. (Писания) вся литература того времени, и особенно, как мы видим, книга Штирнера (носит), дает тому бесчисленные доказательства, и современная немецкая литература до сих пор еще сильно страдает от последствий такого положения.

Философские размахивания картонным мечом сходили в этой неразберихе за отражение действительных битв. Каждый «новый поворот» в философии привлекал к себе общее внимание «образованных», которые в Германии состоят (лишь) из бесчисленного множества праздных голов, кандидатов на судебные должности и в школьные учителя, неудачливых богословов, нищих медиков,

литераторов и т. д. Для этих людей каждый такой «новый поворот» означал преодоление и окончательную ликвидацию какой-нибудь ступени исторического развития. Стоило, напр., любому философу подвергнуть любой критике буржуазный либерализм, как этот последний уже считался похороненным, вычеркнутым из исторического развития и уничтоженным также и практически. То же было с республиканизмом, социализмом и т. д. Насколько эти ступени развития были действительно «уничтожены», «пройдены», «ликвидированы», обнаружилось затем во время революции, когда они стали играть главную роль, а об их разрушителях вдруг не стало слышно ни звука.

Неряшливость по форме и содержанию, вызывающая плоскость и надутая пошлость, бездонная тривиальность и дилетантское убожество этой последней немецкой философии (производили) превосходят все, что когда-либо проявлялось в этой области. Сравниться с этим может только невероятное легковерие публики, принимавшей все это за чистую монету, за самую последнюю новость, за «нечто, чего еще никогда не было». Немецкая нация, столь «основательная»...

Письмо Ф. Энгельса Максу Гильдебрандту.

Regents Park Road N. W.
Лондон, 22 октября 1889 г.

Многоуважаемый г. Гильдебрандт!

В ответ на ваше письмо от 19-го числа сообщаю вам, что я познакомился с Штирнером в Берлине приблизительно в начале 1842 года, когда встречался там с Э. Мейером, Булем, Эдгаром Бауэром, а потом и с Бруно Бауэром. Что его настоящее имя было Шмит, это верно; прозвище Штирнер он получил за свой необыкновенно высокий лоб. Повидимому, в круг этих людей он попал незадолго до моего знакомства с ним, так как он не знал Маркса, который покинул Берлин, мне кажется, за год перед тем и пользовался там большим уважением. Учителем гимназии он уже тогда, полагаю я, не был или скоро оставил эту деятельность. Кроме вышеупомянутых лиц, я встречал там еще некоего фон-Лейтнера из Австрии, К.-Ф. Кеппена, учителя гимназии и близкого друга Маркса, его сослуживца Муссака, книготорговца Корнелиуса (фигурирующего в книге Фрица Рейтера «Festungstid»), Мюгге, доктора И. Клейна, драматурга и театрального критика, некоего Ваккенгузена, доктора Цабеля, который впоследствии работал в «Национальной Газете», Рутенберга, вскоре, впрочем, уехавшего в Кельн для сотрудничества в первой «Рейнской Газете», некоего Вальдека (не юриста и члена высшего трибунала) и других, которых теперь не припомню. Все эти лица принадлежали, собственно говоря, к различным группам, которые время от времени и по разным поводам собирались вместе. Юнгниц, Шелига и Фаухер появились позже, когда, в ноябре 1842 г., я отбыл воинскую повинность и покинул Берлин. Мы обычно собирались у Штегели, по вечерам—в различных пивных Фридрихштадта, а если в кармане были деньги, то в одном винном погребке на Постштрассе, в котором Кеппен был завсегдатаем. Я знал Штирнера хорошо, был с ним на «ты»; он был очень приятен в общении—далеко не так страшен, как хочет себя изобразить в своем «Единственном», с легким налетом педантизма, приобретенным в годы учительства. Мы вели длинные дискуссии о гегелевской философии, и он тогда сделал

открытие, что гегелевская логика начинается с ошибки: бытие, которое обнаруживает себя как ничто и, таким образом, с самим собой вступает в противоречие, не может быть началом; в качестве начала должно быть взято нечто такое, что само по себе уже есть непосредственное, от природы данное единство бытия и «ничто», из которого это противоположение затем развивается. По мнению Штирнера, надо начинать с «оно», т.-е. с суб'екта безличных предложений (идет снег, идет дождь), который одновременно и существует, и есть ничто. Впоследствии он, повидимому, понял, что на этом «оно» так же мало можно что-нибудь построить, как на «бытии» и на «ничто».

К концу моего пребывания в Берлине я стал встречаться с Штирнером реже,—вероятно, уже тогда он пришел к взглядам и мыслям, которые легли в основу его главной книги. Когда она появилась в свет, наши пути успели уже очень сильно разойтись; два года, проведенные мною в Манчестере, оказали на меня огромное влияние. Когда после этого Маркс и я в Брюсселе почувствовали потребность выяснить свое отношение к эпигонам гегелевской школы, мы занялись между прочим и критикой Штирнера: критика эта по своему об'ему не уступает критикуемой книге. Никогда не напечатанная рукопись находится у меня, поскольку ее не сгрызли мыши.

Возрождению Штирнера способствовал Бакунин, который, кстати, в то время тоже жил в Берлине и в семинарии Вердера по логике, вместе с еще 4—5 русскими, сидел со мной на одной скамье (1841—1842 гг.). Безобидная, чисто этимологическая анархия (т.-е. отсутствие власти) Прудона никогда не привела бы к современным доктринам анархизма, если бы Бакунин не вдохнул в нее жар штирнеровского «возмущения». Благодаря этому нынче—что ни анархист, то «Единственный», настолько единственный, что среди них не найдешь двоих, которые могли бы сговориться друг с другом.

Больше о Штирнере я ничего не знаю; о его дальнейшей судьбе я не имею никаких сведений, кроме сообщения Маркса о том, что он почти буквально умер с голоду; откуда Маркс это узнал, я не знаю.

Жену его я здесь однажды видел; она—ah, que j'aime le militaire! (ах, как я люблю военных!)—сошлась с бывш. лейтенантом Теховым и, если не ошибаюсь, уехала с ним в Австралию.

Если когда-нибудь впоследствии я найду время, было бы хорошо написать кое-какие воспоминания о том, во многих отношениях очень интересном, времени.

С уважением и преданностью *Ф. Энгельс.*

Расселение языков и народов и вопрос о прародине турецких языков[1].

Академик *Н. Марр.*

Предисловие.

Без предисловия никак не обойтись, особенно раз работа печатается в органе «Под Знаменем Марксизма». Когда в сродном органе «Unter dem Banner des Marxismus» была помещена работа на немецком языке «О происхождении языка»[2]), то это могло найти оправдание в интересе марксизма к генетическому вопросу об языке, если бы в ней не было и иных моментов из круга марксистской методологии. Такие отдельные моменты присущи и печатаемой ныне статье, однако появление ее в настоящем журнале имеет оправдание в целом по выявлению монистического характера глоттогонии, т.-е. созидания звуковой речи человечества.

Вопрос об увязке языков всего мира. Хотел по вопросу проработать наметившееся построение после занятий за границей, особенно если бы удалось завершить свои зарубежные занятия побывкой в южно- или средне-африканской языковой среде. Но обстоятельства сложились иначе. Хотелось поделиться мыслями по генетической об'единяемости всех языков с читателями «Под Знаменем Марксизма». Ведь этот вопрос ближайше сродни и органически соседит с проблемой о происхождении речи. Однако неожиданно пришлось носившееся передо мной построение изложить с сосредоточением внимания на турецких языках. К тому был особый повод. Повод простой и ясный—обращение турецкой аудитории Азербайджанского университета сказать что-либо про турецкие языки с точки зрения яфетической теории. Это было в Баку. Было интересно в отношении приемлемости настоящий опыт проверить в Академии Истории Материальной Культуры в кругу специалистов: он был прочитан на об'единенном заседании ее секции Генетики культуры и Яфетического Инсти-

---

[1]) Список сокращений и условные обозначения помещены в конце статьи.

[2]) Ianuar 1926. Русский оригинал теперь опубликован в издании Института народов Востока СССР (Москва, Берсеньевская наб., 18)—«По этапам развития яфетической теории».

тута Академии Наук. Результат? Мне неизвестен. В то же время тема возникла по имманентной силе самой яфетической теории от накопления новых материалов и связанных с ним лингвистических освещений и обдумывалась раньше в совершенно иных целях, мысль о ней нарастала и преследовала давно, но независимо от посторонних запросов воплотилась в конкретное задание после того, как пришлось заняться африканскими языками, особенно поработать над готтентотскими.

На страницах настоящего журнала ниже дается то, что и в какой форме работа отлилась в последней редакции для прочтения в круге специалистов—без всякой урезки. Думаю, так лучше, чем дать в пересказе голое схематическое изложение. Я имею в виду чрезмерную местами нагрузку примерами из экзотических для читателей языков в сопровождении специальных лингвистических мотивировок. Но, если избегать экзотичных моментов, в кругу ученых специалистов, положение наше еще хуже, там также экзотичны опорные для нас языки, да экзотичны еще более вообще наши мысли, собственно, сами общие положения яфетической теории. Между тем без предварительного знакомства с ними трудно бы было понять настоящую статью и по устранении из нее того, что может казаться излишним балластом и что, однако, придает утверждениям известную конкретность: речь все о лингвистических фактах и выкладках. Здесь особенно меня смущает мысль о незнакомстве читателей с четырьмя элементами, к которым восходят, по яфетической теории, все слова, между тем ими мы пользуемся и в настоящей работе, так, как производящие химические анализы умением разлагать, напр., воду на водород, кислород и т. д. Четыре элемента обозначаются прописными латинскими буквами A, B, C, D: это те элементы, которые именовались племенными названиями— «сал» (A), «бер» (B), «йон» (C) и «рош» (D), это четыре основы, каждая в многочисленных, казалось бы, бесконечно многочисленных закономерных разновидностях, зависящих от различных социальных группировок. Мы уже не говорим о пользовании в настоящей статье и звуковыми соответствиями, т. н. фонетическими законами, так, как решающие арифметические задачи— таблицею умножения. Это звуковые соответствия языков по тем же социальным группировкам, хотя по традиции эти группировки называются фонетическими формальными наименованиями, по технической роли в них звуков согласных или гласных—сибилянтная и спирантная ветви, свистящая и шипящая группы сибилянтной ветви и т. п.

Раз статья печатается в последней редакции, обращенной к академическим кругам, мне трудно устранить из нее места боевого момента, открытую самозащиту против агрессивных безответственных выступлений, за пределами нашего достижения,

делать вид, что все благополучно по яфетидологической работе. Может быть, теперь было бы недооценкой общественного к ней внимания называть проработанные на материале яфетидологически положения сказками, самим нам по прежнему квалифицировать их так, довольствоваться аудиторией в пределах хотя бы ни к чему не обязывающей готовности слушать очередные забавные сказки, но чем лучше, когда каждое с трудом добытое положение нового учения в языке противники и даже друзья относят в категорию «вещаний». Во всяком случае, чтобы не было никакого недоразумения по достаточной нашей ориентированности касательно реального отношения к яфетидологическим изысканиям, в частности, особенно к моим работам, статье я предпосылаю вступление из печатающейся в Известиях АН статьи моей «Готтентоты—средиземноморцы», предпосылаю его тоже почти без урезки:

«Один из кавказских критиков не яфетической теории, нет (таких пока я не видел и не слыхал, если не называть критикой голословные отрицания или, что едва ли лучше, извращенные суждения), а моего темперамента, выразил довольно четко ту мысль, что: как захотел я что-либо, изрекаю и так и оказывается; следовательно, по щучьему велению; так, вещал я «да будут яфетические языки в родстве с семитическими», и стали они таковыми, или «да будет баскский язык яфетическим, т.-е. в родстве с яфетическими языками Кавказа», и так и стало. Можно бы это продолжить весьма долго с этими «фантастическими» становлениями, не щадящими ни близких, даже родных мне грузин, которым, хочешь не хочешь, приходится быть все-таки в родстве с семитами, даже с армянами, ни юкагиров и более высоко-культурных китайцев, ныне жертв не только пушек просвещеннейшей Европы, западноевропейской культуры, но и яфетидологических вещаний, отводящих им место заодно с яфетидами Кавказа и, о, ужас, юкагирами и, отныне, также готтентотами, быть в одном союзе работников просвещения, творивших начальные основы европейской культуры в Средиземноморье задолго до и римлян, и эллинов. Какую культуру? Эгейскую? Может быть, более древнюю. Это вопрос уточнения, вопрос для палеонтологии речи второй очереди. Не забыть лишь еще двух фактов; 1) приближение «дикарей» Америки к этому занесенному забвением культурному миру в порядке научно-исследовательского прорубания дороги в дебрях лингвистического леса, приближение их и югом (увязкой через Индию) и севером (увязкой через палеазиато-финские полосы) и 2) стоящий вне всякого сомнения зияющий разрыв населения Восточной Европы с Западной наросшими позднее народами нового языкового типа и новой системы языков прометеидской (т. н. «индоевропейской семьи»), вследствие чего сейчас то у финнов Вол-Камья, да и Балтики, то у

чувашей, у последних компактнее и систематичнее, обломки старых связей не только с яфетидами Кавказа (ныне и с исторических эпох—Кавказа, в те отдаленные эпохи Средиземноморья), но и с яфетидами Запада, басками. Достаточно сослаться на общность числа 'десять' по палеонтологическому анализу, у мордовцев и приморских финнов с ними—бск. h a + mar ⨯ *ka-mar || с коми kämen (← *kur-men) || морд., и мокша и эрзя, ke + men, а у чувашей на общность термина 'голова' puç не только с бск. bur-u 'голова' || ber (↙← *pes) ⤫ be 'голова', 'особа', 'сам', отсюда род. падеж. be-re 'свой' и т. п.[1]), но и с лат.— psu || - pse (← *pus | *pes в составе составного i-pse 'сам', да с латинянами же (а не с турками!) общность слова 'дерево', причем чув. yıvec 'дерево' (⨯ *yo [r] von оказывается если не прототипом лат. ar-bos || | ar-bor, то во всяком случае более выдержанным по огласовке двухэлементным (AB) образованием. Это, предполагается, не факты, а отвлеченность: да, естественно, отвлеченность при одном условии, при сведении конкретных занятий к одним формальным изысканиям, при обращении в фетиш фонетических законов, в исключительном сосредоточении работы над которым, действительно в «мировом масштабе», отцеживаются комары, но незаметно ни для кого проглатываются верблюды. Естественно, наши методически вырабатываемые на фактах утверждения, уже бесспорно научные положения, не ощущаются в мире формалистов по методу или мышлению как реальности, и нам даже «сторонниками» яфетической теории в упор ставится вопрос об отнесении всей яфетидологии к категории вещаний, в лучшем случае остроумных, а иногда, может быть, при снисходительном отношении, и полезных. Естественно, если добросовестный работник-аналитик из такого сочувствующего окружения, не один год серьезно работавший над яфетическими языками Кавказа, попав в плане своей исследовательской работы, независимо от меня, к баскам, не без удивления писал мне в утешение, что в баскском, оказывается, действительно, имеются точки соприкосновения с яфетическими языками Кавказа, тут, оказывается, есть реальность, а не «дивинация»...

...Думаю, предпосланного введения было бы достаточно, чтобы об'яснить, почему я склонен был бы ограничиться в этот раз действительно одним вещанием. Однако вопрос здесь иной, именно или мне не доведется попасть к готтентотам (сколько по пути исполинских скорпионов), и тогда все равно ничем не смогу я восполнить недостающих у меня знаний, или удастся хоть повидать и услышать их в родном быту, и нам интересно тогда будет сравнить новые наблюдения с тем, что думается

[1]) Н. Марр. О слоях различных типологических эпох в языках прометеидской системы.

нам теперь до этого непосредственного соприкосновения, в какой, следовательно, мере хорошо работает не моя дивинаторская способность, а метод новой теории».

I.

Арабы существовали до ислама, до мусульманской религии, основателем которой является Мухаммед. Существование арабской культуры свидетельствуется письменностью за более чем тысячелетия до хиджры, за многие столетия до христианской эры. Свидетельствуют о ней архаично-арабские, т. н. сабейские надписи. О высоте культуры и самих тех арабов, в среде которых возник ислам, лучше всего свидетельствует тот факт, что в распоряжении основателя новой религии, Мухаммеда, находился изумительно гибкий язык, развитой для ношения любой культуры, классический арабский язык. Классический арабский язык не имел никаких оснований уступать в универсальности любому классическому языку Европы, греческому или хотя бы латинскому, уступать по охвату своей выразительности и способности фиксировать в скульптурно-выпуклых выражениях все виды и ступени мышления человечества, удовлетворять как орудие общения всем потребностям человеческой жизни, от грубо-материальных до высшей отвлеченности, от интимно-сокровенных и узко-племенных до широкой мировой и международной общественности. На этом формально вполне развитом языке мировых возможностей, позднее фактически мировых ценностей, была литература, арабская же поэзия, сохранились сами поэтические произведения арабских писателей, называемых до-исламскими. Даже религиозное предание, сообщая миф, что Коран не сотворен, а дан самим богом готовым для проповеди, имеет в виду содержание священной книги и его безукоризненную формулировку на этом чудном и еще тогда формально высоко-развитом языке, арабском языке. Предание не имеет в виду создание в этот момент с Кораном и самого арабского языка. Никто всего этого не отрицает и не может отрицать. Никто не может отрицать и того, что факт существования, до возникновения ислама, высокоразвитого арабского языка свидетельствует о большой культурной работе в самой арабской племенной среде, о каком-то длительном и мощном процессе внутренней общественной жизни и внутреннем созидании внутренних же культурных факторов готовившегося великого общественного сдвига. Однако, когда заходит вопрос о возникновении мусульманской веры, так быстро и как бы чудесно ставшей мировой религиею, источник происхождения ищут везде и во всем у чужих, не забывается несколько просветительная роль «аджемов», т.-е. прежде всего неарабов, иноземцев, сирийцев, но особенно персов, выдвигается

их роль, переживаний древнего Ирана, его древней культуры в оформлении самого нового учения, в обогащении мусульманского просвещения; источник происхождения ищут в чужих древних религиях, маздаянской, иудейской, как это ни странно—даже в христианской, но никаких систематических изысканий, серьезных попыток связать религию ислама в целом с до-исламской религией, с до-исламскими верованиями самих арабов.

Любопытны в этом отношении этюды Кашталевой по отдельным мусульманским религиозным терминам[1]). Глубже и шире пытается ставить вопрос о связи мусульманской терминологии с до-исламской языческой религией Dr. Ditlef Nielsen в только-что появившемся (1927 г.) совместном с Dr. Hommel'ем и проф. Nik. Rhodokanakis издании «Handbuch der altarabischen Altertumskunde». С устремлением нащупать корни нового учения еще в сабейско-химиаритской общественности и ее религиозных представлениях, все в плоде экономического оживления от индийско-африканской торговли, проф. Rhodokanakis, не находя данных у до-исламских арабских поэтов VI—VII веков н. э., признает именно Коран подлинным первоисточником не только новой религии Мухаммеда, но и язычества того времени [2]). Однако одна ласточка весны не делает. Ссылаясь на множество языческих переживаний в новой христанской цивилизации и указывая соответственно на возможность располагать сокровищницей подобного материала и для ислама в нынешней народной жизни Аравии и Абиссинии, названный автор признает сам, что об этом материале мало у нас осведомления. «Путешественники, обследовавшие эти страны,—раз'ясняет он,—натурально больше значения придавали географическим наблюдениям, занятиям языком и собиранию надписей, чем изучению фольклора, которое требует более длительного пребывания на месте и многолетнего интимного общения с народом и языком», к тому же старый метод обработки наличных источников способствовал составлению лишь неясного и неправильного представления о мире языческих богов. Все это справедливо, как и ссылка в оправдание арабистов на то, как темны и как много споров вызывали этимологии и значения таких важных и чаще встречающихся имен богов, как Асклепий, Аполлон, Афродита у греков, Эсмун, Яхве (Яху), Hadad, Ашур, Мардук и Иштарь у семитов» [3]).

Есть, таким образом, первые попытки кой-какие термины истолковать как наследие от старины. Однако здесь самый основной из числа мусульманских терминов, именно название священной книги нового учения производится из арамейского языка, доказывается всерьез имеющимся у европейских исследователей

[1]) ДАН 1926, стр. 52—57.
[2]) Ц. с., стр. 184.
[3]) Стр. 186, 188, 189, 190.

научным методом, что Коран немножко измененное, т.-е., следовательно, немножко испорченное чтение арамейского кнуана. По этому исключительной важности архаическому термину, да заодно неразлучному с ним не менее важному, особенно в быту, двойнику—kurban, культовым терминам, как выясняется, одинаково до-исламским, теперь в нашем распоряжении новые данные из палеонтологии речи. Но мы еще года полтора тому назад в работе «Происхождение терминов 'книга' и 'письмо'» касательно 'корана' писали[1]: «Один из разительных примеров анахронистического восприятия 'книги', как происходящего от глагола 'читать', мы имеем в термине korān [←—*kor ʼan]. Если бы у нас религиозное учение, хотя бы мусульманство, изучалось свободно от письменно-культурных традиций, в полной мере учитывались бы подлинные этиологические [следовательно, социальные] моменты в возникновении ислама, то давно бы было установлено, что *kor-ʼan —→ ko-rān [двухэлементное, именно АС] сал-ионское до-историческое образование, раньше 'книги' означало 'племенного бога'. [еще раньше 'тотема' определенного хозяйственно-общественного производственного коллектива] и что с ним находится в связи арб. kur ʼ-aϑ 'судьба', 'жребий', равно 'клеймо' и 'знак'».

Но вообще, когда речь об арабах-мусульманах, упоминание о до-исламской вере является каким-то декоративным придатком, арабы и мусульмане сливаются в один нераздельный цельный образ, с одной стороны, наибольшей чистоты арабской природы, с другой, для многих—наибольшей как бы также природной чистоты исламского учения. И в этом нет ничего удивительного, ибо до сих пор в распоряжении ученых нет действенного метода, есть лишь формальный метод, а это не метод, это метод внешней прагматической увязки фактов, но не метод анализа внутренних генетических факторов известных событий, независимо от даже личных стремлений героев событий, независимо от самих вождей, казалось бы, вершителей фактов. И в мире ученых, занимающихся и арабами, нет метода диалектически вскрывающего общественный смысл и общественные корни развернувшихся так бурно победоносно религиозных всходов из их, арабов, родной общественности.

Потому удивительно ли, что нечто подобное в еще менее состоятельном виде, в форме курьезной до смешного происходит, когда речь возникает о турках, турецкой культуре и турецком языке? Рассеянные на обширном пространстве от крайних пределов глубокой Азии до Средиземноморья, представляющие, по совокупности расселения в различных районах, ряд ступеней культурного развития, каждая неразрывно связанная с хозяй-

[1]) Книга о книге (изд. Института книговедения Гос. Публ. Библ. в Ленинграде), 1927, I, стр. 75.

ственно-общественной жизнью соответственного территориального об'единения, турки под пером ученых специалистов трактуются как надстроечные социальные ценности, отвлеченно от истории материальной культуры и общественных форм каждого данного района, трактуются они в разрезе отвлеченно-религиозных или отвлеченно-лингвистических или общих отвлеченно-этнологических интересов без увязки с окружением, с его конкретной жизнью. Результат налицо. При этнологическом интересе, как только с отходом от статики этнографических фактов и фактических же этнографических наблюдений начинается исследование, напр., такого общечеловеческого на определенной ступени развития социального явления, как побратимство или молочное усыновление в Крыму в турецкой среде, явление изолируется от нетурецкого окружения, освещается и раз'ясняется как общетурецкое, и, когда оно же оказывается в том же или соседнем районе, но не в турецкой среде, напр., в кавказской, яфетической, то это об'ясняется вкладом турецкой культуры, институтом, занесенным турецкой миграцией.

При культурно-историческом подходе, неизбежно с учетом отвлеченно-религиозных интересов, турки все мусульмане за исключением якутов, и этого достаточно, чтобы в мусульманской культуре видеть и лицо и основу общетурецкой культуры, и когда эта «национальная» культура в различных районах оказывается существенно отличной и по идеологии, и по формальным признакам, то генезис каждого из этих районных культурных миров турецких народов при единственном пока в академическонаучных кругах формальном методе раз'ясняется исключительно как результат действия той или иной господствующей культуры на турецкую среду или порождение даже одного взаимодействия различных мировых культур в той же турецкой среде. Турецкая же среда лишь пассивна и как бы случайно приемлет то или иное влияние или переплет столкнувшихся влияний. И эта чудовищная переоценка творческой силы господствующих иноземных культур и иноземных языков мирового масштаба в такой степени понижала, будем откровенны—принижала, значение самих турецких народов в созидании хотя бы своей собственной культуры и вселяла недоверие в самобытность даже технических средств в их речи, в независимое в ней существование культовой терминологии, что и здесь бесспорные турецкие слова этого порядка становились об'ектом самых фантастических построений и толкований, лишь бы найти им иноземное происхождение. Одним из наиболее ярких примеров такой трактовки подлинно коренных турецких слов является случай с термином ҫeleb 'бог' и происходящим от него многозначущего ҫelebı в связи с сохранением культа своего родного бога в сокровенных институтах новой для турок религии, мусульманской, название

высокого сана в ордене дервишей, а в порядке классового использования—'благородный', 'изящный', а затем и (как по-французски, petit-maître буквально 'господинчик') 'щеголь' и ряд других значений. Явное дело, что такое разнообразие значений социально установлено за термином за долгий период обращения его, родного слова, в различных территориальных об'единениях в зависимости от общественной структуры каждого из них, начиная от Средней Азии и Туркестана. В древнейшем литературном памятнике, происходящем из Средней Азии, и засвидетельствован впервые письменно термин, всплывающий в Малой Азии и на лазурных берегах Босфора, с наличием в таком древнем памятнике османской речи как еще изданные акад. Залеманом т. и. сельджукские стихи. Мы уже не говорим о позднейшем внесении чрезвычайно важного и культово-мистически и классово-общественно турецкого термина, именно в данной его конкретной форме, в языки всех тех народов, с которыми турки приходили в более или менее тесные народные массовые связи, независимо от всякой письменности и классовых национальных языков, т.-е. в языки курдов, армян, греков, русских, у последних с внедрением в их аристократическую среду знатного турецкого рода «Челибе»'евых.

И что же ученые доказывали в лице лучших представителей европейского ученого мира по туркологии и исламу, в числе их в лице академика Розена, профессоров Смирнова и Мелиоранского из русских ориенталистов, с особенным напором заострявших внимание на этом термине, как мы теперь знаем из палеонтологии речи, бесспорно, можно сказать, кровно проработанном родном турецком слове широкого по его распространению размаха и глубоких переживаний по социальной разности его турецкого же осмысления?

Акад. Розен впервые поставил серьезно, с точки зрения научного обоснования, вопрос о происхождении этого культового и, прибавим, классового социального слова турок, как было то почти общепринято, из термина христианского культа 'крест' на семитических языках—арабск. ṣalīb сирийск. ṣlībā [1]), причем, историк по методу, автор с тонким чутьем всегда глубоко продуманных исследовательских работ и заметок, особенно интересовавшийся также литературными и вообще культурными взаимоотношениями и в науке обычно обособливаемых миров исламских и христианских народов, арабист Розен с широким ориенталистическим кругозором, знаток и персидского и турецкого языков, свою мысль об указанном семитическом, именно сирийском происхождении турецкого слова обосновывал культурно-исторически. Он увязывал внесение этого христианского термина в Среднюю Азию

---

[1]) Дополнительная заметка о слове челеби (ЗВО, V, 1891, стр. 304—307).

и усвоение его турецкой средой, как слова со значением 'бог', с известной миссионерской деятельностью сирийцев-несториан по пропаганде христианства и насаждению его, между прочим, и среди восточных турок.

Проф. В. Д. Смирнов, турколог-османист, происхождение того же турецкого термина искал также вне турецкого мира в одной из чужих культурных житниц общепризнанного значения, именно в греческой житнице [1]), т.-е. руководимый филологическим методом, свидетельством употребления или неупотребления термина в письменных памятниках, слово генетически сводил к одному отрезку малоазийского района расселения турецких племен, где турки османцы находились в тесном общении с греками, и к производству этой тесной лаборатории и относит русский турколог специально ǯelebi 'щеголь', 'красноречивый', никак, однако, не отделимый от культового термина ǯeleb или ǯalāb с органически ему присущими многочисленными деривативными значениями. Проф. Смирнов усмотрел в слове ǯelebi греч. слово καλλιεπής 'красноречивый', и всю силу обоснования своей мысли клал на утверждение звукового перехода греч. κ в турецкий ǯ, что ему все-таки не вполне удавалось [2]).

Проф. П. М. Мелиоранский, турколог-лингвист, с прекрасной школой формального учения об языке, индоевропейской лингвистики, соответственно подошел к вопросу и устанавливал так же филологически, а не лингвистически, что употребление слова, судя по письменным памятникам, тяготеет корнями скорее к югу, к малоазийским сельджукам, Азербайджану, Кавказскому миру, а не к востоку, турецкому востоку, Туркестану и далее. И он нисколько не был прочь расстаться с ним как с турецким и предоставить его исканиям на чужой стороне, хотя бы на кавказской почве [3]). Кстати, он в личных беседах, возражая против происхождения от греч. καλλιεπής, указывал на сомнительность звукового перехода греч. κ в турецкий ǯ перед гласным a. Не могу умолчать и о своем грехе в трактовке того же турецкого термина ǯelebi со всеми его производными. Речь о работе моей, относящейся к 1907 г. и помещенной в XX томе ЗВО [4]) под заглавием «Еще о слове „челеби". К вопросу о культурном значении курдской народности в истории Передней Азии». Яфетическое происхождение слова было уловлено и тогда, т.-е., как сказали бы мы теперь, была ясна принадлежность слова языкам еще яфетической системы, восхождение его

---

[1]) Мнимый турецкий султан, именуемый у европейских писателей XVI в. Calepinus Cyriscelebes (к вопросу о происхождении и значении слова [illegible]—челеби), ЗВО, XVIII, стр. 1—70.

[2]) Ц. с., стр. 61 сл.

[3]) П. М. Мелиоранский. К вопросу о значении и происхождении слов «čälăб» (чалап) и «čälăбi» в турецком языке (ЗВО, XV, стр. 036—043).

[4]) За 1910 г., появился в 1912 г. (ЗВО XX, стр. 99—150).

к языкам системы до-исторической для языков других систем, системы, предшествующей им всем, но прежде всего тогда, 20 лет тому назад, о непосредственном генетическом примыкания турецких языков к яфетическим не могло быть и речи, группа турецких языков тогда, на той ступени развития яфетической теории, и нам мыслилась особой не системой, а семьею с своим совершенно независимым, разумеется, глубинно-азиатским происхождением. С другой стороны, яфетическое языкознание, правда, и тогда не чуралось увязки изучения лингвистических явлений с культурными течениями других сторон человеческой жизни, но владело методом лишь сравнительным, фактически все-таки формальным. В результате, отстаивая ныне уже бесспорно правильную мысль об яфетическом происхождении термина и у курдов (иезидиев) с их языческой религиею, и тогда увязывавшихся по языку, несмотря на также бесспорный иранизм их современной речи, с яфетическими народами, мы находили проводников до-исторического культурного термина в мистических культовых организациях Малой Азии со включением ордена дервишей. Словом, мы строили свое дело, доказывая мысль о прохождении Çeleb'a со значением 'бог' к туркам из до-исторического населения Малой Азии, насыщенной и позднее переживаниями архаических религий до-христианских и до-маздаяснских.

Вся эта часть работы сохраняет свою учетную силу и по сей день, но я отстранял сам турецкий язык, как искони родную среду того же термина подобно всем ориенталистам, в числе их туркологам, и искал его появления в Малой Азии тоже в чужой турецкому миру общественности. И это иначе не могло быть в яфетидологической работе того времени, между прочим, и потому, что метод был формально сравнительный и, естественно, термин, который, происходя из языков бесспорно яфетической системы, в то же время имеет, как конкретно теперь это раз'ясняется, неразрывные палеонтологические узы с коренным составом турецкого словаря, равно с чувашским, с трудом удавалось отожествить также с бесспорными его двойниками—терминами таких яфетических языков, как сванский, мегрельский, грузинский и др.

Наконец, при господстве старого формального учения об языке, верного себе и на практической работе в области урало-алтайских языков или особо турецких, нисколько не менялись основы исключительно формального подхода и к турецкой речи, многочисленным турецким языкам и наречиям. В итоге, конечно, имеем ряд опытов соответственной классификации языков, естественно формальной и потому (пожалуй, прежде всего потому), что турецкие языки генетически не только не раз'яснены, но и не освещены ни в какой мере. Генетический вопрос о них, т.-е. вопрос о происхождении турецких языков, по существу никем и не ставился. Всем известно, что турки происходят из глубин

Азии. Следовательно, там они возникли. С литературной активностью турки известны с VI века по-христианской эры, и если китайцы их знают почти за целое тысячелетие до того, с III или II веков до христианской эры, то специалисты нас учат, что турецкие языки отличаются консерватизмом, т. к. памятники от VI в. говорят о таких же диалектических группах, какие существуют и в современности». Выходит, невозмутимый консерватизм на протяжении одной тысячи трехсот лет. Тем более, турецкие языки могли проявить свою «природную» консервативность не одну тысячу прежних лет, следовательно, и тогда, когда о них нашли нужным упомянуть китайцы, и значительно раньше. Все это так. Более того, нам хорошо известно применение такой причинности, при отсутствии действительного об'яснения, и к другим языкам. Известный лингвист Карлгрен совершенно серьезно пишет про консерватизм китайцев в отношении речи: «Основание, почему был удержан древний язык, это неотвратимая сила традиции в Китае». Но языки не создание природы, у них никаких особых отприродных качеств, даже консерватизм, насколько он действительно присущ турецким языкам, имеет свою историю. С консерватизма не начинался созданный трудовым человечеством культурный мир, не могли с него начаться и турецкие языки. Словом, вопрос о происхождении турецких языков также нельзя отводить как уже созревшую научную проблему, без которой ни на шаг нельзя дальше продвинуться вперед в их изучении и, действительно, целостном осознании, как и нельзя научно мириться с признанием прародины турок в Азии только потому, что они сейчас массово обретаются там[1]), и что их знаем мы там же с первых существующих о них письменных свидетельств, точно также, как известно, что нахождение в Передней Азии и Восточной и Средней Европе их, да венгров, есть факт позднейшей миграции. Но ведь остановка выбора турецкого племени на том или ином районе, в частности, на глубинной Азии, как месте своего пребывания, факт, предшествующий всякому письменному свидетельству, всякой письменности. Тем более вне компетенции письменных источников и методов филологически-исторического исследования находится вопрос о происхождении турецкой речи и о месте этого происхождения, следовательно, своего рода прародине. В то же время прародиной турок, конечно, нельзя признать Азию по принципу французской поговорки j'y suis, j'y reste 'я там нахожусь, я там и останусь', т. е. по внешнему свидетельству факта, известного короткой исторической памяти человечества—короткой сравнительно с судьбами возникновения и развития турок и турецкой речи.

Надо учесть такие социально громадной важности и в мировом масштабе явления, как согласованная организованность по

[1]) Впрочем, и этого сказать нельзя.

речи многих десятков миллионов населения Евразии, колоссальную работу многих не тысяч, а десятков тысяч лет человечества, отражающую соответственные этапы развития хозяйства и общественных форм и в этом мировом глоттогоническом процессе возникновение и развитие турецкой речи, с наличием и сейчас, при численности турок не менее трех десятков миллионов, свыше трех десятков турецких языков и наречий, надо учесть сведение первичных расхождений этих языков и наречий, чем древнее, тем более многочисленных, к одному настолько общему типу, что самостоятельные некогда языки являются ныне лишь наречиями и говорами. Надо учесть и обратное явление: местами бесспорное независимое своеобразие некоторых представителей турецкой речи,—своеобразие, проистекшее от скрещения с первоначальными языками тех районов, где турки ныне являются массовым населением края. Спора нет, это результат на памяти истории происшедших миграций из Азии, предполагаемой прародины турецкого племени, а также в процессе продвижения турецких языков в самой Азии восточнее и севернее к палеоазиатам. Связи турецких языков с угрофинскими языками, с их наглядным формально-типологическим сродством при значительном, часто, казалось бы, полном расхождении в словаре и в его значимостях, выявляют еще большую сложность того глоттогонического процесса, порождением которого являются турецкие языки, т. н. турецкая семья языков. Сложность того же глоттогонического процесса усиливают те намечающиеся связи турецкой речи с монгольской, на которой настаивают наиболее сильно вооруженные в настоящее время представители и туркологии и монголистики.

Мы все не выходим пока, во всяком случае, стараемся не выходить из круга знаний, научных проблем и методов, применяемых к этому генетически особому, по сей день миру языков, т.-е. мы стараемся не выходить из круга знаний, научных проблем и методов старого учения об языке, формального учения, построенного по образу и подобию, главное, по духу индоевропейской лингвистики. Иначе мы должны бы указать на сугубое, если не более, осложнение всего того же глоттогонического процесса, плодом которого является турецкая не семья, а лишь система языков, если бы мы захотели ставить сейчас на вид туркологам восхождение турецкой системы к языкам яфетической системы, судя по наметившимся уже увязкам через чувашский и финские языки, да и независимо и непосредственно.

Итак, не выходя из круга интересов тех научных проблем, которые выдвигает и с которыми традиционно считается поныне господствующая лингвистика и современная туркология, обоснованная все на старом учении об языке, мы могли бы поставить на очередь как также бесспорную научную проблему вопрос об

утверждаемом туркологами-лингвистами консерватизме турецких языков и об отношении к нему того предшествовавшего, очевидно, длительного глоттогонического процесса, в результате которого мы имеем у них, турецких языков, с одной стороны многогранные связи различных эпох с языками угро-финскими и монгольскими, с другой стороны—сведение многочисленных разновидностей турецкой речи к той их постепенно устанавливавшейся закономерной согласованности, статике всех конкретных турецких языков, которые в сумме с незапамятных для старушки истории времен составляют особую речевую систему тесно сближенных до состояния одного языка с диалектами, говорами и наречиями, а вовсе не группировку ряда самостоятельных языков, как это мы наблюдаем в т. н. индоевропейской семье, системе прометеидских языков. Лингвистически близким соотношениям турецких наречий между собой нельзя найти аналогии даже в тех группировках, в которые внутри системы прометеидских языков успели сложиться, особо германские языки, особо романские языки, особо славянские языки и особо иранские, находящиеся также в громадном большинстве и внутри своих групп во взаимоотношениях самостоятельных языков, а не диалектов, наречий и тем менее говоров. Мы оставляем совершенно в стороне от всех этих групп наиболее оторванный язык прометеидской системы, греческий язык, как бы беспризорный в одиночестве, хотя и наиболее изученный. Турецкая группа взаимоотношениями входящих в ее состав языков, казалось бы, ближе стоит к взаимоотношениям языков, составляющих так называемую семитическую семью, но семитические языки, так близкие друг к другу в большинстве, как скорее наречия чем языки, все-таки сильнее отстоят друг от друга, чем турецкие в своих взаимоотношениях: семитические оказываются друг с другом в более далеких отношениях, если даже не учитывать тех расхождений, которые вносят в них, эти семитические языки, принадлежность их к различным исторически известным хозяйственно-общественным коллективам и в связи с этим к различным мировоззрениям, различным религиозным учениям мирового характера, месопотамскому, иудейскому или моисееву, христианскому и мухаммеданскому.

Следовательно, какая громадная общественная работа, какой громадный отражающий ее динамический языкотворческий процесс пройден турецкими языками, чтобы достигнуть того статического состояния, того консерватизма, который отличает, мол, турецкие языки по общему мнению самих туркологов, и, конечно, не может их не отличать в особо повышенной степени еще... почему? Потому, что турецкие языки доселе изучаются формальным методом старого учения об языке, индоевропейской лингвистики.

И в чем состоит это изучение в смысле выяснения их генетической связи хотя бы внутри самой т. н. турецкой семьи? В выработке классификации турецких языков и наречий по исключительно формальным признакам, отчасти звуковым и отчасти морфологическим. О десятках языков миллионных масс[1], ныне сближаемых, главным образом, своей речью, особенно живой речью, мы узнаем, что различные народы этого круга друг от друга в этом отношении отличаются тем, что

1) одна группа в своих языках употребляет звук r, когда другая или другие группы пользуются звуком z,

2) другая группа противопоставляет полугласный у звонкому согласному d других языков,

3) третья группа в слове ǯaǧ 'гора' выявляет вместо аффриката ǧ губной звук w (по-русски пишут «у»),

4) затем, добрая часть турецких языков об'единяется употреблением ol в значении 'быть' в противоположении bol других также турецких языков,

5) наконец, конечно, есть и иные группы мешанного типа.

Обратите внимание, никаких, хотя бы формальных, координатов.

Однако, когда для размежевания одних групп турецких языков от других, бремя доказательства определенных взаимоотношений возлагается на голые звуковые расхождения, то вопрос громадной важности кладется для разрешения на непомерно слабые плечи. Дело уже не в том, что взаимоотношения различных языков есть вопрос социального порядка, и одними оторванно от хозяйства и общественности трактуемыми формальными явлениями их никогда не установить. Дело хуже. Не учитывается абсолютно палеонтология речи, не учитывается то, что раньше звуки не имели такого самостоятельного значения вне слова, вне его состава и смысла, чисто формальных звуковых переходов не было, и взаимоотношения звуков, отрешенно от их до-истории нельзя класть в основу взаимоотношений языков, если мы интересуемся действительным положением вещей, т.-е. вопросом о происхождении языка и в зависимости от него реальными соотношениями турецких языков и между собой, и с языками других систем.

Так, когда аффрикат ǧ противополагается губному звуку w (русск. «у») или наличие губного согласного b в одной группе— его отсутствию в другой, и их взаимоотношения раз'ясняются как чисто звуковые явления такими типическими примерными парами, как в одном случае ǯaǧ || ǯaw 'гора', в другом bol || ol 'быть', то если бы речь шла лишь о согласных, то надо бы еще

[1]) «Около 26 миллионов», писал еще в 1896-м году Н. А. Аристов в «Живой Старине» (вып. II, год шестой) в работе «Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их численности» (стр. 277).

взвесить что это за ǧ в ϑaǧ? И в этих примерах дело идет вовсе, однако, не о расхождении лишь гласных, а о различном составе слов: т. ϑaǧ, как и во всяком случае т. ϑaw—двухэлементные слова, первое, если не одноэлементное *A*, то двухэлементное *AC*, второе—*AB*. Общим у них является лишь первый элемент ϑa←ta, в яфетических языках появляющийся в этом виде и аффрикатно (t→ϑ) с пучковым значением 'голова+ +гора+небо', так г. ϑa 'небо', хд ta 'голова', да и у грузин ϑa в составе скрещенных слов m-ϑa 'гора' и ϑa-v 'голова'. Второй элемент *B*, здесь наличный усеченно в виде v, resp. w, в других случаях у грузин появляется полностью в разновидностях vel||var, диал. vad (вместо *vad̦), сохранившись так цельно в скрещенных словах ϑa-vel ['голова'→] 'колос' || г. ϑa-var 'глава', 'князь', 'главный', resp. г. ϑa-vad 'глава', 'князь'. Этот элемент B, наличный в названных словах, помимо перечисленных разновидностей vel||var диал. vad, в грузинском, да в других яфетических языках, представлен и другими словами, в числе их с губной огласовкой bol↔bul, первично bor↔bur у грузин в составе скрещенного термина bor-ϑu 'холм'←'гора' и bol-o 'конец' (→ 'голова'), и двойника его же, т.-е. последнего слова мы имеем в значении 'головы' в удин. bul, в бск. bur-u, в чув. puş, чего разновидностью является и т. baш, с аканием также как сохранившийся в грузинском var (ϑa-var), resp. vad (*ϑa-vad),— прибавим с аканием также, но не с таким же, если мы углубимся в палеонтологию социальных группировок языков по звуковым соотношениям. Но эта палеонтологическая подкладка социальных группировок по звукосоответствиям по существу отнюдь не касается выдвигаемого нами отожествления грузинских слов с турецким baш. Такая же история, далеко не полностью сообщаемая сейчас, выясняется у элемента A, именно ϑa обоих слов, и у элемента C—ǧ, как пережитка целого самостоятельного слова (ǧan→qan) со всеми подлежащими значениями, а не простой звуковой части цельного коренного слова ϑaǧ.

Таково же положение с bol и ol, основами глагола 'быть'. В основах этих имеем самостоятельные слова, в одном случае элемент B—bol, в другом случае элемент A—ol, а не разновидности одного и того же корня, точно в одном случае с сохранением губного согласного bol, в другом с его утратой ol. Оба элемента, каждое независимое слово, одинаково с губной огласовкой, что для турецкой речи, особенно в слове bol, является незакономерным при сопоставлении его с чув. эквивалентом por↔pur 'быть'[1]), да еще pol↔pul 'быть', ибо при чув. губной огласовке в турецком требовалось бы акание, как то имеем в словах чув.

---

[1]) Это у чувашей тот глагол 'быть', которой используется и в значении 'иметь'.

puş || т. baш 'голова'. Что касается другого слова, элемента A, т.-е. ol, то и в нем мы имеем непоследовательно для турецкого языка губную огласовку: в яфетических языках это особенность шипящей группы. Следовательно, в bol окание вместо акания, особенности свистящей группы, с сохранением, однако, от той же группы плавного l в том же слове, где чув., более верный нормам шипящей группы, в данном случае удержал ее соответствие r в одной из пар своих разновидностей — por ↔ ↔ pur. Соответственно на стадии развития яфетической системы два впоследствии ставших турецкими слова bol (resp. por ↔ pur) и ol должны были быть представлены, согласно взаимоотношениям двух групп, свистящей и шипящей, каждое парами разновидностей, элемент A—al || or и элемент B—bal || bor (↔ bur), что и имеем в наличных яфетических языках Кавказа, или с колебанием в плавном, по свистящей группе ar ⤡ a, это у грузин), по шипящей группе—or (это у мегрелов и чанов), или с усечением плавного в яфетических языках Кавказа, удинск. ba(⤢bal) ⤡ абх. ma (также по-этрусски[1]) || чув. por ↔ pur, resp. pol ↔ pul.

Предупреждаю, что мы вовсе не отрицаем окания и в данном случае, как огласовки, наличной в турецких языках и им пережиточно присущей, но здесь они утратили строгость социального ее значения, как мерила группировки различных производственно-общественных коллективов, впоследствии племенных образований. Все-таки отметим, что с оканием выступают более выдержанно северо-восточные турецкие языки. Ниже увидим, как yü 'жир', 'сало' 'масло', из yuğ, налично в алтайском и телеутском в противоположность yā, что из yağ. Этого же порядка по огласовке початно отмечавшееся pot из яфетического *poṭ в значении 'себя' (палеонтологически когда то и 'головы'), в танутувинском в соответствии тур. baш. Во всех этих случаях вопрос не о физиологических звуковых лишь явлениях, а социальных, о группировке языков с оканием, турецких, теперь же хотя бы о переживании группировки уже разбросанно слоями или единицами по всем турецким языкам. И вместе с тем вопрос также и о том, что в исканиях по тем же терминам мы наталкиваемся на группировку лишь некоторых турецких языков по губной огласовке ю чув. (puş) 'голова' и арм. (yuğ) 'масло', в последнем языке, армянском, как переходном к прометеидской системе, также в качестве лишь переживаний из яфетического наследия. Оттуда же и 'дорога' м. ol-ə ↔ арм. ul-ı, и т. yol, сибилянтно сохранившееся как в родной среде у чувашей в şol ↔ şul, в архетипе шur ↔ шur что и в финских языках Вол-Камья, и в чувашском, и в китайском, и в романских языках,

[1]) Alf. Torp, Etruskische Beiträge, Лейпциг 1902, 1, стр. 12—14.

где усеченно, где в составе скрещенных терминов значит 'река—вода' и т. д., и отнюдь не случайно, ибо это находится в полном согласии с установленным теперь подлинным происхождением термина 'путь' от 'реки+воды'[1]). В тех турецких языках, с переживанием фонетических норм свистящей группы с аканием, где 'голова' искони родное слово, оно должно бы звучать спирантизованно *yal→*al без спирантизации *sal, в яфэтическом архетипе с сохранением диффузности начального сибилянта *sal ↓*skal→*zgal как то свидетельствуется его пережитком, сохранившимся у грузин в их языке свистящей группы, именно gza (←*zgal) 'дорога', с удержанием же аффрикатного состояния начальной пары согласных еще на глухой ступени в полном виде tkal то же слово по-грузински значит 'река+вода'. Что в gza 'дорога' утрачен плавный звук l, это факт, свидетельствуемый его разновидностями в языках шипящей группы, где то же слово налично как заимствование или усвоение архаичных эпох в виде ч. gza→ м. za, причем основу с плавным zal←gzal выявляет у мегрелов мн. ч. zal-eф-ı, а в полном виде gzal (→zəl) resp. gzar, производные в чанском языке глаголы o-gzal-u 'ходить', v-ı-gzal-⌈am⌉ 'отправляюсь', аор. v-ı-gzal-ı→v-ı-zal-ı 'я отправился'.

Таким образом, в изолированном изучении т. н. алтайской семьи полученные звуковые законы нисколько не помогают правильному исследованию турецких языков; наоборот, они мешают ему, заслоняя собой более углубленные перспективы в состояние тех же языков на предшествующих более ранних стадиях развития. Достаточно одного примера по закону соответствия плавного r зубному z: 1) это соответствие, т. н. фонетический закон, лингвисты-тюркологи также кладут, как мы видели, в основу классификации турецких языков и наречий, выделяя в особую группу языки с r, в которую относят с проблематическим болгарским, равно гунским, также чувашский. Однако это чередование наблюдается в одних и тех же турецких языках для уточнения двух значений, которые присущи были по палеонтологии речи одному и тому же слову. Так 'небо' по-турецки звучит ϑägrı на лебединском и шорском наречиях, и восходит к архетипу *ϑängrı как то явствует из его телеутской разновидности— ϑänärä да и реальность самой формы ϑängrı подтверждается тем, что 'небо' становится неизбежно 'богом', и ϑaŋrı на казанском татарском значит именно 'бог'.

Слово представляет скрещенный термин из двух элементов CA, т.-е. ϑan и gır, так что архаичный архетипный его вид—

[1]) Раньше по одному созвучию, без учета истории материальной культуры, отожествлялось и нами со словом 'рука'→'направление' отсюда мол 'путь'.

*ϑan-gir (в наличных его формах огласовка 2-го элемента, элемента A, выдвинута в конец: — gri вм. — gir).

Однако палеонтологией значимостей слов установлено, что словом 'небо' обозначались три 'неба' или три космических мира, верхнее или наше 'небо[1]', нижнее или 'земля', 'небо[2]', и 'преисподнее' или 'море', 'небо[3]'. Первоначально все три 'неба', т.-е. и 'небо', и 'земля', и 'море', назывались одним и тем же словом. И когда рядом с 'небом', в архетипе звучавшем *ϑan-gir, мы имеем в том же турецком языке ϑan-giz (→ ϑä -giz → ϑaniz в значении 'моря', то, думаю, ясно, что чередование звуков r ‖ z имеет отношение не к разности племенного состава, собственно, не к разности социальных группировок по языку, а к разности значений, усвоенных словом в порядке технической необходимости.

Это вовсе не значит, что мы отрицаем факт существования между различными языками звуковых корреспонденций, становящихся в стройные как бы ряды. Не отрицаем и необходимости и основательности их использования для соответственных выводов по установлению социальных группировок. Может быть, не лишнее сделать эту оговорку, т. к. давно в том убеждался в полной мере и по обширным докладам и не менее ответственным качественно мелким сообщениям, которые приходится слышать в двух столицах, бывшей и современной, на собраниях, равно по беглым убийственно характерным вопросам или замечаниям из уст многочисленных собеседников, что мои работы или абсолютно не читаются или читаются, очевидно, с таким пренебрежительно-поверхностным вниманием, что лучше бы вовсе их не читать, без внимания в существо, т.-е. тоже своего рода формальным методом. Без учета т. н. фонетических законов мы и палеонтологически не могли бы раз'яснить, что с яфетическим ϑar 'целый', словом мегрельским, т.-е. шипящей группы, находится в непосредственной связи не только основа, точнее первый элемент чув. tar-a 'здоровый', но и т. sağ (джагат., восточн. турецк., осман., крымск.), т. к. ряд случаев указывает, что заднеязычный аффрикат ğ в турецком того же часто происхождения, что тот же звук в армянском, т.-е. перерождение плавного. Сюда относятся первой своей частью как чув. tar-a 'здоровый', так его чувашский же двойник tas-a, обычно 'чистый', 'святой', но, несомненно, и 'здоровый', судя по фразе, приводимой Никольским в Русско-чувашском словаре, под словом 'здоровый': tasa mar polϑĕ 'захворал' (←'здоров не стал'). Впрочем, само схождение в одном и том же слове значений 'чистый', 'святой' с значениями 'целый', 'здоровый', если поставить их в палеонтологически более состоятельном порядке, именно, 'святой', 'чистый' и т. д., т.-е., если исходить, как надлежит, из представления магической эпохи семантики, 'тотема', затем, смотря по

линии интересов и 'удачи', 'счастия' и 'святыни', 'чистоты', то ничем не отличается от того, что само тур. sağ 'здоровый' значит 'правый'. Не вина турецкого языка, если туркологи в словарях, исходя из современных представлений, на первом месте помещают 'здоровый', на втором 'правый', 'верный', 'честный'. В др.-л. арм. a-ḍ (← *al-ḍ 'правый') и ol-ḍ 'здоровый', также разновидности одного и того же слова, одинаково двухэлементного (AC).

Такой аффрикат ğ т.-е. ğ плавного происхождения, как в турецком sağ, иногда появляется в одних и тех же словах у турок с армянами, вернее в турецкой и армянской разновидностях одного и того же слова, в турецком с аканием yağ (←*yak→yā) 'масло', 'жир', в арм. с оканием *yoğ (→ewğ)↔yuğ 'масло', жир' (→ рутуль yəḍ 'жир'), куда, т.-е. к армянской разновидности с ее оканием, примыкают из турецких же языков, как уже сказано, алтайский и телеутский своим yü 'сало', 'коровье масло' в sarы yü т.-е. с утраченным аффрикатом ğ в корреспонденции с плавным l ‖ r яфетических языков, где соответственно третьей экающей разновидности сохранились двойники слова и спирантного (*her→er) и сибилянтного (ser, ṭer) типа, из них er налицо в составе сохранившегося в грузинском скрещенного из AB элементов термина er-bo 'масло', уже не 'жир', а 'коровье масло', ser самостоятельно у армян в значении 'сливок' или, как об'ясняют сами армяне, 'жир молока', а ṭer в удвоении у армян — ṭen-ṭer 'накипь жира'. Двухэлементное скрещение в том же значении 'сала', 'жира', равно 'масла', однако, вовсе не представлено одним грузинским, есть его и акающая разновидность. В армянском тот же элемент A с плавным r также представлен, да в скрещении с элементом B, при том с сибилянтом ṭ вм. спиранта с точным сибилянтным соответствием начального спиранта y←ŕ, т.-е. ȷ←ш в под'еме, да с аканием: это ṭar-po → ṭar-p 'жир' и пережиток того же двухэлементного скрещения, но спирантизованного *yar-v имеем в команском ya-w 'жир', а вовсе не случай для иллюстрации не существующего в этой категории слова звукового перехода ğ в w или обратно.

Без учета этого же звукового явления, т.-е. перебоя плавного в аффрикат нельзя понять ни того, что yağ 'дождь', отсюда yağ— так 'итти дождю', следовательно, палеонтологически и 'вода', аффрикатом ğ восходит к плавному r ‖ l т.-е. это спирантизованная разновидность хорошо известного из названий рек sar 'река', 'вода'[1]) г. ṭkal 'река', 'вода', двойник также спирантизованного м., ч. ğal, ныне 'речка', раньше 'река + вода' (кто любит свидетельство текстов, может и для ğal успокоиться на

[1]) Н. Марр, Приволжские и соседящие с ними народности в яфетическом освещении их племенных названий, ИАН, 1925, стр. 683.

свидетельстве древнейшего текста т. н. до-исторических языков, именно топонимике, с ее названием малоазийской реки Halys [1]). Но без учета выдвигаемых тут конкретных явлений, лишь теперь по палеонтологическом освещении становящихся фактами из сырого материала, не поняли бы ни того, что турецкий термин yağmur 'дождь' есть лишь спирантизованная разновидность, но разновидность другого типа, совершенно иной группы, чем ее закономерный, но независимый чувашский эквивалент с утратой плавного первым элементом, элементом А (ṣu ↘ sə вм. mur), именно ṣu-mər (↘ sə-mər 'дождь', к которому примыкает г. ṫu-ma (диал.) → ṫwı-ma 'дождь'. Ясно, что с т. yağmur, пожалуй, никак нельзя отожествлять ни yamğыr или yañыr, ни yanbыr, как это делают туркологи, ибо, хотя они также турецкие слова и они также означают 'дождь', но, будучи двухэлементными, они могут быть иного строя или иного состава, они могут иметь или иное расположение элементов С+ВА (ya+m+ğыr) вм. АВ, или совершенно иной элемент в составе, именно С без В, так yan,ыr из yanğыr, также двухэлементное скрещение, но СА, как то находим у армян, в двух разновидностях—1) трехэлементной (САВ), это др.-л. an-ḋre-w 'дождь' и 2) двухэлементной (СА), это народн. ϑon-ir дождь'.

Естественно, при таком палеонтологическом анализе, перед нами в общепринятом учении о турецких языках вскрывается научно неустановившаяся классификационная система по отвлеченно-формально воспринятым звуковым соответствиям. И в эту неустойчивую формальную систему, поверхностно задевающую существо фонетической мешанины конкретных языков, едва ли этим путем распределимой по действительно конструктивным составным слоям, вносится еще момент географического распределения, ни в какой мере, разумеется, не отвечающий каким-либо реальным нормам, чтобы ими действительно характеризовать те жизненные в целом и в частях взаимоотношения, которые являются и в схождениях и в расхождениях отражениями социальных группировок. Это отложение хозяйственно-общественных взаимоотношений различных коллективов, лишь впоследствии племен и народов, отложения за те до-исторические эпохи, когда не было вовсе наличных и свидетельствуемых с исторических времен ни национальных, ни даже этнических образований, ни, естественно, тех географических размещений и территориальных граней, с которыми мы теперь неразрывно связываем представление о каждом данном национальном или племенном об'единении, если речь не о народе, вселившемся заведомо на памяти исторических источников. Между тем, даже в кругу яфетических народов в

[1]) А ныне в Мегрелии и далее на севере естественное название рек и речек ġaln-ḋga, Nor-ġal + э и др.

районе массового их пребывания, именно на Кавказе, территориальное распределение этнических единиц, поскольку оно свидетельствуется письменными источниками с древнейших времен, в общем соответствующее нынешнему расположению, абсолютно не соответствует взаимоотношениям их языков. Я уже не говорю о том, что абхазский язык в своем сибилянтном слое ближе к грузинскому, как языку свистящей группы, между тем между абхазами и грузинами расположены с одной стороны мегрелы, с другой сваны, или сванский язык, связанный в своем сибилянтном слое с шипящей группой (мегрелы, чаны), имеет более тесные узы родства из двух языков этой группы не с соседящим с ним мегрельским языком, а с чанским или лазским, между тем, именно от чанов, или, что то же, лазов, сваны отделены теперь и мегрелами и грузинами; или опять-таки абхазский, по морфологической типологии и по словам первичного быта ближе стоящий к яфетическим языкам Каспийского района, отделен от них целым рядом народов, более далеких и строем и материалом речи и от абхазов, яфетидов Черноморья, и от прикаспийских яфетидов.

Остановлюсь я на одном лингвистическом явлении, образовании множественного числа с помощью плавного показателя множественности r, пережитка целого некогда слова, именно, элемента A, в разновидностях акающей (сс группы)-ar и окающей-or ⟷ ur как они распределены территориально: ar налицо у сванов и у армян, у последних в сочетании с предшествующим именным характером e—e+ar (ныне er), однако в древности исторических эпох на социальных верхах его не было, этот форматив тогда составлял достояние порабощенного трудящегося класса, крестьянства, a or⟷ur выявляют удины, сохранившиеся в двух селах—Варташене и Ниже, где две разновидности распределились диалектически, в одном наречии произносят or (нижском), в другом ur (варташенском). И вот нам сейчас важно отметить территориально значимые моменты, именно не только то, что один и тот же элемент A служит для образования мн. ч. у народов, отнюдь не соседящих, именно, сванов, армян и удин, но более того, и то, что одна и та же форма ar обща сванам (ar, resp.-är ‖ er) и армянам (-e+ar ⟶ er), а другая с оканием or у удин, отделенных ныне от народов по языку шипящей группы с оканием (мегрелов и лазов) дальностью Каспийского моря от Черного и не одним перевалом. Важно отметить, что в Армении это окончание принадлежало социально негосподствовавшему трудовому классу, и только по исчезновении господствовавшего класса, сословия феодалов, вообще кровной знати, с языком, обладавшим в качестве признаков мн. числа звуком q элементом C, окончание e+ar ⟶ er с содержащим его языком выплыла на поверхность в полной своей силе и попадает бла-

годаря письменности в орбиту научного интереса. И дальше еще. Эти крупные социальные группировки по окончаниям мн. числа, сословные в странах с интенсивной или долгой исторической жизнью, в других краях хотя бы того же Кавказа, сводятся к группировкам самих слов, в речи одного и того народа, resp. племени по принадлежности к той или иной категории предметов, к тому или иному их классу, активному, пассивному и общему в зависимости от более мелких социальных группировок по производству и связанному с ним культу. В кругу более близких удинскому языков, сродных с ним, лезгинских, так же и в абхазском окончания мн. числа различаются по классам предметов, понятно, уже с затемнением, так, напр., ar(-är) в рутульском служит для образования мн. числа названий живых существ и разумных (активных) и неразумных (пассивных) еще с большим затемнением до обращения лишь в формальный признак одной множественности в лезгинском (yar ⟶ ar ‖ er). У удин то же окончание с губной огласовкой or⟷ur также сошлось с окончанием мн. числа армянской знати, элементом С (q̇o⟷q̇u) да еще с окончанием m (mo⟷mu) элементом В, но, находясь в одной стране, ныне в племенном мире, сведенном всего на всего к двум селам, Нижу и Вартaшену, они вовсе не распределены по сословиям и слабо по классам, их уже вовсе нет у удин, этих сословий, и слабые переживания, так классов, они слились в одной общей речи или на наших глазах сливаются, отчасти распределяясь по двум сохранившимся наречиям, между тем и окончание—элемент С (арм. q, уд. q̇o⟷q̇u) и окончание—элемент В(*mo⟷mu) также разбросаны территориально. Окончание—элемент С (q̇o⟷q̇u⟶q̇⟶q), находящий свое полное раз'яснение еще в халдском клинописном языке Армении, письменном языке с IX по VIII в. до н. э., прослеживается и у сванов (q̇) и у абхазов (q̇a⟵*qo), причем у абхазов в архетипе *qo одной губной огласовки с удинским q̇o⟷q̇u. Окончание—элемент В(mo⟷mu), характер также мн. числа эламской речи, языка и V тысячелетия до н. э. и VI—V столетия до н. э., здесь с огласовкой a(·pa) поныне прослеживается у черкесов (—m), у чанов или лазов (φe), кое-где в полном виде элемента В, так в рутульском mar ↗ (*par ⟶ *bar) ‖ bur ↘ rbw⟶br и в их разновидностях, а в скрещении у грузин (e+b) от них и мегрелов (—e+φ), у чувашей (sa+m ‖ se+m) и др.[1]).

Так обстоит дело не только с демонстрированным вкратце нами образованием мн. числа с элементами С, и, главным образом, А. Это же самое положение вскрывается палеонтологически за пределами Кавказа в языках всех систем. Можно ли говорить о территориальном моменте, как о какой-либо опоре? И не пора ли

---

[1]) Мы не касаемся сейчас истории возникновения этих скрещений.

и не важнее ли сосредоточить внимание на моменте социальном, обычно вовсе конкретно не учитываемом?

В заметке проф. А. Н. Самойловича «Некоторые дополнения к классификации турецких языков»[1]) мы находим ряд живых мыслей, как, напр., ту, что: «Часто практикуемое обозначение родственных языков и наречий по странам света: северные, южные и т. д. нередко приводит к значительным натяжкам»[2]), или еще смелее другая мысль, именно та, что нецелесообразным надо признать наименование исторических пластов в системе языков «древними, средними, новыми», когда по тем или иным причинам при классификации не учитывается «до-историческая» эпоха существования данной семьи языков». Но и проф. Самойлович в конце концов приходит к заключению, чем и начинает свои дополнения, что: «Попытки классифицировать турецкие языки увенчаются окончательным успехом, кто бы их ни предпринимал, не ранее, чем завершится сравнительно-историческое изучение этих языков. Когда же это будет? Проф. Самойлович откровенно отвечает «весьма еще не скоро», т.-е. получается т. н. порочный круг, circulus viciosus: 1) классификация турецких языков, строящаяся на их формальном сравнительном изучении, будет выдерживать критику лишь тогда, когда будут изучены сравнительно-исторически тем же формальным методом все турецкие языки; 2) это исчерпывающее изучение дело греческих календ, «весьма еще не скоро будет», и, следовательно, 3) мы до тех пор не можем иметь выдерживающей критики классификации турецких языков, т.-е. до тех пор у нас не может быть, следовательно, никакой надежды на осознание строя турецких языков, осознание каждого из них для правильного отведения ему места в системе турецких языков. Ведь это тупик, при чем тупик, отличающийся от тупика индоевропеистов тем, что индоевропеисты глубоко вошли в изучение языков своего ведения и им трудно и при желании возвращаться назад, не разбив вдребезги своих кумиров, а лингвисты-туркологи не успели так глубоко углубиться в языки своей системы, они стоят перед ними как перед сфинксом, не сознавая, что дальше в изучении турецких языков, стоящих в чрезвычайно близких друг с другом отношениях, шагу вперед по существу, не могут сделать, как бы до исчерпания всех не продолжали изучение их используемым методом. Общего между тупиком индоевропеистов и тупиком лингвистов-туркологов только то, что метод у них всех одинаково формальный, и, цепляясь в море живого и богатого материала, точно утопающие за соломинку, за отрешенные от материальной реальности звуки и за почвой местонахождения, всегда сомнительной опорой, особенно

[1]) Петроград 1922 (изд. ЛИЖВЯ).
[2]) Ц. с., стр. 4.

зыбкой под ногами турок, как нас учат консервативных по речи героев миграционных движений, кочевников, лингвисты-туркологи абсолютно не увязывают богатой турецкой речи органически ни с хозяйством, ни с общественностью турецких или сродных с ними более верных социальной старине народов.

Между тем общая история возникновения и развития человеческой речи все более и более входит, вынуждена войти, в недра Азии, соответственно развитию новой теории и возникающим в ней проблемам, и, не имея возможности получать из рук специалистов социологически проработанный материал турецкой речи, классификационно увязанный с хозяйством и общественностью, с ее различными слоями, мы решаемся своими силами кустарнически использовать турецкую речь для ее проработки в свете нового учения об языке, яфетической теории. А по теории этой сразу ставится генетический вопрос, вопрос о происхождении «откуда»? Следовательно, в связи с этим, казалось бы, вопрос о прародине? Но яфетическая теория как будто отрицает прародину любого языка, она бремя творчества перелагает на динамику общественности, ее движение. Совершенно верно, но надо же указать на момент динамики общественности и соответственное для турецкой языковой типологии место в ее творческом движении, в творческом движении общественности, т.-е. в развитии материальной культуры, форм общественного строя и мировоззрений. Потому при строящейся уже новой теорией об языке истории человечества вопрос исследователем, общим языковедом, ставится не «откуда?», а «куда?». Куда надо отвести турецкую речь? С этим и решится вопрос, когда яфетидологическая работа получит достаточную материальную базу в соответственных специальных изысканиях туркологов и вопрос «откуда?» получит ответ, следовательно, в этом смысле, равно вопрос о прародине. Мы сейчас лишь намечаем путь к решению, собственно, к определению места турецких языков в едином процессе глоттогонии или языкотворчества всего человечества.

Из данной в статье об южно-африканском языке[1]) характеристики готтентотского языка, отнюдь не первобытного, наоборот, стоящего на высокой ступени развития, проделанной пока работой выясняются связи готтентотского, собственно, намайского языка с яфетическими языками вообще, в частности, на Востоке с шумерами и на Западе с баскским, равно с греческим и латинским, с последними в том смысле, что в этих классических языках Европы, возникших впоследствии как переживания, сохранились нормы фонетические, отчасти грамматические (три грамматических рода—мужск., женск., средн.), равно слова, иногда скрещенные, как уже в самом готтентотском, иногда простые как

---

[1]) Н. Марр, Готтентоты — средиземноморцы (ДАН, 1927).

в нем, но часто в готтентотском еще простые, а в латинском и греческом уже скрещенные. Очевидно, эти слова прошли между готтентотами и языками латинским и греческим еще среду иной системы, быть может, не одной системы.

Что же удивительного, если у нас, совершенно независимо от туркологических изысканий, возникает потребность увязки и азиатских языков, в числе их и турецких, с тем единым глоттогоническим процессом, центром которого давно наметилось Средиземноморье?

II.

Азия, как никак, территориально увязана с Европой, а с нею и Средиземноморьем, более широкими воротами, чем с Африкой, да притом все по суше. С памятного поворотного момента, когда в целом изолированный в своем окружении чувашский язык оказался находящимся в родстве с яфетическими в степени, давшей основание выполнить работу, ныне наличную в печати, «Чуваши яфетиды на Волге»[1]), исследования последних лет нам дали возможность практически использовать в текущей работе одну из открывшихся перспектив увязки яфетидологических изысканий через чувашский с угро-финским севером и турецким востоком, именно с финскими языками, в первую очередь Вол-Камья и неизбежно Прибалтики. Правильность взятого нами курса нашла наиболее авторитетное подтверждение в том, что, во-первых, яфетические языки Кавказа, в том числе и наиболее изучавшийся грузинский, и даже такой переходный к прометеидской системе тип, как армянский, получили совершенно новое освещение в ряде существенных их особенностей как в морфологии, так в словаре. Во-вторых, финские языки, оказавшиеся в неожиданном и для нас родстве с яфетическими языками, вынудили нас вскрывшимися языковыми фактами лингвистически увязать с палеазиатами единственный сохранившийся в Западной Европе народ с «до-историческим» языком, баскский. Из палеоазиатов в процессе нашей работы дело мы имели в первую голову с енисейцами и юкагирами. Следовательно, пришлось лингвистически увязать палеолитический мир крайнего запада с этнографическими пережитками тех же ближайших к ним эпох на крайнем востоке Азии, при чем это такая увязка, которая наметилась независимо в этнологии по памятникам материальной культуры.

Я не буду далее задерживать внимания слушателя или читателя на факте встречи на этом исследовательском пути с французским американистом Риве. Его мысль, лингвистически мотивированная, о происхождении части американских аборигенов из Азии через эскимосов и палеоазиатов сошлась с нашим

[1]) Чувиздат. Чебоксары 1926.

яфетидологическим движением с крайнего запада Европы с увязкой баскского языка с палеоазиатскими, чему на юге параллель составила мысль, с разных сторон выдвигаемая также не одними лингвистическими фактами, о тесном общении океанийских народов непосредственно с Средиземноморьем в древнейшие эпохи расцвета здесь культуры. Эта встреча оказалась чреватой и иными, для нашей темы более актуальными последствиями. Китайский язык моносиллабической системы стал раз'ясняться в своих связях с языками других систем, не только яфетической, при чем в нем вскрылось в наличности то близкое к первичности состояние звуковой речи вообще человечества, которое новое учение об языке утверждало на основании данных, полученных путем палеонтологических раскопок в языках всех других систем при помощи директивных норм пережиточных языков яфетической системы. Названия предметов древнейшего бытования в человеческой речи 'воды', 'дерева', resp. 'дуба-желудя' и впоследствии 'хлеба', равно животных передвижения, да предметов более позднего использования, как то драгоценных металлов и т. п., у китайского языка оказались сродными не только с языками яфетической и угро-финской систем, но и с языками Западной Европы, с тем, однако, расхождением, что термины, у других народов, в том числе западно-европейских, скрещенные, двухэлементные, в китайском сохранились без скрещения в простом виде одноэлементно. Это не значит вовсе, что те одноэлементные слова, ныне наличные лишь в китайском, принадлежат только ему, языку азиатскому, и налицо в таких случаях факт, свидетельствующий о вкладе восточно-азиатской речи в западно-европейскую. Положение здесь намечается такое же, как, когда у латинян 'письмо' и 'книга' оказались двухэлементными скрещениями, тогда как на Кавказе и у финнов вскрылись в тех же значениях слова с одним или другим из элементов, входящих в состав латинских скрещенных терминов. Выясняя корни последних, мы попали, следовательно, обратно на Кавказ, точно для того или, можно было подумать, для того, чтобы доказывать его влияние на архаическую Италию, и потому мы тогда же делали следующую оговорку [1]): «При знакомстве с подлежащими кавказскими материалами соответственных языковых групп, обращение от латинского, вообще романского, материала к ним оказывается не путешествием из Италии на далекий Кавказ, а нисхождением вниз, в самой Италии, в так называемую до-историческую подоснову латинской речи, вернее не в Италии лишь, а в самой Западной Европе, путешествие тоже в дали, но в дали не пространственные, а хронологические, в глубину времен».

---

[1]) Происхождение терминов 'книга' и 'письмо', стр. 68.

И, естественно, когда это «дно, на Кавказе оказавшееся вынесенным на поверхность», с доступностью для непосредственных наблюдений вскрывается на еще более удаленной глубине в китайской речи, где часто без всяких палеонтологических изысканий в нашем распоряжении находится еще более древнее состояние языков того же латинского, да вообще романского мира, значит ли это, что мы имеем право говорить, что в одном случае яфетические языки с Кавказа, в другом случае китайский с Дальнего Востока повлияли на образование латинского и вообще романских языков, несмотря на то, что материальная увязка самих языков, разобщенных зиянием пространств, становится очевидной? Когда дело идет о Китае, то в отношении факта увязки нас не могло бы смутить вскрытие общности самого термина 'книга'—'письмо' у китайцев и латинян со включением яфетического Кавказа (здесь то же же слово в др.-л. грузинском языке в речи с глубокими письменными традициями), Месопотамии (здесь его пережиток в ассир. яз.) и русского. Общность такого термина не могла бы смущать, т. к. вопрос о причастности народа с моносиллабическим языком к древнейшей в письменно-культурной части этого мира грамоте, клинообразной, даже генетическая увязка самого китайского письма с клинописью становится очередной серьезной научной проблемой. Здесь пальму первенства можно было, казалось бы, предоставить китайскому языку, где к тому же слово сохранилось в первичном, нескрещенном виде—одноэлементно [элемент C], но, увы, на противополагающемся в этом вопросе Китаю средиземноморском западе, во-первых, также имеется простой вид того же слова, из эпох до скрещения элементов, и, во-вторых, что особенно важно, на указанном Западе в скрещении ли с другим элементом или еще первично-самостоятельно, это слово—лишь бытовой термин, по значимости архетип понятия 'письмо-книга', раньше 'метка-тамга-знак', первично 'тотем-бог', у римлян 'знак' (signum), оно же, впрочем, и символ защиты—'знамя' или 'значек', у семитов арабов в значении определенного прозвища (kun+y-aϑ^{un} ∨ 'kin+y-aϑ^{un} и kun+w-aϑ^{un} ∨ kin+w-aϑ^{un}), первоначально всегда—тотема-бога, всегда культово защитного термина. Следовательно, и в термине 'письмо-книга' увязка, очень хронологически глубинная и далекая, разумеется, до-письменная со Средиземноморьем, как и с Западной Европой, но языковая увязка вне сомнения именно в лексемах до-исторического словаря, названиях первой необходимости предметов материальной культуры и неразрывно с ними в культовых терминах, точнее терминах магии.

И когда такая же, да еще формально-типологическая увязка, уже морфологическая, выясняется у языков средней и южной Азии, языков тибето-бурманского круга, об'единяющихся со всеми

семитическими и хамитическими языками, да с частью яфетических языков их исключительной в этой далекой части Азии префиксальным образованием, и когда в тибетском и в недавно открытом в Средней Азии языке мы находим слова, общие с яфетическими языками Кавказа и Пиренеев, в частности, из числительных иные в столь близком виде, что можно думать, это прямо таки грузинские и мегрело-чанские слова, с поразительной непочатостью сохранившие взаимоотпошения свистящей и шипящей групп яфетической системы языков, как это показано в одной из печатных работ в ДАН [1]), то, при создавшемся положении нашего научно-исследовательского дела—еще раз скажу: «что же удивительного, если у нас, совершенно независимо от туркологических изысканий, возникает потребность увязки с тем единым глоттогоническим процессом, центром которого наметилось Средиземноморье», и [оставшихся из] азиатских языков (урало-алтайских), в первую голову турецких, выдвинутых точно авангард азиатского мира позднейшей историей вместе с финнами для заслона или защиты, казалось бы, особняком стоящего Востока, ныне и от веков, говорят, экзотического для Запада, ничего общего не имеющего, мол, с ним, если не в путях позднейших миграций варваров из глубин Азии в Европу, или в обратных путях колонизационного использования просвещенной Европой непросвещенной, а для многих, слава богу, и непросветимой Азии. Так ли это?

Мне не нужно говорить, какая органическая неразрывная связь у финнов и турок с русскими, да вообще со славянами в быту, как в материальной культуре, так вообще в ряде жизненных сторон этнографического порядка. В работе «Чуваши—яфетиды на Волге» вдумчивый читатель найдет достаточно материала для соображений о том, каким катастрофическим откровением является для наших прежних представлений о лингвистических родствах густая насыщенность русского языка чувашизмами, да вообще конкретными переживаниями до-исторических языков Европы, все равно, наличны ли они теперь в яфетических языках Кавказа, Пиренейского полуострова и Памира или в Восточной же Европе—в чувашском, финских и турецких языках, в них также как переживания.

Независимо от того, что турецкие языки доселе остаются в стороне от яфетидологической проработки, у нас нет времени ни удобств, чтобы задержаться специально на т. н. генетических связях турецких языков с яфетическими и заодно с ними с западноевропейскими яфетическими языками и с их переживаниями в языках прометеидской (т. н. «индоевропейской») системы,

---

[1]) Новый среднеазиатский язык и его числительные (в освещении яфетической теории). ДАН 1926, стр. 133—134.

как классических, так и новых. Ограничусь указанием, что, несмотря на количественную, но не качественную разность в типологии турецких языков и яфетических, в конце концов в массе живых представителей одинаково с турецкими агглутинативных, у турецких языков с яфетическими имеются и общие формальные образования, иногда бесспорно более близкие, чем с финскими. Они касаются и образования мн. числа, и спряжения, и склонения, и словообразования с той разницей, что на турецкой стороне неприкосновенные для внутреннего анализа величины, тогда как на яфетической стороне их разновидные эквиваленты из ряда отлагавшихся пластов с диахронической перспективой дают подлинное палеонтологические раз'яснения явлений.

Таково же сродство в основах семантики, где формальный подход вносит, успел внести невероятную путаницу. Приведу один типичный пример: слова из категории числительных 'раз', 'крат', в турецком созвучно со словом, означающим 'дорогу', 'путь'. Это явление общее, т.-е. 'дорога' и 'раз', 'крат' обслуживаются в своем выражении одним и тем же звуковым комплексом. Яфетидолог также способен поддаться искушению принять эту видимость за факт, раз она наблюдается материально и в персидском, и в грузинском и в других языках, языках различных систем. Яфетидолог и поддался, действительно, такому искушению, делая соответственные выводы, и это потому, что не учтена была палеонтология, при которой материал можно назвать фактом, но факт, палеонтологически не освещенный, не есть факт. А факт тот, что по палеонтологии мышления 'дорога' случайно через 'реку' увязывается с тем словом, которое и использовывалось, как выяснила также палеонтология, в значении числительного слова 'раз', 'крат'. Это слово 'рука'. Само собою понятно, что значение 'раз', 'крат' столько же имеет отношения к 'дороге', сколько к 'реке', равно времени, или 'небу', т.-е. никакого, хотя бы это слово, первично 'рука' и только 'рука', теперь и означало, где 'дорогу', где 'время', а где 'реку' или 'небо'. Между тем у туркологов yol 'раз', 'крат' (АТ) по созвучию принято за одно слово с yol 'дорога', 'улица' и соответственно помещено на 3-м месте в гнезде данного слова, где нашло место и другое еще слово 'образ', 'способ', также происходящие вовсе не от 'пути', а от 'руки'.

С лингвистическим достижением, до-исторической увязкой Азии, да Восточной Европы именно с Западом Европы как будто вполне совпадает мнение антрополога Чекановского, высказанное им в немецкой статье «Антропологические этюды к проблеме славяно-финских отношений»[1]), появившейся в Гельсингфорсском финском журнале в 1925 г.: «Восточно-европейский

[1]) Suomen Muinaismuistoyhdistyksen. Aikakauskirja, XXXV, 4.

(антропологический) тип необходимо, конечно (ist wohl,—говорит Чекановский,—воспринять как реликт (пережиток) неолитического (новокаменного) периода». В Западной Европе его мы находим в глубине до-исторических слоев, уже в Польше тип этот успел спуститься, загнанный (hinuntergedrückt) в более глубокие социальные слои, а на европейском Востоке, где более примитивные взаимоотношения лучше сохранились, он еще выступает вперед».

Наша оговорка при лингвистической увязке не только Восточной Европы, но вообще Востока, всей Азии, в том числе и турецкого востока, с крайним европейским Западом, сводится к тому, что среди языков Западной Европы и сейчас налицо здравствующий язык яфетической системы, живой реликт неолитического периода, да, пожалуй, и конца палеолита, но так то находящиеся на Востоке сродные азиатские языки относятся, конечно, также к глубоким до-историческим отложениям на Западе, в пластах языков прометеидской системы, индоевропейских языков. Да долго еще, и при греках, и при римлянах, местами и позже, до полного восторжествования римской или латинской классовой речи—при наличии тогда наших лингвистических интересов и приемов об укрытых впоследствии в пластах иных языков, как отложения, разновидностях живой речи, можно бы сказать, как об языках глубоких или низовых социальных слоев Европы тех эпох. И те пережиточные до-исторические языки, впоследствии по сей день не бесследно исчезали, а вынесены на социальные верхи в известной мере с возникновением нового мира и заодно в процессе его возникновения с образованием т. н. новых языков Европы, имеющих порой, частью вместе с вульгарным латинским языком, частью и независимо, более глубокие корни в до-истории, и потому более общие черты с языками Азии древнейших систем, чем классический латинский язык.

История материальной культуры пришла, можно сказать, с общего согласия специалистов к тому, что культура человечества в Европе, несмотря на известные как бы заминки, этапами своего развития составляет непрерывную цепь от палеолита до современности, один тип культур наследовал другой, несмотря на расхождения, в процессе роста, следовательно, одной и той же хозяйственно-общественной жизни, в процессе перерождения ее форм или далее эволюционного их развития.

Единственно переживший в Европе народ с до-историческим складом речи, речью яфетической системы, баскский народ, донес до порога XIX в. институт древнейшего социального строя, матриархат в пережиточной форме, именно в т. н. куваде, когда супруг по прибавлении семьи ложится в постель и разыгрывает роль роженицы, матери.

Однако самый институт матриархата у басков также не сохранился, как у турок, как вообще у урало-алтайских народов, в том числе и финнов, как более того у всех народов с речью агглютинативного строя, в числе их и переживших до наших дней яфетидов. Пережитки матриархата в быту имеем у всех перечисленных групп народов. В связи с этим там и сям и в языках их, особенно языках яфетической системы, сохранились отложения матриархального строя, так в нескольких языках яфетической системы, напр., в грузинском, от времен матриархального строя строгое соблюдение синтаксического правила, постановки названий лиц женского пола всегда обязательно на первом месте сравнительно с названием лиц мужского пола. Но в общем и целом, как урало-алтайские языки и яфетический язык Пиренеев, баскский, так и большинство яфетических языков и Кавказа совершенно утратили и в речи классовые признаки социального строя соответственной эпохи, в частности, следы и т. н. грамматического рода.

Тот же баскский народ в столь позднее время, как время около начала христианской эры, жил еще хозяйством древоедной культуры, не знал хлебных злаков или употреблял их в слабой степени, массово вел еще хозяйство древоедных эпох, именно пользовался дубом, его желудями для изготовления и 'хлеба'. То же самое было в заброшенных районах древней Греции, как то легко было мне убедиться по десятку выписок из классических писателей [1]).

Из урало-алтайских народов мы как будто и по свидетельству древних источников не застаем ни одного с древоедным бытом, однако в угро-финской части, более архаичной, мы находим некоторые переживания его по сей день, и в этом отношении интересно отметить о вогулах свидетельство за несколько столетий до н. э., свидетельство Геродота об одноименном по значению народа того же района Аргиппаях, т. е. 'детях неба' [2]), что этот народ был древоедом, по-гречески «дендрофагом», однако, вопрос, были ли тогда вогулы-аргиппаи уже народом урало-алтайской группировки, в частности, угро-финской, или еще яфетидами, как баски, или яфетидами хотя бы в степени чувашей?

Интересно, что говорят по этому поводу соответственные языки? По-баскски название хлебного злака сохранилось в виде основы gar ← kar ↘ har), до сего дня означающего в том языке 'дуб' (→ 'желудь'). От языка своего же края, успевшего от

[1]) В числе этих выписок, переданных мне работницею ЯИ О. М. Фрейденберг, имеется и место из Плутарха (Vita Coriolani, Ш) про аркадцев желудоедов.

[2]) Как истолковано ныне яфетидологически, Н. Марр, Скифский язык, стр. 383; его же, Приволжские и соседящие с ними народности, стр. 690.

древоедения перейти к хлебному питанию греки унаследовали уже со значением 'хлеба' тот скрещенный из двух элементов АС термин — 'αρ + το-; который у басков значит по сей день и 'дуб' (ar-te) и 'хлебный злак', 'маис' (ar-to). У басков название хлебных злаков, естественно, общее с армянами и грузинами, но у басков простой вид этого слова (gar-ı) означает 'пшеницу' в противоположность грузинам и армянам, у которых оно значит (арм. gar-ı, груз. qer-ı) 'ячмень', а для 'ячменя' баски пользуются тем же словом с удвоением gara garı[1]).

Турки с басками сохранили общность названия 'ячменя' в той мере, что у басков один элемент А используется, хотя и в удвоении, в значении 'ячменя', тогда как у турок тот же элемент А (ar ↙ *kar-→gar) уже скрещен с элементом В (ҫa←-*bal) и этот двухэлементный АВ скрещенный термин ar-ҫa (←-*har-bal) и означает у турок также 'ячмень', и тот же двухэлементный термин в полном виде, т.-е. с сохранением плавного исхода каждым элементом или хотя бы вторым значит у грузин (q̇or-bal) 'пшеницу' и у мегрелов, равно чанов (qo-bal)—'пшеничный хлеб'.

Можно бы подумать, что второй элемент В (ҫa←-bal) есть позднейший придаток восточных языков, но факты таковы: 1) именно эта акающая форма элемента В, закономерная для ее группы, находится в составе греч. bal+an-os 'желудь' и лат. pāne/ı-s 'хлеб', закономерно отожествляемых и формально сравнительной грамматикой яфетических языков и идеологически, по значению в связи уже с историей материальной культуры, как уже раз'яснено,

2) тот же элемент В в разновидности шипящей группы pur без всякого скрещения в простом виде грузины используют исключительно в значении 'хлеб', а у финнов оно значит еще 'дерево' (-→puu-→pu ↘ mu←-→mo), первоначально же означало 'дуб' (←-'желудь'), с каким значением и сохранилось оно в скрещении и у грузин г. mu-q̇a), и у финнов (км. tu-pu, морд. tu-mo -→ tu-m и т. п.).

В сведущих кругах мы уже предчувствуем недоумение, что развенчиваем турок как кочевников, выводим их земледельцами. Мы лишь сообщаем то, что вскрывает палеонтология речи. Ничего сами не прибавляем, разве прибавим выражение удивления наивности тех, кто верит в такие положения, как «турецкая национальность» такого чисто хозяйственно-социального явления как кочевничество.

Естественно также, если в языке того же баскского народа название 'топора' сохранилось в виде основы, до сего дня озна-

---

[1]) Н. Марр. L'origine japhétique du basque. (Сборник Язык и литература, I), стр. 237; Его же, китайский язык и палеонтология речи, III. 'Дуб'-→'хлеб' и 'дерево' (ДАН, 1926), стр. 109—112.

чающей в том же языке 'камень'. Но еще поучительнее то, что то же слово, того же состава, сохранилось не у соседей басков, ни вообще у европейцев, а на Востоке—на Кавказе, у армян, да и у турок, но ни у тех, ни у других оно не значит 'железо', ни в каком сочетании, а 'камень' или 'скала'[1]).

Следовательно, баски, западные яфетиды, расстались, где бы ни происходило это расставание и с яфетидами Кавказа, и с турками, собственно их предками-яфетидами, равно с финнами (собственно их предками—яфетидами) еще тогда, когда железо не появлялось в хозяйстве, но зачатки земледелия были, однако главный культ был древесный в связи с древоедным хозяйством, к чему вернемся особо.

Мы могли бы остановиться с той же и большей обстоятельностью на общности названия другого предмета необходимости—напитка, уже бесспорно первого напитка, именно 'воды' у турок с яфетическими языками Кавказа, да и Пиренеев, равно на его переживаниях в языках прометеидской системы («индоевропейских») в значении и предмета потребления, и стихии, равно космического явления, в частности, 'неба+воды', мы могли бы остановиться подробнее с привлечением языков других систем, вплоть до прометеидской («индоевропейской»), на названии благоприобретенного и напитка, и питательного предмета 'меда', как то раз'ясняется в вводном курсе учения об языке, общем у турок bal до тожества со 2-м в его составе элементом φl ←– φal скрещенного яфетического слова по свистящей группе (г. ϑa-φl) 'а у чувашей (pыl ⟋ *pul) с тем же 2-м элементом (φur) того же яфетического слова по шипящей группе (м., ч. ϑo·φur), т.-е. с сохранением звуковых соотношений языковых групп яфетической системы, актуальных и в урало-алтайском с захватом чувашского; мы могли бы также остановиться на слове 'кровь'; как общем у тех же турок (kan–→gan) со средиземноморцами и египтянами, да коптами, в качестве переживания в языках романского мира, здесь в скрещенном термине san+gui-s, при чем в Средиземноморьи и у египтян заодно с латинянами в сибилянтной разновидности; мы могли бы остановиться с неменьшей обстоятельностью и на других терминах и космического и микрокосмического мира и все в связи с историею или материальной культуры или общественности; мы могли бы остановиться на десятках турецких глаголов, палеонтологически раз'ясняемых в своем происхождении от имен, общих у турок не только с яфетидами Кавказа и Пиренеев, но и с народами Средиземноморья весьма древними, хотя позднейшей формации, греками и лати-

---

[1]) Н. Марр, средства передвижения, орудия самозащиты и производства в до-истории, стр. 45 сл.

нянами. Отчасти мы этих материалов касаемся в других работах, так особенно в курсе. В том же курсе раз'ясняется и для характеристики достигнутой степени глубины палеонтологических изысканий нелишне осведомить, как слово 'природа' в языках, сохранивших термины до-исторического для них происхождения, указывает на представление о ней абсолютно не как о самопроизвольном явлении, а как о создании 'руки', т.-е. как об явлении по образу культуротворчества человека, созидания им предметов необходимости, и в связи с этим пережившее из языка прежней системы в латинский слово nā + tur-a анализируется как термин, означавший первично 'создание', 'творение' 'руки', с увязкой через первый элемент, элемент Д, именно nā (←nah ∥ nas) в значении 'руки' с целым рядом языков Восточной Европы и далее, не говоря о Кавказе, здесь прежде всего с абхазским (a-na + p'рука'), и это нисколько не ставит по существу в противоречие со связью na-tura с глаголом nascor 'рождаюсь', однако связь эта, а с нею и неслучайное созвучие совершенно иного происхождения, чем то предполагают лингвисты-формалисты (индоевропеисты), между прочим, отожествляющие полностью лат. nāscor и греч. γίγνομαι и предполагающие лишь формальное звуковое различие в самом латинском между синонимами nātus и g + nātus дело в том, что сам глагол 'рождать' представляет, понятно, в звуковой речи, а не в природе, новотворчество по образу производства, это слово, означающее раньше 'делание', а 'делание' происходит от 'руки'. Мы потому то и имеем возможность раз'яснить, как неслучайное созвучие у турок 'моря' с 'небом' и в таком освещении раз'яснено наличие турецкого слова kol ⟷ kul и т. д., общего с чувашами и яфетидами, в основе такого хозяйственно и культово значимого слова как л. cul-tur-a, глагол colo и 'обрабатываю землю', и 'почитаю бога', оба понимания неразрывно связанные и с производственным, и культовым resp. магическим значением 'руки'.

Мы могли бы, даже остановившись на одном этом как бы азиатском слове kol⟷kul 'рука', углубить его еще дальнейшее использование, палеонтологически освещаемое, в частности, в линии развития материальной культуры функциональным переходом названия 'руки' на такое орудие производства как 'нож' (да не только 'нож', но и 'орало', 'сошник' [у сохи], металлическая часть серпа), вообще металлическое орудие, металлический нож через каменный, заменивший 'руку', почему то же слово kul 'рука' находится в составе двухэлементного лат. cul-ter 'нож' и т. д., это тогда, когда приходится работать в этой области кустарно, не будучи специалистом-туркологом и не располагая в своих изысканиях помощью соответственных сотрудников.

И все-таки можно и со стороны средиземноморских языков языков и романских углубить изучение того же термина, именно рядом с cul-ter, скрещением из элементов AC, указать на существование скрещения AB, так яфетическая основа *kol + a-ps ∤ *kol+a-pt, пережившая в греческом отыменном глаголе χολάπτω 'выбивать', 'высекать', отсюда и χολαπτήρ 'резец', что сопоставлялось и у индоевропеистов с culter по созвучию первых частей, без понимания сути дела, без учета того, что χολάπτω значит и 'бить', и в этом смысле двухэлементный греческий скрещенный термин, заодно с романскими ит. col-po, фр. coup 'удар', происходит непосредственно от 'руки', при чем второй элемент, элемент B у турок в полной форме с сохранением плавного исхода r еще самостоятельно без скрещения означает 'бить', это vur (чув. vat), и, однако, то же двухэлементное скрещение со значением опять-таки 'острия', 'орудия резьбы' сохранилось у французов в производном от него глаголе couper 'резать', который к 'руке' восходит лишь через металлическое и раньше каменное орудие, и в том порядке восходя лишь через 'камень' и 'металл' к 'руке' и то же скрещенное слово с обычным перерождением плавного s || ш, resp. ḓ-→d сохранили латиняне в cuspid (им. (cuspis) 'копье', 'всякое остроконечное оружие', 'вертел' и т. п.

На микрокосмических терминах общность турецких с баскскими легко вскрывается путем одной сравнительной грамматики, как разновидностей различных групп, как, напр., когда речь о 'зубе', т. diш (чув. шəl) и первый элемент скрещенного бск. or-ʒ̇ (|| г. ǧr-ḓil←-*ǧr-ḓin) тогда как турецкое же dil и лат. dent-(dens) с эквивалентами ряда кавказских яфетических языков (ǧer←-ker-→ker) принадлежит одной группе, да к тому же все они одноэлементны, не в пример, казалось, более древнему из прометеидских языков Средиземноморья, греческому, где слово двухэлементно (CA)—ὀ + δων (род. ὀ-δόντ-ος), как, впрочем, уже в баскском (AC), да и грузинском ǧr-ḓil←-*ǧr-ḓin (ср. ǧr-ṯena) 'скалить з у б ы'), одинаково двухэлементных скрещениях. Оговорюсь, что в этом термине турецкие расходятся с финскими, и с финскими об'единяются русский и 2-й слой грузинского, при чем у них у всех слова так же двухэлементны, но элементы AB.

Время не позволило бы равным образом в связи с культом 'дуба' увязать Западную Европу с друидами до-исторического населения Франции и с pontifex'ом римлян и в быту, и в словаре с яфетическими и турецкими народами Востока, и реально, и словарно.

Но нельзя обойти молчанием общности вообще со средиземноморскими народами таких культовых терминов у турок, как шаман, из 'колдуна' или знахаря' восточной общественности в Италии ставший еще в до-исторические для Рима эпохи мифической

изобретательницей письма «Carmenta» и посредником богов, их гонцом, «Гермесом» у греков. Об этом подробно в печатающейся работе о числительных.

Из культовых терминов, ставших бытовым социальным, именно названием класса, сословия, знати и т. п., исключительный интерес представляет и слово 'господин'. Это в баскском элемент с полностью в скрещении с пережитком элемента A в значении и 'Господа', и 'господина' qawn-a (первично(*qon—ar) в турецких языках представлено то же слово двояко, и одноэлементно kan→qan и двухэлементно ka-gan→qa-kan, которые, означая одно и то же, однако, вовсе не являются всегда, при кратком «а» также, как при долгом, словами и по составу тождественными. Взаимоотношения их на деле, как вскрывает палеонтология речи, и формально, и идеологически, совершенно обратная тому, что по сей день утверждается туркологами точно qan происходит от qa-kan, т.-е. qan позднее qa-kan'a. Наоборот, qa-kan двухэлементный термин, т.-е. термин из тех же двух элементов AC, что в баскском эквиваленте (CA), но в обратном порядке, т.-е., скрещение независимое, и скрещенный термин, разумеется, лингвистически позднее одноэлементного qan, последний, у турок общий с басками, пережитком до-исторического народа Западной Европы, он тотем одного из основных хозяйственно общественных коллективов—ионского, влившегося в этническое образование басков и отложившегося в топонимике, прежде всего, как уже раз'яснено в печати в баскском национальном названии Пиренеев — awna. равно awna ← *awn-ga [1]), здесь опять-таки элемент C скрещен с элементом A (←*ɣon-gar).

Этот ионский элемент (элемент C) распространен по всему миру, от Средиземноморья до Дальнего Востока через Кавказ, и в Средиземноморье он оставил след у греков, как и на Кавказе у удинов, в значении совершенно иного слова, нарицательного имени 'женщина', 'девушка'. это по сибилянтной ветви θen в составе греч. сложного слова παρθένος 'девица', букв. 'дитя + + женщина', оно же по спирантной группе qun ‖ qın в составе удинских сложных слов qın-är 'девушка', букв. 'женщина—человек', qun-ʤi 'сестра', буквально, 'женщина—брат' и т. п. Есть, пожалуй, и акающая форма qan с тем же значением и его в таком случае не следует смешивать со словом, означающим 'хан'. Надо еще хорошо взвесить, не относится ли сюда, именно к qan 'женщина' слово qan, когда оно часть женских имен. как в Кашгаре (Ay-qan, Mayram-qan см. Радлов, s. v. хан), или когда оно появляется как бы самостоятельно в составе qan-əm в значении 'ханши', 'дамы', 'хозяйки дома', 'дочери хана' и т. п. Здесь

---

[1]) Н. Марр, Analyse nouvelle du terme Pyrénées (ДАН 1925, стр. 5—9), и Des Pyrénées ou Monts Sonlens (ДАН 1925. стр. 15—18).

мы не затрагиваем этого лексического материала с точки зрения пережиточного в нем отражения матриархального строя. Факт тот, что подобно qon←→qun на Кавказе (удин) и Ѳen в Средиземноморье у греков, в турецких языках в значении еще 'женщины' сохранилось то же слово в форме не только с аканием qan, но и с губной огласовкой, однако, по сибилянтной ветви, как в греческом Ѳen, в тур. Ѳun, в составе термина qa-Ѳun (осм.) ←-ka tun 'знатная дама', 'принцесса', вообще 'женщина'. где первый элемент, элемент A, сам по себе означает 'хана', и он тот же, что начальный qa←-ka в составе ka-ğan-→qa-kan при восстановлении плавного исхода у первого элемента должно бы звучать в более древнем виде: *kar ğan → *qar-kan.

И такая полная форма сохранилась на всем протяжении от далекого Средиземноморья до глубинной Азии, в том числе и в турецком, но с первым элементом, элементом A—qar по сибилянтной ветви, tar в скрещенном виде tar-qan (джагат., осман.). она же у турок не только название привилегированного сословия, но первично тотем и племенное название («название одного джагатайского племени»), и она же—естественная часть собственных имен. Однако. этот термин настолько раз'яснен яфетидологически в печатной литературе [1], что мы здесь используем лишь часть, относящуюся к увязке турецких языков с Западом. Tar-qan тот же термин, что название, еще до-латинское, предполагается этрусское, вернее яфетическое же, но не этрусское, а другое, по первой составной части италское название пятого 'легендарного', т.-е. до-исторического для римлян царя Рима; он же, как тотемное слово, название прославленного города, чуть не столичного Этрурии, хорошо известное и по форме tar-qun в хеттском мире. Особый интерес представляет чувашская разновидность с оканием первого элемента того же термина tor-qan←-→tur-qan, то в полной, то в усеченной форме сохранившаяся и в значении 'бога', так на Востоке на Волге у чувашей—torə←→tur-ə (←-*tur-qun), на Западе в Италии у этрусков—Tur-an, женская богиня, небесная Афродита, и в значении эпического героя, так на Кавказе Tor-q у древних армян, и, естественно, также в значении племенного названия, в Италии с обычной заменой и в чувашо-турецких взаимоотношениях, и у одних яфетидов плавного сибилянтом, Tos-kan-a, на Кавказе Tusk'и, ныне тушины, чеченского племени, и можно ли в какой-либо мере сомневаться, что и турки называются так не по случайности, как предполагается, а по сумме всех координатов, по связи этого термина, как племенного названия, не только с названием привилегированного сословия, равно 'бога', даже с корнями в матриархальных эпохах—женского божества, но и с т. н. до-

[1] Н. Марр, Абхазоведение и абхазы, стр. 156 сл.

исторической топонимикой, названиями рек, гор, населенных пунктов и т. п. Между прочим, в экающей форме θerp и Ter+e-k это название хорошо всем известной реки, протекающей ныне через населения племенного состава и грузинского, и осетинского, и чеченского, но в древности в этой части Кавказа оно связано с пребыванием в ней чеченского ныне племени tus-k'ов, тушинов или турков, первично в яфетическом произношении tur'ов, или tor'ов, почему Кавказский проход с Военно-грузинской дорогой у армян в древности носил название ṭoray-pahak 'стража tor'ов', или тусков, турков.

Мы с турками не претендуем на занятие Дарьяльского ущелья в исторические эпохи, как удела их племенного образования, но ни племенное название «турок» или «тюрк», ни неразрывно с ним связанные того же состава культовые и социальные термины, ни десятки, да сотни общих по палеонтологическому анализу слов у турок, совместно с яфетидами и угро-финнами или независимо от них, с баскским языком и языками прометендской системы, именно с до-историческими пережиточными в них слоями, не могут быть об'яснены ни случайностями, ни вкладами в путях заимствования. Во всяком случае не может быть речи об исконной изолированности от Европы турецких языков, вопреки положениям господствующего формального метода старого учения об языке, общепринятым с одобрения всех специалистов туркологов, в первую голову туркологов-лингвистов. Во всяком случае, выясненные новым учением об языке названные факты увязки турецких языков с архаичным Средиземноморьем вынуждает ставить естественный вопрос: «откуда сие?». Новое учение об языке дает и предпосылки для его решения в ряде уже достигнутых им теоретических положений. Беру основные из них, как они формулированы в печатной программе нашего курса и раз'ясняются в самом печатающемся сейчас курсе (§ 30): «Сам по себе язык не существует как закономерное явление, живущее особыми физиологическими или психологическими законами. Жизненность языковых явлений, вообще звуковой речи, в их органической связанности с развитием материальной культуры и техники. В связи с этим вопрос о месте зарождения культуры на Востоке или Западе». И далее (§ 31): «Лингвистическое место зарождения культуры в условиях наибольшего накопления материала и длительного процесса мутационного порядка, свидетельствуемого фактами. Там т. н. родина, собственно, социально-творческая среда культуры и вместе с ней и звуковой речи человечества» [1]).

---

[1]) Н. Марр, Яфетическая теория. Программа общего курса учения об языке (Баку 1927), стр. 5.

Где же это? Никто теперь из специалистов, мыслящих в уровень современных научных представлений, не скажет, что в Америке или Океании, хотя в ней, Америке, и находится одна группа т. н. примитивных языков. Они считаются внедренными из Азии или непосредственно или через Океанию. Несмотря на громадное количество языков в Африке, их шестьсот, и несмотря на наличие в ней большого числа т. н. примитивных языков, не исключая и языков т. н. «птичьих», нет никаких данных, даже при наличии на африканском севере такой древней культуры, как египетская, в глубинной Африке видеть место того накопления материала, которое обеспечивало бы за нею условия социально-творческой среды, положившей начало созиданию мировой культуры и вместе с тем глоттогоническому процессу мирового значения. В Африке, действительно имеются языки самых различных систем, но мы не видим для их сроднения эволюционного процесса в развитии речи, ни в путях постепенного развития, ни в путях революционной перестройки взрывами мутационного порядка, нет увязки между различными системами африканских языков. Более того, увязка Северной Африки намечена давно со средиземноморскими языками т. н. до-исторической Европы, ныне сюда же тянется и такой т. н. «птичий» язык Южной Африки как готтентотский. По быту и материальной культуре связь обитателей Южной Африки со Средиземноморьем уже установлена раньше, до какой бы то ни было даже мысли у яфетидологов о возможности лингвистического освещения того же вопроса.

Лингвистическое состояние Азии в отношении нашей основной проблемы по существу не отличается от положения дела в Африке. В Азии нет таких примитивных языков, как в Африке, но, помимо, палеоазиатской примитивной речи, сам культурнейший язык Дальнего Востока, китайский, представляет древнейшую типологию человеческой речи, к ней же и масса языков урало-алтайской системы, равно тибето-бурманской, третьей основной системы, с префиксовым образованием, а все-таки налицо нет признаков мирового глоттогонического процесса; напротив, в ней, Азии, непочато сохранился и культурнейший язык на первичной ступени типологии звуковой речи, в ней без движения замер в смысле выработки дальнейшего типа архаичный вид прометеидской системы, т. н. индоевропейский язык, санскрит, заброшенный в Индию, разумеется, классово, и нет никакой научно-учитываемой увязки между различными системами азиатских языков, нет ясной научной увязки даже между группами одной и той же системы, агглютинативной урало-алтайской, точно они заброшены откуда то, где они были увязаны. Откуда же?

Остается по элементарному арифметическому действию, по вычитанию—в Европе. А по истории материальной культуры и

общественности и связанной с ними своим развитием звуковой речи?

Имея по археологии факт наличия не только древнейшего палеолита, но и непрерывную смену различных стадий развития материальной культуры от палеолита до настоящего времени, мы видим в языковой части непрерывную смену не только языков, но и систем языков, отвечающую на смену и хозяйственно и общественно культуры, на смену соответственных ее эпох или точнее коренным образом расходящихся соответственных культур, казавшихся по разности типологии созданиями различных рас; причем с наступлением господства новозарождающейся языковой системы старая исчезает потому, что глоттогонический процесс был именно в стране в непрерывном ходу, потому-то от древнейшей системы, уранической, с ее моносиллабизмом и полисемантизмом на месте не осталось ни одного представителя, но китайский язык сохраняет в Азии все материальные и формальные данные с их идеологиею палеонтологически вскрываемого состояния речи той начальной уранической эпохи в Средиземноморье и вообще затем в Европе. Отход от глоттогонического процесса Средиземноморья решал вопрос о замирании языка на той моносиллабической ступени развития, что мы видим не только в Азии и в типологии китайского языка, но и в типологически сродных суданских языках Африки. Яфетического языка синтетического уклона вроде абхазского нет в сохранности ни одного в Европе, как и в точности урало-алтайского представителя, но из языков яфетической системы сохранился один баскский, с агглутинативным строем, уклона, сродного со строем алданских, т.-е. урало-алтайских, в том числе турецких языков. Однако опять-таки алданская (урало-алтайская) группа агглутинативных языков, в числе их и турецкие, на Востоке и в Европе, и далее в Азии, до глубин ее и далей при-океанийских сохраняют в Азии материальные и формальные данные с их идеологией палентологически вскрываемого состояния речи соответственной эпохи в процессе глоттогонии мирового, следовательно, значения в Средиземноморье. Нужно ли нам далее продолжать эти наметки расселения языков всего мира, как то представляется ныне изначальным? Или нужно ли мне, если наш опыт в какой-либо мере оправдывает себя вразумительностью,—нужно ли подсказывать мне ответ, где т. н. «прародина» турецких языков или, при более правильной уже яфетидологической формулировке этого вопроса—«куда надо отнести турецкие языки или какое место надо отвести им по эпохе, а уже в связи со средой развертывания общественного творчества той эпохи наметить ее физическое окружение, определить в этом смысле прародину и географически? Для достижимого лингвистически крайнего в глубину времен предела ее никак нельзя выбить из все той же позиции. Афревразийского средо-

точия. Здесь, в Средиземноморье, занесенный письменной и в значительной мере и материально-культурной историею мировой глоттогонический процесс с моментом выделения и алданских, в том числе турецких языков.

Практическое значение намечающегося общего построения многообразно. Я укажу лишь на одно значение специально по вопросу о раз'яснении многочисленных неопределенных языков нетолкуемых доселе или плохо толкуемых надписей Средиземноморья. Подход к ним осложняется. Материал в помощь дешифровке увеличивается. С яфетическими языками в толковании их неизбежно придется пользоваться языками и других систем, разумеется, проработанными яфетидологически. На этом мы поставили бы пока точку, если бы не два пункта.

Пункт первый. После сказанного не можем не реагировать в порядке яфетидологического подхода к двум великим сказочным преданиям человечества о происхождении языков и их своего рода палеонтологической истории.

Первое, в связи с библейской историею столпотворения человечества, вздумавшего бороться с богом и наказанного разноязычием.

Не представляет ли этот миф сказочно сложившееся предание о том, как человечество на пути своего прогресса развивало и уже тогда доводило до самостоятельной полноты звуковые языки, стяжание, совершенно исключавшее надобность в линейной речи, более того в этом глоттогоническом процессе оно развило звуковые языки уже различных систем, становившиеся совершенно непонятными в их взаимных т. н. расовых отчуждениях?

Второе предание, подобранное из народной среды в писаниях греческого философа Платона, сказание об Атлантиде. Это погибший мир языков, оставивший о себе неизгладимую память в человечестве. Да разве мы не видим теперь того погибшего мира т. н. архаичных языков Средиземноморья, который надо искать, однако, не на дне моря, Атлантического, или иного, а в местах расселения народов, отходивших от умопомрачительных сдвигов «вавилонского столпотворения» человечества, его единого глоттогонического процесса, от единой созидавшейся им мировой хозяйственно-общественной жизни и созидавшихся ею надстроечных социальных категорий, в числе их звуковой речи? Надо, следовательно, искать погибшую Атлантиду в местах расселения народов, отходивших от социально-экономической среды, где созидалась человечеством и перевоплощалась им в новые типы звуковая речь. Творцы древнейших систем той средиземноморской звуковой речи погибли в дальнейшем процессе развития языков при переработке в новые системы, когда те слывущие за до-исторические языки старых систем, как и говорившие на них народы, оторвавшиеся от местонахождения все того

же мирового глоттогонического процесса, канули вместе со своими связями, ныне вскрываемыми палеонтологиею речи, как Атлантида в море человеческого забвения. И сможем ли мы при наличных условиях развития новой науки об языке, яфетической теории, при полном мертвящем массовом равнодушии, если не быть резче, именно в наиболее, казалось, заинтересованных ученых специалистов, вытащить из глубин океана человеческого равнодушия к своему прошлому эту реальную Атлантиду?

Ответить, кому охота, предоставлю другим, мне же — это пункт второй—ответ да будет как лицу, собирающемуся в долгий путь, разрешено формулировать так же, как формулировал я его семь лет тому назад, перед первой заграничной своей поездкой из Советской России, при тех же условиях, ибо, несмотря почти на скоро десятилетний промежуток, в отношениях к яфетической теории мы не видим никакого изменения по существу к лучшему. Наоборот, рядом с бесспорным приливом общественного интереса и нескольких сочувствующих единиц из круга специалистов, не только отлив, а какое-то не то озлобленное, не то ничем не устранимое непонимание именно среди ученых. Я бы назвал явление изумительным, если бы оно как классовое не раз'яснялось легко и естественно. И вот то, что я говорил семь лет тому назад, заключая чтение доклада «Яфетический Кавказ и третий этнический элемент в созидании Средиземноморской культуры» в АИМК, я могу повторить сейчас в уверенности, что отражаю в нем свежесть актуального положения: «Воздух сперт у нас и душно в научном мире, особенно в мире духовного изучения материальной культуры не извне, а внутри». И, «от'езжая или собираясь уехать, я с удовольствием вспоминаю завет поэта, также яфетида, кавказского баска или месха: «когда час пробил ухода, то не следует временить, немедля надо удалиться».

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

а) в цитатах

АИМК Академия Истории Материальной Культуры
АН Академия Наук
ДАН Доклады Академии Наук СССР
ЗВО Записки Восточного Отделения Русск. Археологического Общества
ИАН Известия Академии Наук СССР
ЛИЖВЯ Лен. Институт Живых Восточных Языков
ПЕРЯТ По этапам развития яфетической теории (сборник статей Н. Я. Марра)
ЯИ Яфетический Институт Академии Наук СССР

б) в названиях языков

бск. = баскский, г. = грузинский, км. = коми (зырянский), л. = лазский, он же чанский (чанский) язык, м. = мегрельский (мингрельский), мкш. = мокша, одно из двух наречий мордовского языка, другое эрзя, т. = турецкий, сс = свистящая группа, ум. = удмурт. (вотяцкий) ч с см. = чанский (с чанский) см. л., чв. = чувашский, шп = шипящая группа, хд (халд) = халдский (Ванской клинописи в Армении), эрзя см. мкш.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.

1. кавычки ' ' ставятся, когда дается перевод слова, 2. кавычки « » ставятся, когда слово приводится как пример, 3. знаки → и ← обозначают движение словообразований, ↖ и ↗ под'ем и падение звука, ⋎ перебой звука, 4. ⌒ надбуквенный знак „удвоения“, собственно долготы согласного, 5. — над гласными, знак долготы, 6. * знак (звездочка) перед теоретически построенными словами.

Антонио Лабриола.

(Био-библиографический очерк)[1].

В. Дитякин.

Антонио Лабриола, годовщина смерти которого два года тому назад у нас прошла почти не отмеченной, мало знаком нашей марксистской молодежи. Между тем он является одним из немногих оригинальных марксистов-мыслителей, работы которого имеют полное право занимать место в ряду классических работ по научному социализму. Лабриола—крупный мыслитель, занимающий видное место в европейской истории марксистской теории и в то же время основатель революционно-марксистского движения в Италии. Однако ему не повезло в России. Биографические сведения о Лабриоле в русской литературе поражают своей лаконичностью и ошибочностью (кроме статьи Д. Б. Рязанова), а три-четыре работы из его литературного наследства отличаются небрежностью и неправильностью переводов. Вместе с тем это человек, который был в переписке с Энгельсом и которому Энгельс поручил дело постановки марксистской агитации в Италии; это человек, о работах которого дали блестящие отзывы Ленин и Плеханов.

Русский читатель для ознакомления с жизнью и деятельностью Лабриолы располагает двумя небольшими заметками в энциклопедических словарях — бр. Гранат и новом «Брокгауз-Ефроне» (7-е изд., т. XXVI, стр. 337—338; т. XXIII, стр. 838). И это все! Однако и эти заметки крайне неудовлетворительны; их составители, очевидно, решили дать характеристику Лабриолы, но на самом деле они исказили его личность и его идеи. Не безынтересно также отметить, что в «Справочной книге социалиста» Гуго и Штегмана (русский перевод 1906 года) о Лабриоле нет ни слова. Статья Д. Б. Рязанова («Под Знаменем Марксизма» 1924 г., № 1, стр. 35—40) дает яркую характеристику деятельности и личности Лабриолы, но очень лаконична.

Эпоха, когда жил, мыслил и работал Лабриола—одна из самых интересных в истории новой Италии[2]); это—эпоха завершения национально-освободительного движения, буржуазной ре-

---

[1]) Большая часть работы произведена в Институте К. Маркса и Ф. Энгельса, руководителям которого товарищам Д. Б. Рязанову и А. М. Деборину приношу глубокую благодарность. Настоящая статья представляет собою краткое изложение материала, собранного для большой работы о Лабриоле в связи с изданием его «Собрания сочинений».

[2]) Блестящую характеристику ее дает сам Лабриола в «Историческом материализме» (р. перев. Горлина, стр. 42—43), в письмах к Сорелю, письмо X-е и письмах к Энгельсу.

волюции и первых шагов рабочего движения. Лабриола в молодости дышал воздухом еще старой до-буржуазной Италии, воздухом, в котором витали идеи буржуазной революции, в очень многом напоминающие атмосферу Германии до 1848 года. Как и Германия, Италия первой половины прошлого века, выдвинула своих социалистов-утопистов (Буонаротти, Карло Пизаканэ) [1]), но пролетариат еще только складывался и основные идеи общественной мысли лежали поэтому в плоскости буржуазной идеологии, идей патриотизма и национальной свободы, во главе которых шла система Гарибальди и Мадзини. Затянувшаяся буржуазная революция явилась следствием своеобразного развития капитализма в Италии. Эти своеобразные пути развития капитализма определили и характер первых шагов рабочего движения: анархизм в его бакунинской форме, уточненной и отшлифованной итальянскими друзьями Бакунина—Кафьеро и др., идеология люмпен-пролетариата, и крошечная, едва заметная струйка марксизма—вот итальянский социализм 1860—80 годов. Общеизвестны и факты из жизни I Интернационала: дезорганизаторская деятельность Бакунина, еще более осложненная на итальянской почве борьбой с мадзинистами, ставшими после Парижской Коммуны открытыми врагами рабочего движения. Волнения 1874 г. и наступившая за ним буржуазная реакция почти на целые 10 лет задушила рабочее движение. Зародыши марксистской мысли—газета Энр. Биньями (1866—1883 г.г.)—не могла расцвести в атмосфере восстаний от отчаяния (восстания 1877—78 г.г.) и буржуазной реакции. Только в 1880 г. формируется Итальянская рабочая партия, которая все же только на своем 3-м конгрессе (в Павии, в 1884 г.) решила вопрос о том, является ли она социалистической партией. Рост пролетариата, консолидация его основных кадров, ставили на очередь задачу создания **новой** рабочей партии, партии, которая стала бы проводником идей научного социализма. «Махаевский» уклон ИРП, крайняя неопределенность и туманность ее программы делали ее слишком близкой то к анархо-синдикалистам, то к группировкам радикальной буржуазии. Настоящая социалистическая печать только еще нарождалась. Рядом с Пизаканэ фигурировали Феррари, Валера, Биньями сотрудничал с Коста, одним из вождей ИРП. Первые серьезные, выдержанные почти в марксистском духе, брошюры появились только в 1883 году (**Турати**—«Il delitto e la questione sociale» и «Lo Stato delinquente»), но **настоящая** пропаганда марксизма началась только с 1886 г. 1889 г.—первого выступления Лабриолы, как социалиста, и начала издания К. **Прамполини** «La Giustizia» (с 1886 г.) и выхода переводов «Развития научного социализма» (1883) и «Происхождения собственности» (1885 г.). Рост рабочего движения, волнения 1888—1889—1890 г.г., прогрессирующий паралич Ит. раб. партии, уже потерявшей почти всякое влияние, все более растущее стихийное стремление к марксизму,—приводит, наконец, к Генуэзскому конгрессу 1892 г., принявшему **новую** программу и знаменовавшему собою по-

[1]) На русском языке есть перевод книги одного из самых правых итальянских социалистов — **Анджолини** «История социализма в Италии» (ч.ч. I и 2 СПБ. 1907, его credo во 2-й части, стр. 312—317 русск. издан.), систематически замалчивающего историю левых социалистов. Более полезен был бы перевод книги A. **Canteno** «Storia del Socialismo Italiano» (1912) или K. **Michels** «Storia del Marxismo in Jtalia» (1910).

беду Итальянской социалистической партии. Встав на ноги, она повела решительную борьбу с анархизмом, но еще долгое время к ней можно было отнести слова Турати, сказанные на Цюрихском конгрессе II Интернационала — «Социалистическая партия находится еще в состоянии детства, свеже отрезанная пуповина, соединявшая ее с либеральной буржуазией еще сочится кровью, наконец—скелет партии еще не окостенел». Больше того, вместо «окостенения» скелета мы замечаем его размягчение», традиции Итальянской рабочей партии тяготеют над ее преемницей, «победоносное» шествие по пути парламентаризма все более и более толкало партию к реформизму. Начало 1890-х годов ознаменовалось присоединением к соц. партии большого числа интеллигентов из мелкобуржуазных радикалов: социолог Энр. Ферри, писатель Эдм. д'Амичис, поэт и ученый К. Конрадини, Ч. Ломброзо, Дж. Сальвиоли, Р. Скиятарелла, Г. Ферреро и мн. другие. Сицилийские движения 1893—1894 г.г., буржуазная реакция, выливавшаяся в закон об исключительных мерах 14 июля 1894 г. (аналог. «закону о социалистах» в Германии), дальнейшее оформление Социалистической партии, принявшей на Флорентийском конгрессе 1896 г. программу-минимум, новая волна стачек и крестьянских волнений 1896—1898 г.г., новые гонения на партию закаляли ее левое крыло. Качка буржуазно-государственной машины, переходившей от реакции к либерализму, имела свое значение в расслоении партии на правое, реформистское, и левое, революционное, крыло. Римский конгресс оформил это расслоение. Правое крыло, собравшее в блоке с радикальной буржуазией 55% всех голосов на выборах 1900 года, гордившееся 32-мя мандатами в парламенте, решительно выступило на этом конгрессе против левого крыла. Тактическая линия блоков с радикалами была принята 106 голосами против 69, и это в то время, когда рабочая волна 1901—1902 г.г. взметнулась до совместных действий с крестьянством (крестьянский конгресс в Болонье 1901 г.) и когда министерство Джолитти в своем очередном кризисе победило только голосами социалистов. Бьет час разрыва правого и левого крыла. Конгресс в Имоле 1902 г. представлял арену беспрерывных схваток фракций, резко вставших друг против друга в речах Тревеса, Бономи и др. Реформизм окончательно выявил себя. Попытка примиренчества Турати потерпела крах, резолюция левых была отвергнута 456 голосами против 279. Реформизм победил. Ряд вождей левой уже и до того склонявшихся к анархо-синдикализму, начал отходить от социалистической партии (Арт. Лабриола, Ферри и др.). Небольшая группа оставшихся ортодоксальными марксистов должна была вести теперь работу в новых, чрезвычайно тяжелых условиях. Через несколько лет она уже опять достаточно сорганизовалась, чтобы снова приступить к руководству пролетариатом, но до этого Ант. Лабриола не дожил.

Вот в общих чертах эпоха, когда мыслил и работал Антонио Лабриола, эпоха, повторяем, формирования, с одной стороны, буржуазного режима в Италии и, с другой стороны, рабоче-социалистического движения. Родившись в 1843 г. в буржуазной семье, Антонио Лабриола прошел курс высшей школы в Неаполитанском университете, где в это время, как и во многих других умственных центрах тогдашней Италии, господствовало гегельянство. Так же как и в Германии, и здесь были и правые и левые

гегельянцы; крупнейшей фигурой первых являлся в это время A. Vera, переводчик, комментатор и горячий пропагандист гегелевских идей в Италии. Лабриола в письме к Турати в 1897 г. (это письмо целиком входит в VII письмо к Сорелю) сам пишет: «гегельянство процветало в Италии в дни моей молодости, и я сам был на нем воспитан». В IV письме к Сорелю Лабриола приводит отрывок из своего письма к Энгельсу 1892 г., в котором он излагает свое впечатление от чтения «Святого семейства» и вспоминает свою молодость, когда он «переходил от системы Гегеля к системе Спинозы и обратно»[1]). Лабриола отдал свою дань гегельянству в своей первой работе (диссертации) «Защита гегелевской диалектики от возвращения к Канту, провозглашенного Целлером» («Contro il ritorno a Kant, propugnato da Ed. Zeller», 1862, перепечат. в «Scritti varii...»). В этой работе он выступает еще вполне правоверным гегельянцем, но уже и в это время он видит ценнейшее в философии Гегеля—в методе, в диалектике, оставляя систему Гегеля в стороне; это дает нам возможность понять, почему Лабриола быстро встал в ряды левых гегельянцев. Очень интересно отметить это начало философского пути Лабриолы, так роднящее его с Марксом и Энгельсом. «В его духе было внутреннее родство с духом Маркса и Энгельса. Совершенно независимо от них Лабриола совершил такой же, как и они, путь духовного развития»— пишет Меринг («Antonio Labriola», «Neue Zeit», 1903—04, 22 Jg., 1 B., S. 586). В этих словах Меринга не все, однако, как увидим далее, правильно.

Отразив лозунг возврата к Канту, защитив Гегеля, Лабриола сам все же начал отходить от гегельянства, которое не могло удовлетворить его своей системой. Но в этом отходе он все же далеко не сразу порвал с гегельянством, еще в 1865 г. в своей 2-й работе «Происхождение страстей в этике Спинозы» («Origine delle passioni secondo de l'Etica di Spinoze», перепечат. в «Scritti varii») он не раз возвращается к Гегелю и пытается и этические воззрения Спинозы согласовать с идеей абсолютного разума. В самом существе «итальянского» гегельянства были основания дальнейшей эволюции Лабриолы: это было гегельянство эпигонов, оторванное от общественной жизни; «они мысленно дискутировались их собратьями в Германии... Они не дошли до того, чтобы излагать свои исследования и их диалектику в таком виде, которое составило бы новое интеллектуальное приобретение для нашей страны» (п. IV к Сорелю). Эта абсолютная оторванность этих эпигонов, их глубочайшая отвлеченность и не дали возможности гегельянству долго господствовать в итальянской философии. Правда, последние следы его исчезли лишь в 1880-х годах, но фактически оно умерло раньше, и одним из наиболее энергичных могильщиков его явился сам Лабриола, напечатавший в 1872 году резкий, разрушительный разбор книги вождя гегельянцев Vera «Философия истории» (1870 г.) (статья-рецензия Лабриолы в «Zeitschrift für exakte Philosophie», 1872, vol. X, 1, S. 79 ff.).

Исследователи философского пути Лабриолы второй фазой его развития считают гербартианство; она охватывает 1871—1878 годы[2]). Лабриола прошел мимо Спинозы, не сделав всех возмож-

[1]) С 1871 г. Лабриола занял кафедру философии в Римском университете.
[2]) Ср. еще I и XII его письма к Энгельсу.

ных из него выводов, которые могли бы подвести его к материализму; он же, как видно, не проявил достаточного внимания и к Фейербаху (1866—68 г.г.); путь Лабриолы лежал через философию Гербарта. Что мог найти он в ней? Во-первых, решительное опровержение кантовского учения о познании и о свойствах души (теории, «в корне разрушенные уже Гербартом»—писал Лабриола Турати; п. VII к Сорелю, прим. 3), во-вторых, резкое противоположение системе Гегеля, так как Гербарт, как известно, сильно окрасил реализмом всю свою философию. Метафизические построения Гербарта, его учение об очищении опыта, его учение о «реалах» и, тем более, его оговорки о непознаваемом, разумеется, ничего не могли дать и не дали Лабриоле, но этика Гербарта с ее пятью практическими идеями (внутренней свободы, совершенства, благоволения, права и справедливости) были много ближе Лабриоле. Сам он говорит, что, «благодаря счастливому стечению обстоятельств моей жизни, я воспитался под непосредственным влиянием двух великих систем, завершающих философию, которую теперь мы можем назвать классической, т.-е. систем Гегеля и Гербарта, пронизанных целиком противоположением реализма и идеализма, дуализма и монизма, научной психологии и феноменологии духа, метафизики и диалектики. Философия Гегеля уже завершилась историческим материализмом Карла Маркса, философия Гербарта эмпирической психологией, которая также может... стать экспериментальной, исторической и социальной». Мы видим из этого, как высоко ценил Лабриола философию Гербарта, и, действительно, лет около 8 она во многом определяла его философское развитие [1]). Первой работой этого периода его развития явилось обширное исследование «Учение Сократа» («La dottrina di Socrate secondo Senofonte...», 1-е изд. Napoli 1871, 145 p., 2-е изд. Bari 1909, 282 p., 3-е изд. Bari 1921, 170 p.), в которой он исследует главным образом в этого учения, творческую силу мышления, названное им—«сократизм», «сократическим моментом» всякой формы познания. Наиболее ценным и в этой работе является анализ метода (2-е изд., стр. 56 и сл.) и выяснение отношения между обычным и научным мышлением и научными концепциями, и превращением первых во вторые; в последнем процессе, при крайне консервирующей роли языка, необходимо вырастают коллизии между волей индивида и традиционным сознанием, выражающимся в обычае, а позднее этот процесс «принимает характер социальной борьбы между классами и индивидами» (стр. 59, это место «Сократа» Лабриола цитирует еще 25 лет спустя, в X п. к Сорелю). В анализе роли языка Лабриола во многом пользуется работами Лацаруса и Штейнталя, но переоценивать их значение в его философском развитии, как это делается в биографиче-

[1]) Еще в 1896 г. он так отзывался об этике Гербарта: «Тот, кто определил последним из всех и с такой глубиной эти этические отношения,—Гербарт,—хорошо знал, что идеи, то-есть формальные точки зрения нравственного суждения, сами по себе бессильны. Вот почему он внес реальную этику в жизненные явления, и в воспитательное формирование характера. Его можно было бы поставить рядом с Оуэном, если бы он не был ретроградом» («Исторический материализм», 1-е франц. изд., стр. 244; р. перев. Горлина, стр. 128).

ском очерке Брокгаузовского словаря, нет никаких оснований[1]). За анализом языка Лабриола идет к анализу конструирования понятий, колеблясь здесь между Гегелем и Гербартом. В 1873 г. в работе «Della Libertà Morale» он в предисловии еще гордо заявляет, что он «не приносит обета замкнуться в определенной системе как в своего рода тюрьме», но это признание является замаскированной формой выражения неудовлетворенности: гербартовская этика пересматривается им под углом детерминизма; подход и проникновение этой плодотворной идеей дает ему возможность поставить проблему отношения религии и морали на социальную базу («Morale e Religione», 1873). В последних работах этого периода («Dell' Insegnamento di Storia», 1876; «Del concetto del Liberta», 1878, и др. мелкие заметки, перепечат. в «Scritti varii»), Лабриола ставит самое понятие «свободы», как относительное, и с этой точки зрения пытается разрешить некоторые проблемы истории.

В этот же период Лабриола приступил и к изучению социологии; первым этюдом в этом отношении явилась его рецензия на книгу Lindner'a «Социальная психология» («Nuova Antologia», 1872, dec.), где он дал резкую критику Канта и, формирующейся в это время и становившейся модной, органической социологии.

Развиваясь по пути детерминизма, Лабриола вступает в третий период своего развития—марксистский (с 1879 по 1882 г. г.). В письме к Турати, имеющем громадное биографическое значение, Лабриола пишет, как он пришел к марксизму: прежде чем стать социалистом, он имел «время, возможность и обязанность свести счеты с дарвинизмом, позитивизмом, неокантианством и всеми научными теориями его времени» (это годы его молчания 1878—1887); «примыкая к социализму, я не искал у Маркса азбуки знания, а искал только то, что есть в марксизме в действительности: я искал в нем эту замечательную критику политической экономии, эти общие принципы исторического материализма и выдвигаемую им пролетарскую тактику» (точнее: «политическую линию пролетариата», подчерк. Лабриолой). И далее: «чтобы понять научный социализм, мне не нужно было приступать к изучению диалектики... потому что я, с тех пор как достиг известной духовной зрелости, всегда вращался в этом кругу идей. Прибавлю еще, что марксизм, как метод мышления, нисколько не казался мне трудным в его логических построениях,—гораздо труднее мне было усвоить его экономическую концепцию...». Таким образом, Лабриола, как видно, еще не мог вполне ясно представить себе ту революцию в гегелевской диалектике, которую произвели Маркс и Энгельс. В этих словах мы имеем откровенное признание Лабриолы в трудности усвоения им политико-экономической стороны марксизма; это вполне понятно даже при самом беглом обзоре состояния Италии 1870—80-х годов, когда пролетариат еще только ощупью вставал на путь своей революционной борьбы. Естествен-

[1]) «Может быть,—даже наверно,—я сделался коммунистом вследствие своего здорового гегельянского воспитания, после того, как прошел через психологию Гербарта и «Völkerpsychologie» Штейнталя и др.» (XII письмо к Энгельсу). Об его углубленной работе по изучению генезиса новейшего социализма см. его XVI письмо Энгельсу (ук. изд., стр. 69—70).

ный путь от гегелевского идеализма, через реализм Гербарта, путь к политике через либерализм, Лабриола начал еще в 1873 году, когда он в «Морали и религии» решительно выступил **против основных принципов либерализма**: «в 1879 году,—пишет он,—я вступил на путь этой новой интеллектуальной веры, к **которой меня привели мои исследования и наблюдения и на которой я укрепился окончательно в последние три года**» (курсив Лабриолы, написано в 1889 году), т.-е. путь философский шел одновременно с путем политическим, но и на последнем Лабриола, отметим здесь же, был **первым** из представителей итальянской буржуазной интеллигенции.

В 1887 году выходит **первая**, таким образом, близкая к марксизму работа Лабриолы «**Проблемы философии истории**» («I problemi della Filosofia d. Storia», Roma, 45 p.), в которой он подробнее развивает так называемое им «эпигенетическое» воззрение на историю, первые положения которого были намечены им еще за 10 лет до того (в «Dell' Insegnamento di Storia»); это «эпигенетическое» воззрение **почти** аналогично материалистическому [1]). Следующие за тем годы Лабриола много труда посвятил исследованию методов **реформы школы**, народной и высшей, построению ряда курсов по философии истории и истории средневековья, и, наконец, активному оформлению своих социалистических воззрений как путем приведения их в стройную систему, так и путем борьбы с радикальным либерализмом. Стоявший до этого в стороне от общественной жизни, он теперь вплотную подходит к ней. Растущие потребности пролетариата, ищущего своего настоящего мировоззрения, заставили его сойти с ледяных вершин теории и превратиться из университетского профессора философии в публициста и пропагандиста. Правда, отметим здесь же, подчеркиваемую Мерингом, характерную черту личности Лабриолы, что он не только учил педагогике, но сам он всем существом своим был **настоящим педагогом**», резко отличным от массы косных, тупых немецких профессоров. Лабриола, к тому же, был блестящим, темпераментным оратором, но очень скупым, очень осторожным писателем; он сам говорит о себе, что «он всегда страстно любил и любит устное обращение во всех его формах» и лишь в крайнем случае прибегает к письменной форме выражения своих мыслей. Это об'ясняет нам, почему литературное наследие Лабриолы-марксиста так невелико, что может быть почти целиком издано в 2-х небольших томиках, но о нем вполне можно повторить слова Меринга: «Labriolas Schriftchen scheinen flüchtig und leicht hingeworfen zu sein, aber wie fest und sicher sind sie aufgebaut, wie durchdacht bis ins letzte Wort, und im Inhalt, wie klar und wie tief» [2]). Однако тем большую ценность имеют его многочисленные письма и обращения, из которых пока

---

[1]) Отчетливое из'яснение этой **генетической** концепции Лабриола дает в XIV письме к Энгельсу (стр. 63—64), но его противопоставление «генетического» «диалектическому» все же недостаточно убедительно; отсюда и некоторые (как будет показано ниже) неясности в его теоретических построениях.

[2]) Ср. характеристику порывистой, темпераментной, но все же **мало** отвечающей требованиям революционного марксиста-партийца личности Лабриолы, данную Д. Рязановым (стр. 38—39 указанной статьи).

5*

собрана и издана лишь небольшая часть; о том, какое значение имеет этот вид его произведений, можно судить, вспомнив, какие богатства мыслей представляют собою его письма к Сорелю.

Из публицистических работ этого периода виднейшее место занимают брошюра — «Народная школа» («Scuola popolare», 1888 г.), многие мысли которой совпадают с марксистским пониманием задач и организации народного просвещения; брошюра «Университет и свобода науки» («L'Università e la Libertà della Scienza», 1897, фр. изд. в «Devenir social», 1897, janv.), где Лабриола энергично выступает за радикальную реформу университетской науки, требуя, чтобы реальное содержание современной философии—радикальное отрицание «идеологии» и метафизики—легло в основание науки (р. 14—17). Затем Лабриола многократно выступает (большею частью устно) на борьбу с клерикализмом и его глубоко реакционной ролью в развитии Италии, подчеркивая утопизм тех, кто об'являл силу клерикализма уже отжившей; в своей борьбе с ним Лабриола—как он сам пишет—«взывал не к атеизму, материализму и т. д., а к политическим интересам итальянской буржуазии, которая—говорит он—не могла быть удовлетворена исполнением в одно и то же время Гарибальдийского гимна и Королевского марша». Лабриола считал необходимым форсирование развития радикально-буржуазного движения, которое должно было довести до конца незаконченную буржуазную революцию. В этих целях он и развенчивал облик Гарибальди, в котором вылилась вся внутренне противоречивая итальянская буржуазная революция с ее широким демократизмом, с одной стороны, и ее тягой к соглашению с феодально-королевским режимом—с другой («Garibaldi», 1888, перепечат. в «Scritti vari»). Лишь в самом конце XIX века он окончательно признал глубокую компромиссность духа национальной буржуазии и ее все больший отход в сторону реакции, выразившийся в принятой ею политике мелких уловок (письмо X к Сорелю).

В 1889 году Лабриола открыто выступил со своим социально-политическим credo, прочитав 20 июня этого года в Римском кружке общественных наук доклад о социализме («Il Socialismo», р. пер. А. Колтоновского, Спб., изд. «Луч», 1906). Содержание его подробно излагать нет надобности, возьмем только наиболее характерный отрывок: «После французской революции появились три общественные язвы... капитализм; из патриотического увлечения рождается милитаризм; политическая избирательная борьба открывает поле деятельности для шарлатанства демагогов.

От всего этого наш век унаследовал тройную напыщенную ложь. Первая ложь: так как все свободны состязаться друг с другом, то победа в этом считается заслугой. Вторая ложь: воинская честь есть мерило национальной доблести. Третья ложь: в избирательном праве—спасение народов и залог развития государства.

Первая ложь служит для того, чтобы замаскировать силу всевластного капитала; второю пользуются для того, чтобы поддержать господство грубой силы над мирным трудом; третья содействует тому, что в первые ряды общества выдвигаются карьеристы...».

Далее Лабриола говорит об организации общества на социалистических началах, для чего в первую очередь нужно оформление духа классового самосознания и единения среди рабочих; организованный же пролетариат отведет особенное место борьбе за право на полное вознаграждение за произведенную работу, средствами которой являются—стачки, кооперация, участие рабочих в политической жизни и больше и важнее всего—пропаганда.

Какими путями, спрашивает Лабриола, можно достичь этого будущего: путем «революции или, наоборот, путем медленной работы можно привить к общему стволу либеральных учреждений новые формы гражданственности? Что касается меня, то я склонен ко второму мнению», но «самое первое, прямое, честное и верное средство—пропаганда... Я не верю ни во что искусственное; мне противно всякого рода насилие», говорит он, утверждая себя в этот период настоящим реформистом интеллигентского склада.—«Меня привело к социализму отвращение, какое я чувствую к современному социальному строю, и глубокое изучение истории и жизни». Далее, здесь-то Лабриола и высказывает ту мысль, которая дала возможность некоторым назвать его проповедником интеллигентского социализма, мысль о привлечении к борьбе за социализм людей из привилегированных классов, о том, что «студент, профессор, буржуа,... каждый в отдельности, если вступил на путь социализма по убеждению, теперь стоит больше, чем сотня пролетариев...» Но мы уже обрисовали выше специфические особенности развития рабочего движения в Италии, его уклоны то в анархо-синдикализм и махаевщину, то в парламентаризм, которые и дали основание Лабриоле говорить указанное, тем более, что, по его мнению, интеллигенция должна проявить себя больше всего в пропаганде, в теоретической борьбе за социализм, то-есть приложить все старания к переводу духа «страстных взрывов мятежа» в методичную, упорную работу. Что это так, доказывается блестящим по своему проникновению в сущность тактики пролетарского движения письмом Лабриолы к Этт. Соччи—«Пролетариат и радикалы», опубликованном 5 мая 1890 года. Здесь он решительно выступает против радикалов, которые, фактически стоя в стороне от рабочего движения, стремятся выставить себя вождями его, и разоблачает тщательно маскируемую сущность их quasi-социалистической политики. Мы, социалисты,—говорит он,—решительно утверждаем, что пролетариат для достижения успеха должен надеяться и полагаться только на себя, организоваться в свою рабочую партию, не поддаваться ни лести, ни обещаниям политических фокусников, которые приносят вред... Те радикалы, которые говорят, что сделаются социалистами завтра или через неделю, которые воображают, что таким образом они выдают себя за социалистов, которые смотрят на социальный вопрос, как на украшение политических программ, и считают социализм прибавлением, примечанием к великой книге либерализма.... которые не убеждены в том, что социальная революция по своим целям, по средствам и по тактике совсем не то, что революция буржуазная,... кончают тем, что встречают недоверие...в своей политической деятельности.

Та часть рабочих, которая знает, чего хочет, уже не позволит себе обмануться пустой надеждой. Они поэтому требуют от радикалов не мер и способов для решения социального вопроса, а только общих условий свободы и культурности, которые им необходимы для того, чтобы развернуть свои силы и утвердиться прочно и сознательно. А тому, кто им предлагает кооперацию (сотрудничество), как панацею, они отвечают, что это—коварное средство для того, чтобы обуржуазить часть рабочих в ущерб солидарности всей массы.

Между буржуазной политикой и социализмом существует такая резкая разница, что никакое искусство гениальных людей не способно сблизить их волшебством законодательных мероприятий» (курсив мой. *В. Д.*).

Что можно прибавить к этим словам?—Ничего. Откуда же, спрашивается, идет легенда об интеллигентском, реформистском социализме Лабриолы? Во-первых, в суждениях его о роли интеллигенции, беря их урезанными, вырванными из общего контекста, искали оправдание себе те широкие массы итальянской пролетаризирующейся интеллигенции, которая, как было указано, приливала к социализму, потерпев крах на пути радикализма, и мечтала играть роль авангарда пролетариата. Во-вторых, эти же суждения были широко использованы реформистским крылом, которое всячески замалчивало ту жестокую борьбу, которую вел с ним Лабриола [1]). В-третьих, когда говорят о реформизме Лабриолы, то сознательно коверкают, искажают истинный путь его развития, берут его высказывания 1880-х г. г. и игнорируют ту совершенно понятную эволюцию, которую проделал Лабриола в последующие годы. Нечего удивляться тому, что легенду о Лабриоле-реформисте особенно поддерживал и укреплял Бенед. Кроче, фигура, известная всем: он, как своего рода хранитель литературного наследства Лабриолы, проделал с ним то же, что Бернштейн и Каутский—с письмами и работами Энгельса.

Очень важное место в биографии Лабриолы занимает его знакомство и переписка с Фр. Энгельсом. К громадному моему сожалению, я не имею возможности установить точно, когда началось это знакомство. Вот имеющийся об этом материал.

В письме к Зорге от 30 декабря 1893 года («Письма П. Беккера, И. Дицгена, Ф. Энгельса, К. Маркса и др. к Ф. А. Зорге и др.», русск. изд. Дауге, Спб. 1907, стр. 459, № 210) Энгельс пишет:

«...Лабриола, с которым я уже несколько лет состою в переписке и с которым встретился в Цюрихе (на III конгрессе II Интернационала), читает в Римском университете курс лекций об истории возникновения марксовой теории. Он—определившийся марксист [2]). Для своих лекций он достал себе всю

---

[1]) См., например, указанную книгу Анджолини, который отводит Лабриоле только три страницы, да и то бегло пересказывая эти две его статьи (т. I, стр. 315—318), дальше о Лабриоле мы не встретим у него ни одного слова.

[2]) В издании «Писем... к Зорге» под ред. П. Аксельрода (Спб. 1908, изд. «Обществ. Польза», стр. 411) передано так: «Он — строго-последовательный марксист», — «er ist strikter Marxist» (Briefe... an F. A. Sorge...», Stuttg. 1921, S. 405—406.

нужную ему литературу, но «Святого семейства» никак не мог раздобыть, хотя и печатал об'явления в лейпцигском листке книгопродавцев и в иных изданиях, что готов заплатить за него «какую-угодно цену»... Лабриола неотступно требует от меня, чтобы я, во что бы то ни стало, достал ему эту книгу недели на 3—4... А что без знакомства с ней он не сможет ни читать, ни тем более печатать предположенного курса лекций, то об этом тебе говорить не приходится...».

В следующем письме (от 23 февраля 1894 года, № 211) Энгельс сообщает Зорге, что высланный последним экземпляр «Святого семейства» Лабриолой получен и уже отослан им обратно (письмо № 213).

Затем в письме к Эд. Бернштейну от 14 ноября 1894 года Энгельс («Die Briefe von Friedrich Engels an Eduard Bernstein, hrsg. von Ed. Bernstein», Berlin 1925, стр. 203; русск. перев. этих писем в «Архиве К. Маркса и Ф. Энгельса», кн. I, стр. 386) пишет: «...напомни ему (Барону), что я шлю ему по просьбе Лабриолы Socialismo e Scienza Ферри с примечаниями Лабриолы».

В IV письме своем к Сорелю от 14 мая 1897 года Лабриола приводит обширную выдержку из своего письма к Энгельсу (фр. изд., стр. 68—69), написанного им «5 лет тому назад», излагающего его впечатления от «Святого семейства» и заканчивающегося так: «Вы настойчиво побуждаете меня писать о коммунизме, но я всегда боюсь, что моя работа будет иметь мало ценности и мало значения для Италии»; далее Лабриола, к сожалению, умалчивает об ответе Энгельса, говоря о нескромности издания частных писем, если они не представляют выдающегося общественного интереса [1]). Таким образом, Лабриола, как видно, вступил в переписку с Энгельсом в самом начале 1890-х годов. Ответы Энгельса нам неизвестны, но несомненно все же, что окончательное оформление Лабриолы, как революционного марксиста, произошло под влиянием Энгельса; Энгельс же и подвинул Лабриолу на литературную работу по пропаганде марксизма, хотя Лабриола решил опубликовать свою первую работу о коммунизме лишь в 1895 году, в год смерти Энгельса, как бы желая выразить этим своим трудом, полагающим начало марксизму в Италии, свою глубокую благодарность учителю.

В начале 1893 года вышел первый полный и точный перевод «Коммунистического Манифеста» на итальянский язык с предисловием Фр. Энгельса, датированным 1 февраля 1893 года (1-е изд. Инст. Маркса и Энгельса, стр. 51—59); принимал ли, и какое, участие в этом издании Лабриола, нам неизвестно.

7-м апреля 1895 г. он датирует последнюю страницу своей работы «Памяти Манифеста Коммунистической Партии» («In Memoria del Manifesto dei Communisti», 1895, 87 p.,

---

[1]) Сделанное здесь же еще более категорическое замечание Лабриолы: «во всяком случае, частные письма, если даже удалить из них все, что могло быть случайным элементом, и оставить лишь то, что относится к доктрине и науке, являются не чем иным, как второстепенными свидетельствами и поэтому имеют мало значения в сравнении с писаниями, опубликованными по воле авторов», имеет, как мы не раз отмечали, большое значение для трудности изучения деятельности его самого и неправильность этого замечания сыграла свою роль в легенде о нем.

2-е итальянское изд. в «Saggi intorno alla concezione materialistica della storia», Roma, Loescher, 1902, I; 1-е франц. издан. «Essais sur la concéption matérialiste de l'histoire» avec Preface de G. Sorel, Paris 1897 («Bibliothèque Social. internation.», III), 2-е франц. изд. Paris 1902; 1-е нем. изд. под ред. Ф. Меринга 1900; англ. изд. Chicago 1907; 1-й русск. перев. А. Н. Горлина, П. 1922, 2-й перевод его же—Лнгр. 1925; кроме 1-го итальянского и 1-го немецкого издания эта работа Лабриолы в дальнейшем издавалась вместе с «Историческим материализмом»). Эта работа, как было сказано выше, полагает начало марксистской литературе в Италии; ее задачей являлось, как можно думать, дать введение в изучение «Комунистического Манифеста» и некоторый комментарий к нему. Лабриоле предстояло выполнить громадную работу—внести в итальянское рабочее движение руководящие идеи революционного марксизма, выраженные в «Манифесте», согласовав его с обстановкой итальянской и международной общественности 1890-х годов. Этим, думаем, об'ясняются все те довольно-таки длинные отступления от непосредственного материала «Манифеста» и то своеобразно-критическое отношение к некоторым построениям его. Поэтому провозглашенная во 2-м абзаце задача «возродить в своей памяти причины и движущие силы, давшие жизнь Манифесту, и те обстоятельства, при которых он появился...», постепенно отступает все более и более назад, и в этом отношении работа Лабриолы, конечно, не может равняться со статьями Плеханова и, тем более, комментарием Рязанова. В согласии с замечаниями Энгельса, Лабриола полагает «ошибкой считать существенной частью Манифеста» меры, рекомендуемые на случай революционного выступления пролетариата (конец 2-й гл.) и указания об отношении к партиям той эпохи (в IV гл.); «и эти советы, и эти указания... уже не являются ныне для нас суммой тех практических взглядов, которые мы должны принимать... при оценке каждого данного события» [1]); изменившиеся условия вносят ряд изменений в эти формулировки. Здесь Лабриола подходит к знаменитому определению—«марксизм для нас не догма, а руководство к действию» [2]). Самое ценное в «Манифесте»—это не детали «советов и указаний», а формулировка основных принципов системы критического коммунизма, нового понимания истории; генезис этого открытия, разыскание его корней в тогдашней исторической действительности и утверждение наличия тех же оснований в современной (конец XIX века), и не только наличия, но и их дальнейшего развития, подтверждающих абсолютную правильность и глубокую жизненность доктрины—вот истинное содержание книги Лабриолы. Мы не будем здесь передавать содержание ее, нередко превращающееся в историю социалистических идей и движений XIX века и экскурсы в область политической экономии; отметим лишь неко-

---

[1]) В русском переводе Горлина (2-е изд., стр. 10) эта важная фраза передана в слишком категоричном выражении, не соответствующем духу подлинника, ср., например, такое утверждение Лабриолы: «изложение хода развития буржуазии» «Манифест» сделал несколькими штрихами, которые могут быть дорисованы, дополнены, развиты, но которые не могут быть исправлены».

[2]) «Коммунизм сделался своего рода искусством, потому что пролетарии стали или готовы стать политической партией» (1-е фр. изд., р. 63).

торые любопытные суждения об идеологических системах 1840—1895 годов: о дарвинизме, о Канте, о Спенсере (2-й русск. перевод, стр. 15,45), об эгалитарном социализме (стр. 21—22), критиках коммунизма (стр. 28—29, 44), о «кризисе» его в 1848—1850 годах (стр. 33—34) и о так назыв. «экономическом материализме» (стр. 47 сл., особ. 53). Особенно ценны страницы, посвященные характеристике новой эпохи и новым тактическим проблемам (стр. 36—38) с особенным подчеркиванием проблемы крестьянства и его места в пролетарском движении. Здесь Лабриола прямо берет Россию и Италию, общественные условия развития которой близки к русским: «завоевать крестьян—вот задача дня... До тех пор, пока крестьяне не будут завоеваны нами, мы всегда будем иметь за собой то крестьянское тупоумие, которое бессознательно, и это потому, что оно тупоумно (stupide), делает или повторяет 18-е брюмера и 2-е декабря... Социалдемократия в то же самое время завоеванием крестьян восторжествует над внутренними опасностями» (1-е франц. изд., p. 84—85, в переводе Горлина все эти формулировки значительно ослаблены—стр. 41—42).

Очень характерен дух революционного под'ема и глубокой уверенности, пронизывающей всю эту работу Лабриолы, особенно в тех местах, где он говорит о пути пролетариата к его диктатуре (напр., стр. 38). Правда, все же 25 лет академической работы положили на нее свой резкий отпечаток и отзыв т. Д. Б. Рязанова, что комментарий Лабриолы «в силу своей сжатости и отвлеченности местами труднее для понимания, чем самый Манифест», остается правильным, тем более что некоторые места в книге—может быть именно по причине, указываемой самим Лабриолой—выражены настолько туманно, что могут быть истолкованы совершенно различно (так, например, стр. 27 русского перевода, стр. 55—56 фр. изд.; еще стр. 43 и друг) [1].

Следующая работа Лабриолы, непосредственно примыкающая к «Памяти...»—«Dilucidazioni preliminari sul materialismo storico» (Roma 1896, 156 p., во всех последующих изданиях просто «Del materialismo storico» выходила вместе с 1-й работой, 1-й русский перевод ее, крайне неполный, вышел в издании Н. Березина и М. Семенова, Спб. 1898, 95 стр.). В ней он уже ставит своею целью дать систематическое изложение основных принципов исторического материализма. Отметим, в первую очередь, ту вдумчивость и осторожность, которую Лабриола проявляет во всей работе; боевая позиция, занятая им в первой работе, здесь также представлена, пожалуй, в еще большем виде. С первых же строк Лабриола выступает против тех предрассудков (préjugés), которые тормозят не только правильное изучение доктрины, но, что особенно важно, ведут к смешению ее с другими, нередко ей прямо противоположными. «Смысл этой доктрины должен быть, прежде всего, извлечен из положения, занимаемого ею по отношению к учениям, против которых она на самом деле борется и особенно по отношению к идеологиям всякого рода» (цитируя по 1-му франц. изданию в своем переводе, сверенном с итальянским подлинником, стр. 120). Революционная роль нового учения вы-

---

[1]) Книга Лабриолы вышла в апреле 1895 года, Энгельс умер 5 августа года, успел ли он, будучи уже сильно болен, просмотреть книгу Лабриолы?

является так: «противопоставить, а потом заменить этот мираж некритических представлений, эти кумиры (idoles) вооображения,—эти продукты литературных изощрений, эту условность,—реальными фактами или реально действующими силами, то-есть людьми, действующими в различных и обусловленных социальных условиях. Вот революционная задача и научная цель нового учения, которое об'ективирует и, я сказал бы, натурализирует об'яснение исторических процессов» (р. 126). Далее Лабриола сбрасывает историческую вуаль, то идеалистическое одеяние, «в которое люди облекали свои дела, видя в них чудесные деяния богов и героев». Г. В. Плеханов в своей статье о книге Лабриолы—«О материалистическом понимании истории» (первоначально в «Новом Слове» 1897 г., сентябрь, затем в «Критике наших критиков», Спб. 1906, стр. 307—336 (цитирую по этому изданию) Сочинений. изд. Н. М. Э., т. VIII) первые 5 глав ее посвящены пересказу работы Лабриолы, то-есть целиком присоединяется к его взглядам, отмечая лишь следующие неправильные или неясные пункты в построениях Лабриолы: в главе VI работы Лабриолы Плеханов находит «не совсем удачным парадоксом» заключение Лабриолы об «ошибках» истории и роли «невежества» в них (стр. 324—330), которое, ведь, в различные исторические эпохи «тоже относительно»; здесь Лабриола не вполне диалектичен. Вообще понятие революции диалектики, совершенной Марксом и Энгельсом, у Лабриолы несколько своеобразно; оно, по справедливости, заслуживает отдельного тщательного исследования в особом этюде; здесь достаточно привести одну характернейшую цитату: «Именно в этом переходе от критики суб'ективной мысли, рассматривающей вещь извне (du dehors) и воображающей, что она сама же может их исправить, к пониманию автократики, которую общество осуществляет над самим собою в имманентном процессе своего собственного развития,—именно только в этом заключается диалектика истории, которую Маркс и Энгельс, поскольку они были материалистами, извлекли из гегелевского идеализма» (р. 203, пер. Горлина. стр. 102). Это своеобразное понимание диалектики проявляется у Лабриолы не часто, но оно-то и приводит его к некоторым спорным построениям. Так, в гл. VIII мысли его о возникновении государства (р. пер., стр. 110) оспариваются Плехановым (стр. 319—320 сл.), выдвигающим в качестве одного из оснований возникновения государства «непосредственное влияние нужд общественно-производительного процесса» (В Китае, древнем Египте). Далее Плеханов отмечает, что Лабриола иногда складывает свое материалистическое оружие перед трудностями анализа вопроса в деталях, напр., в вопросе о праве и влиянии на него религии (гл. VIII Лабриолы, статья Плеханова, стр. 330 сл.), об отражении в этических построениях пережитков прошлого; не доводит до конца анализ: о роли традиции (гл. X Лабриолы, статья Плеханова, стр. 332—333), в определении философии; это «конечно, справедливо. Но здесь еще не вся истина» [1]). Очень спорно суждение Лабриолы о влиянии природы и расовой организации

[1]) Здесь же характерная оговорка Плеханова: «может быть, он (Лабриола) только неточно выразился, а в сущности согласен с нами» (стр. 335), еще стр. 323, 325.

на ход исторического процесса, где Лабриола сделал уступку старой теории («он рисковал ввести своих читателей в большое заблуждение и обнаруживал готовность сделать, хотя бы и в незначительных частностях, некоторые... уступки старому образу мыслей. Вот против таких-то уступок и направлены наши замечания», стр. 323; ср. на стр. 325: «сам того не замечая, он возвращается к точке зрения просветителей XVIII века»). Мы бы, с своей стороны, присоединяясь, разумеется, к замечаниям Г. В. Плеханова, отметили еще совершенно непонятное ограничительное понимание у Лабриолы применения исторического материализма только в исследовании новейшей истории, периода складывания буржуазии, истории древних Рима и Греции (р. пер., стр. 135—136).

Для русских читателей, не владеющих иностранными языками, конечно, имеет значение перевод; так вот, первый русский перевод 1898 года абсолютно непригоден; будучи в передаче некоторых формулировок лучше перевода Горлина, он исполнен с громадными пропусками, особенно там, где речь идет о практических вопросах революционного движения (цензура!). Такие пропуски встречаются нередко, иногда опускаются даже не отдельные фразы или абзацы, а целые страницы текста (начало и конец V главы, в гл. VIII). Всего мы насчитали 15 значительных пропусков. Переводы А. Н. Горлина сделаны с французского, обработанного Ж. Сорелем издания. «Хотя,—пишет переводчик,—Г. В. Плеханов и находит его тяжелым и местами прямо неудачным, однако и он говорит, что мысли Лабриолы все же вполне (?!) понятны и в этой несколько тяжеловесной передаче. Последнее замечание Плеханова, с одной стороны, и обработка Ж. Сорелем итальянского текста в сторону его популяризации—с другой, побудили переводчика настоящего издания остановиться на французском тексте». Ясно, что об'яснение мало убедительное. Плеханов прямо говорит, что «французский перевод тяжел, а местами и прямо неудачен. Мы с уверенностью говорим это, хотя не имеем под руками итальянского подлинника. Но итальянский автор не может отвечать за французского переводчика» (ук. ст., стр. 307 и др.). Горлин все-таки переводит с французского, совершенно игнорируя многочисленные замечания Плеханова. Вместо того, чтобы точно оговорить расхождения французского перевода с подлинником, проверить перевод по подлиннику, особенно в формулировках, Горлин заставляет (перефразируя Плеханова) Лабриолу отвечать и за французского и за русского переводчика, который тяжеловесность и частичную неудачность французского перевода только увеличил. Русский читатель из горлинского перевода составит совершенно неправильное представление об языке Лабриолы, правда, очень трудном, но все же и очень далеком от перевода.

Эта книга Лабриолы вызвала громадную критическую литературу; кроме наиболее выдающейся из нее статьи Г. В. Плеханова [1], отметим статьи Croce, Petrone, Andler'a, Дюркгейма, Жида, Сеньобоса, Ксенополя, Бурдо, Парето, Джентиле, Тарда

[1]) Интересно здесь привести лаконичный отзыв В. И. Ленина: «...Недаром Антонио Лабриола в своей превосходной книге «Essais...»—статья «Перлы народнического прожектерства», 2-ое изд. Собр. сочинений, т. II, стр. 299.

и др., из которых более серьезной является разбор книги, данный Б. Кроче. Этот «социалист», идейный вождь итальянского реформизма, известен русским читателям по блестящей статье Г. В. Плеханова «О книге Б. Кроче» («Заря» 1902 г., № 4, перепечат. в «Критике наших критиков», стр. 256 след., «Сочинения», т. XI, стр. 329—344). В 1896—1899 г.г. Кроче напечатал ряд статей, объединенных им в сборнике «Исторический материализм и марксистская экономия» (русский перевод П. Шутякова, Спб. 1902). Не имеющий ни малейшего понятия ни о диалектическом методе, ни о материализме, Кроче «пытается сесть между двух стульев, стараясь видоизменить марксизм так, чтобы он перестал, наконец, противоречить» кантианству (Плеханов, стр. 343). Поэтому он и критикует марксизм в изложении Лабриолы, искажая его и приписывая ему то, чего в нем нет; частичные отклонения, недоговоренности в построениях Лабриолы он считает уступками, одобряет их, радуется им, чем полностью подтверждает изложенные выше мысли Плеханова о возможных истолкованиях этих неясностей [1]). Критика Кроче так нелепа, так изощрена в приписывании Лабриоле того, чего он не мог сказать и не говорил, что остается только поражаться. Другой критик, Ш. Андлер, известный комментатор «Коммунистического Манифеста», буржуазный социалист, очень поверхностен и по своей манере критиковать и близок к Кроче. Джентиле—автор работы под громким названием «Философия Маркса», хотя и отмечает некоторые неправильности в критике Кроче, но во многом с ним солидаризируется [2]) и поэтому последним ценится очень высоко. Другие из названных выше критиков—просто представители чистейшей буржуазной науки, для которых книга Лабриолы лишний случай «покритиковать» марксизм.

Из русских критиков книги Лабриолы отметим еще М. Ковалевского, который в своем обзоре марксистской социологии очень высоко ценит эту книгу («Современные социологи», Спб. 1905, стр. 293—294, 306—307), отмечая правильность определения Лабриолой роли идеологии и защищая его от критики Тарда, сам Ковалевский все же впадает в грубую ошибку, сближая некоторые построения Лабриолы с рассуждениями небезызвестного Бельфорт-Бакса, который «допускает существование самопроизвольных психических тенденций, так наз. идеологических; они действуют независимо от экономических, хотя и имеют в них свои корни. Эта точка зрения,—говорит Ковалевский,—очевидно (?), та же, выразителем которой является Лабриола» (Воззрения Бельфорт-Бакса и критика их Каутским есть и в русском переводе в сборнике «Исторический материализм», ред. С. Семковского).

Третьей крупной работой Лабриолы-марксиста являются его письма к Ж. Сорелю, бывшему когда-то его другом и редактором французского издания «Исторического материализма». Письма эти, написанные по поводу предисловия Сореля к названному изданию в период с 20 апреля по 15 сентября 1897 года, вышли в начале декабря 1897 г. под заглавием «Discorrendo di Socialismo e di Filosofia. Lettere a G. Sorel» (Roma, Loescher.

[1]) Ср. еще ссылки на книгу Антонио Лабриолы в порядке аргументации у известного синдикалиста—Артура Лабриолы «Реформизм и синдикализм», русский перевод, Спб. 1907, стр. 150, 221.

[2]) Gentile, Una critica del materialismo storico, «Studi critici», 1897, т. VI.

VIII—195 p.), и в конце декабря 1898 года во французском авторизованном переводе (A. Bonnet) под заглавием «Socialisme et Philosophie (Lettres à G. Sorel)» (Paris 1899, Bibl. social. intern.», V; V+262+1 p.) с предисловием Лабриолы к французскому изданию и послесловием (письмо XI), посвященном критике Б. Кроче. Книга эта представляет собою не только ценное дополнение к первым двум работам Лабриолы, но развитие и обоснование целого ряда новых значительных построений. Остановлюсь на ней подробнее, так как фактически русского перевода ее не существует; имеются: а) перевод нескольких писем (VI, VIII) в журнале «Жизнь» 1899 г., кн. IV, стр. 241—257, б) перевод неизвестного лица в издании Зябицкого и Пятина Спб., 1900, 83 стр.; этот перевод—редкий образец абсолютной безграмотности; не говоря уже о трагикомических искажениях имен «Геккель»—Гегель, «Турани», Маскау», мы встречаем частое искажение мыслей Лабриолы, формулировки, прямо противоположные тексту оригинала, систематические пропуски (всего их 28)—совсем нет IX письма, XI, нет 6½ страниц текста X письма, 2½ страниц в VIII письме и т. п. пропуски, далеко не об'ясняемые цензурой. Невежественный переводчик этого издания как будто задался целью исковеркать блестящую книгу Лабриолы. Но, если это еще как-то может быть понято в 1900 году, то совершенно непонятно переиздание этого перевода в громко названной серии «Библиотека коммуниста» МК РКП Московского отделения Государственного Издательства (М. 1922 г., 52 стр.), сплошной перепечатки с трогательным сохранением даже всех опечаток. Неизмеримо лучше вдумчивый перевод IX письма в сборнике «Воинствующий материалист» (т. I, М. 1924, стр. 33—52). Все это, повторяем, вынуждает нас подробнее остановиться на этой книге Лабриолы [1]).

Мысль о написании писем к Сорелю возникла у Лабриолы под впечатлением предисловия Сореля к французскому изданию «Исторического материализма» (1-е изд., p. 1—20), в котором Сорель, восхваляя книгу Лабриолы («издание этой книги составляет дату в истории социализма... Труд Лабриолы должен занимать место рядом с классическими книгами Маркса и Энгельса...», p. 19), останавливается на ряде моментов в марксистской теории, вызвавших особенные нападки критиков. Он останавливается на Бургене, Руанэ, Петроне, Бурдо, Жорессе, особенно на Руанэ (Rouanet), который в 1887 году напечатал совершенно безграмотную статью об «экономическом материализме Маркса и французском социализме» (в «Révue socialiste», 1887, mai). В этой статье Руанэ доказывал, что Марксово учение: 1) неприемлемо для французского духа (au génie français), как созданное немцами, 2) что оно тяготеет к фатализму, будучи погребено в туманном трансцендентализме» гегелевского идеализма, оно выдвигает культ Рока,—«слепых законов великого Рока», 3) что детерминизм в марксизме сводится к автоматической связи между явлениями, 4) что смена экономических форм совершается мистическим путем эволюции». Другие критики выдвигают соображения такого же порядка. Сорель сначала сам пытается

---

[1]) Полный русский перевод этой книги Лабриолы подготовлен мною и выходит в «Библиотеке марксиста» И. М. Э.

их разбить, но очень туманно, мало доказательно, и очень путано, то находя в марксизме большие пробелы, то заполняя их ссылками на «прекрасные наблюдения» уже известного нам Б. Кроче (p. 15). Вот эти-то обстоятельства и явились причиной возникновения писем к Сорелю, которые Лабриола писал вполне определенно для печати. Уже приготовляя французское издание, Лабриола внес ряд изменений в итальянский подлинник, так что, как он сам пишет, «французское издание этих писем не есть простой перевод, но является настоящим вторым изданием, так как я пересмотрел и изменил оригинал, дополнил его многочисленными примечаниями и целой новой главой в виде послесловия». Это издание должно было выйти в октябре 1898 г., но задержалось, а в это время адресат писем—Сорель—душою и телом отдался так называемому «Кризису марксизма»; выступив с громкой статьей в «Révue politique et parlementaire» (10 déc. 1898) в «Rivista critica del Socialismo» (1898, № 1) и предисловии к книге «эклектика поссибилиста и реформиста» Мерлино, — он в этих статьях, по тонкому замечанию Лабриолы, «изучает его («кризис марксизма»), комментирует, из'ясняет с любовью» и, наконец, «утвердил и канонизировал». И вот Лабриола ставит вопрос: «Что же я должен теперь делать? Должен ли я написать анти-Сореля после того, как написал Сорелю?» («Dois-je écrire un anti-Sorel après avoir écrit un avec-Sorel?»),—и отвечает, что письма все же должны быть изданы, но читатель должен хорошо помнить даты писем, что они писались Сорелю, еще работавшему в «Devenir Social», переводившему Лабриолу и об'являвшему последнего ортодоксальным марксистом.

Уже эти несколько цитат и наше бледное изложение с громадным под'емом написанного Лабриолой предисловия дают понятие о том, что в этой книге его темперамент борца за настоящий марксизм будет представлен значительно больше, чем в предшествующих: если в письмах он выступает как популяризатор теории, то здесь он чаще выступает, как критик, полемист, не только отражающий удары, но и сам переходящий в наступление.

Письмо I посвящено анализу вопроса о причинах малой распространенности теории исторического материализма во Франции: Лабриола указывает на развитой в современном обществе индивидуализм, который не хочет признать, «что наше я... есть ничтожная величина в сложнейшем механизме общественной жизни» (цитирую по 1-му французскому изданию, p. 5—6). Далее он разбирает причины возникновения этого индивидуализма—роль школы и науки, и, бросив тонкое критическое замечание о «позитивизме» Тэна, переходит затем к критике буржуазной морали и заканчивает характеристикой об'ективных причин сравнительной «недоработанности» теории исторического материализма и трудности его популяризации. Во II письме Лабриола говорит о трудностях изучения марксизма; это приводит к тому, что многие изучают его из вторых рук и искажают и коверкают его. Тут же Лабриола делает замечания о работах Адлера и Лориа и дает схематическое изложение работ Маркса в их историческом развитии, особенно «Капитала», взятого с методологической точки зрения и сопровождающееся критикой критиков III тома и утверждающее необходимость «революционного отрицания» противоре-

чий капитализма. Здесь же Лабриола дает ключ к ответу и на вопрос о причинах возникновения попыток пополнить марксизм Спенсером, дарвинизмом, позитивизмом.

Письмо III посвящено ответу на вопрос—почему так запоздала об'ективная критика марксизма. Здесь Лабриола дает блестящий очерк состояния науки политической экономии в 1860—1880-х годах. Впечатление, произведенное выходом в свет «Капитала», и характер возникшей критики, Лабриола характеризует следующим образом: «многие пылкие новаторы этого (1870—1880-е годы) об'являли себя учениками марксизма, принимая за чистую монету «марксизм», изобретенный его противниками» (р. 42), доходя или до недопустимого упрощенства в понимании теории стоимости (следуя Лассалю), или до прямого извращения марксизма (Лориа); в результате этого «вокруг смутной концепции чего-то неопределенного, что называли научным социализмом, мало-по-малу возник неоутопизм, который... вызывал лишь смех». Только последующие годы дали твердую базу практике марксизма, которая показала, что «социализм—не церковь, не секта, которой нужен догмат и утвержденная формула», что он живет и развивается сообразно развитию пролетариата, но все же, несмотря на его дальнейшее развитие в сторону получения более прочного обоснования, важно, однако, чтобы его сущность, его философские принципы не изменялись. В этом же письме рассеян ряд замечаний о Рошере, Ренане и др.

В IV письмо Лабриола дает ряд практических указаний о том, как создать во Франции школу исторического материализма; останавливаясь мимоходом на избирательных успехах французской социал-демократии, он говорит, что они не могут вызвать у него восхищения и надежд, так как нельзя строить никаких планов на будущее по этим подсчетам голосов,—ценность избирательной борьбы только в том, что она вырабатывает в массе рабочих и мелких буржуа новые формы сознания (ценность социал-педагогическая). Здесь же Лабриола проанализировав условия, благоприятствующие развитию марксизма в Германии, дает решительную отповедь теории «немецкого» марксизма и целиком присоединяется к энгельсовой характеристике социал-демократии, как термина, требуя его замены «коммунизмом».

Далее Лабриола набрасывает схему литературной пропаганды марксизма: первым должен итти «Антидюринг», значение которого—отметим здесь же—Лабриола определенно не дооценивает (ср. р. 64—65—«но эта книга не развивает учения, так как она является лишь критикой другого учения»; «действительная ценность этой книги, по-моему, заключается в возможности социалистам и других стран вооружиться этими замечательными приемами критики для издания всякого рода других «анти-...», необходимых в борьбе...»»). Письмо заканчивается тонким этюдом о природе познания с материалистической точки зрения («философия действия») и о связи ее с пониманием физического мира.

V письмо посвящено вопросу об отношении исторического материализма к другим философским системам (без гармонического согласования с которыми он, как думает Сорель, должен повиснуть в пустоте) и почти все целиком занято анализом познания в его историческом развитии, критикой неокантиан-

ства, агностицизма («который есть все основания считать одним из признаков вырождения буржуазии», р. 80), метафизики. Лабриола полагает, что Энгельсова критика метафизики могла бы быть еще более развита и уточнена, что и делает Лабриола, нащупывая корни метафизики в теологии и словесном способе выражения наших мыслей—«вербализме». Но здесь Лабриола, кажется нам, прямо ошибается, когда пытается утвердить внеисторическое понимание метафизического способа мышления (р. р. 88—89—«люди никогда не будут мыслить вполне научно»). Далее Лабриола дает противовес ему, утверждает возможность и необходимость существования философии как особого раздела познания (ordre d'études) наравне с наукой (эмпирическим знанием), в то время как последняя с ходом ее развития все более дифференцируется, все более и «беспрерывно накопляется и накопляется под именем философии сумма методологических и формальных знаний» («...sous le nom de philosophie la somme des connaissances méthodiques et formelles», р. 94). В этом определении и в дальнейших категорических утверждениях, вроде: «это противоположение между наукой и философией существует и всегда будет существовать» или «если мы можем утверждать, что наука, доведенная до совершенства, есть уже философия, или, иначе говоря, философия есть лишь последняя ступень в выработке общих понятий (Гербарт), то мы не должны, выдвигая этот постулат [1]) отрицать философию в нашем смысле этого слова» (р. 95), Лабриола, как это ясно видно, отходит от того решения вопроса, которое дает Энгельс (в «Антидюринге»), отходит от ортодоксии; старое увлечение гербартианством все еще дает себя чувствовать, и он иногда возвращается к Гербартовским определениям. Тонко разбив попытки согласования марксизма с другими философскими системами, Лабриола невольно для себя (вспомним, что писал Плеханов) делает уступку гербартианству.

Недооценка философских работ Маркса и Энгельса чувствуется и в VI письме, посвященном анализу той же проблемы; здесь, например, Лабриола, высказывая общеизвестные мысли, что Маркс и Энгельс после 1847 года не писали больше о философии в специфическом значении этого слова, вместе с тем туманно говорит о том, что «они в конце концов являются самыми совершенными представителями научной философии» в настоящем смысле этого слова, и тут же отзывается об Энгельсовом «Фейербахе», как «о длинной рецензии на книгу с несколькими ретроспективными и личными замечаниями» (р. 98). Эти неясные формулировки приводят к еще более неясному заключению: «если бы нужно было дать формулу, то можно было бы сказать, что философия исторического материализма есть тенденция к монизму; при этом я пользуюсь словом «тенденция» намеренно и прибавляю еще—формальная и критическая» (р. 102). Неясность этой формулы еще более вырастает от своеобразного понимания Лабриолой слова «тенденция»—«приспособление ума к тому убеждению, что все познаваемое есть не что иное, как генезис...» (р. 103); однако, в дальнейшем изложении он вполне правильно проводит

---

[1]) Ср. еще менее ясное, колеблющееся решение этой проблемы в XIV письме к Энгельсу (указ. изд. стр. 65).

различие между шеллинго-гегелевским и марксовым монизмом, между последним и вульгарным эволюционизмом.

Далее Лабриола еще раз ошибается—неправильно допуская, в результате его толкования цитаты из «Антидюринга», возможность самостоятельного независимого друг от друга существования логики и диалектики («étant donné et admis, que la Logique et la Dialectique demeurent comme choses existant par elles-mêmes», p. 104); он—«сказав А, должен сказать и В»—допускает существование и целой системы логики—«постепенный и детальный, для каждой отрасли науки, труд отвлечения формальных элементов, которые в них скрыты, дает возможность написать обширные и ясные системы логики, каковы превосходные логики Зигварта и Вундта (?!), являющиеся в действительности настоящими энциклопедиями теории познания». Как увязать это заключение с классической формулировкой Энгельса-Плеханова, что формальная логика есть частный случай диалектической? как можно признать Вундтовскую «Логику» за теорию познания? Но Лабриола идет дальше, он допускает существование философии отдельных наук—«если найдутся люди, желающие собрать в схематической форме принципы, благодаря которым мы ориентируемся в определенной группе фактов, например, правовых отношений,—ничто не мешает им называть эту дисциплину общей наукой о праве или даже философией права, лишь бы—спохватывается Лабриола—они помнили, что они приводят в систему (эмпирическую) (?) ряд исторических фактов...». Продумывая эти страницы, еще раз вспомним слова Плеханова, что, может быть, Лабриола неточно выразился, но все же эти мысли его дают широкую возможность каким-угодно толкованиям.

В конце письма Лабриола все же дает классическую марксистскую формулировку теории познания: «все познаваемое может быть познано и все познаваемое, в будущем, действительно будет познано...» (p. 108) [1]); вместе с тем он тонко выявляет внутреннюю непоследовательность философий Гартмана, Спенсера («au fond de phraséologie de Spenser se cache le dieu du catéchisme») и других учений о «непознаваемом».

В VII письме Лабриола в порядке анализа вопроса об отношении марксизма к другим философским и социологическим системам перепечатывает свой ответ на статью итальянского социолога Ант. де-Белла (Ant. de-Bella) «Антинаучный социализм»; ответ этот в виде письма к Турати был напечатан в «Critica sociale» VII—12, 1897, под названием «Марксизм, дарвинизм...». Де-Белла принадлежит к тем критикам марксизма, которые стремятся дополнить его тем, что «или в нем подразумевается, или является его противоположностью» (p. 114). Письмо это, богатое автобиографическими данными, уже не раз привлекалось мною раньше. Здесь Лабриола решительно выступает за свободу научного мировоззрения, но делает это в силу своего темперамента так, что можно допустить нежелательные для него толкования: «я признаю за товарищами право, в известной степени и в определенных условиях, быть строгими и даже

[1]) Далее на стр. 125 он дает еще более точную формулировку, к сожалению, несколько испорченную последней фразой—„...люди познают все, что им нужно, и все, что им полезно знать".

нетерпимыми во всем, что относится к политической работе партии. Но признать за ними право третейских судей в вопросах науки... и только потому, что они—товарищи... нет! Вопросы науки никогда, даже в будущем обществе, не будут решаться баллотировкой!» (p. 117—118). Это положение в такой формулировке неприемлемо, так как дает возможность вне-партийного исповедания научных систем. В дальнейшем Лабриола со свойственным ему мастерством анализирует системы Ницше, Гартмана, Дарвина, возврат к Канту, Конту, к Спинозе, особенно Спенсеру, подробно излагая всю его философско-научную деятельность («то бессознательного кантианца, то карикатуры на Гегеля») [1].

Следующее (VIII) письмо продолжает рассуждения VI; в нем Лабриола анализирует сущность эмоций, затрудняющих научное познание. Здесь Лабриола в первую очередь рассматривает оптимизм и пессимизм, которые состоят в «обобщении аффективных чувствований, являющихся результатом известного жизненного опыта или определенного социального положения, и распространения их за пределы нашей непосредственной жизни с тем, чтобы создать из них ось, основание и цель вселенной. Благодаря этому, категории добра и зла... становятся своего рода критерием для суждения о всем мире, представление о котором настолько суживается, что он кажется лишь простой предпосылкой, простым условием нашего счастья или несчастья» (p. 132). В этом Лабриола видит ключ к пониманию религиозных систем и философий, типа Лейбница, Леопарди и Шопенгауэра. Эта антитеза оптимизма и пессимизма исключается в историческом материализме», потому что он, «включая себя, переходит их границы» (p. 135). Здесь же развертывается марксистское учение об относительности понятий добра и зла и излагаются принципы марксистской морали. Письмо заканчивается еще одним примером недиалектического способа мышления—анализом криминальной антропологии, часто впадающей в метафизику; попутно здесь дается изящный анализ истории правовых теорий и метафизических построений, встречающихся в психологии и психиатрии.

IX письмо целиком посвящено материалистическому истолкованию происхождения и развития христианства, сущность каковой работы Лабриола видит в коррективах и дополнениях к работам Тюбингенской школы: главным из этих коррективов должна явиться социологическая история христианской общины и среды, в которой она развивалась. Письмо это представляет собою не только ряд методологических указаний, но и целый, хотя и очень краткий, конспект истории христианства от его происхождения и кончая реформационным движением XVI века [2]). Особенную ценность имеют указания на анализ сложных процессов (p. p. 161 sv.; р. перевод. стр. 41—42), на специфические затруднения в анализе идеологии прошлого (p.p. 163 sv.; стр. 43—45), особенно вопроса о так наз. «истинном христианстве». Письмо это вполне заслуженно должно занимать первое

---

[1]) Ср. блестящую характеристику Спенсера на стр. 127, которую мы опускаем за ее обширностью (23 строки).

[2]) Мимоходом Лабриола упоминает (p. 174), что в 1896/97 г. он читает курс истории Северной Италии в XII—XIII в. в.

место после известной статьи Энгельса и, несомненно, значительно **выше** в методологическом отношении работы **Каутского**.

В последнем (X) письме Лабриола, после нескольких автобиографических замечаний, отвечает на вопрос Сореля: «возможно ли, действительно, просто и без обиняков, изложить, что такое диалектика», говоря, «что понятие диалектики недоступно пониманию чистых эмпириков, отживших свой век метафизиков и... последователей вульгарного эволюционизма» (p. 187—188); он здесь дает краткую формулировку, отсылая за подробностями к «Антидюрингу» и останавливаясь лишь на возможности проявления схоластики в рассуждениях плохих «марксистов». Важно здесь отметить ценное указание Лабриолы на правильную постановку способов преподавания в высшей школе в связи с задачей развития у молодежи приемов диалектического мышления (p. 190—191) («En renvoyant à l'Antidühring... je ne veux point, par là, renvoyer à un catéchisme, mais seulement à un exemple d'habileté didactique»). Далее идет характеристика Италии 1880—1890 годов [1]), материал, которой мною уже был использован выше. Письмо заканчивается блестящим по своей убежденности очерком современного положения, подтверждающего «предвидение» марксизма и неуклонно приближающего то время, «когда пролетариат станет преобладающим, а затем и политически господствующим классом общества» (p. 204).

К французскому изданию писем к Сорелю приложено еще XI-е письмо, датированное 10 сентября 1898 г. (X—15 сентября 1897 года), в котором Лабриола останавливается на критическом походе против марксизма, начатом Сорелем и Б. Кроче, о первом он говорит кратко, решительно отмежевываясь от ненужных плодов его кропотливого труда (élucubrations), а о втором значительно подробнее, в связи с его статьей «К вопросу об истолковании и критике некоторых положений марксизма» (Napoli, 1897, русский перевод в названном сборнике, стр. 97 след.), посвященной итальянскому изданию «Писем». Общая оценка этой статьи дается Лабриолой в следующих словах: «она... на ряду с многими полезными замечаниями по исторической методологии и несколькими проницательными указаниями о политической тактике, содержит теоретические положения, которые или не имеют ничего общего с моими высказываниями, устными и письменными, или даже **диаметрально противоположны им**» (p. 208—209) [2]). Лабриола, решительно опровергнув воздвигнутые на него Кроче обвинения в схоластике, переходит к его построениям в области политической экономии, доказывая, что Кроче, выдвигая «чистую экономику», на самом деле является сторонником гедонистского направления, представляющем собою лишь ветвь австрийской школы. Нападки Кроче на критику этого направления, данного Лабриолой в его

[1]) Характеристика эта сопровождается указанием на методологические трудности изучения современности, при этом Лабриола ссылается на свой курс 1897/98 г.г. „Падение старого режима“ — „чтобы об'яснить, почему развитие капиталистического общества во Франции происходило путем **катастроф**, я должен был указать характерные черты того, что мы называем современным обществом“ (p. 195, note). К сожалению, ни одного курса университетских лекций Лабриолы („Генезис современного социализма“, „Всеобщая история социализма“ и др.) **не издано**.

[2]) Ср. оценку экономических изысканий Кроче в вышеуказанной статье Г. В. Плеханова.

VI письме, лишний раз подчеркивают, что сам Кроче идет даже дальше, чем крупнейший представитель гедонического направления—Панталеони. Кроче абсолютно ничего не понял ни в методе, ни в теоретических построениях Маркса, предлагаемые же им коррективы к Марксу—вроде углубления психологического анализа экономических проблем, поисков какого-то еще социалистического об'яснения прибыли на капитал (русский перевод, стр. 130)—просто абсурдны. Специально же экономические рассуждения Кроче Лабриола разобрал в статье «Ancora la teoria marxistica del valore», в «Giornale degli Economisti» 1898, ott.

Этим письмом Лабриола начинает свою решительную и резкую борьбу с критиками марксизма и глашатаями так называемого «кризиса марксизма». В мае 1899 года он печатает сразу две статьи, одну—против Массарика, другую против Бернштейна.

Статья против Бернштейна представляет собою небольшое письмо (от 15 апреля 1899 года) Лагарделю, известному деятелю французского синдикализма, опубликованное в «Le Mouvement Socialiste» 1899, t. I, p. p. 453—458 под заглавием «A propos du Livre du Bernstein»; высказанные в нем соображения характерны как первое впечатление от книги Бернштейна и как оценка всего реформистского движения в целом. Лабриола начинает с утверждения, что, по его мнению, «вокруг идей и имени Бернштейна в Германии не вырастет никакого нового течения, никакого нового движения» и что немецкая социал-демократия «выйдет из этой дискуссии еще более крепкой и с еще большим сознанием своих сил». Книга Бернштейна, выросшая на почве германской социал-демократии и обращенная к ней, практически останется местным явлением,—ни во Франции, ни в Италии социалистические партии не примут участия в дискуссии, потому что у них много своих более важных дел, особенно у последней, так как она прежде всего должна бороться за свое существование (Лабриола говорит еще категоричнее: «ce parti ne traversera aucune crise»). Но, несмотря на это, все же борьба с идеями Бернштейна необходима, ведь его «книга представляет собою целую реформу социализма»: на дискуссию ставятся заново основные пункты системы: теория ценности, диалектика, исторический материализм, учение о классовой борьбе, теория крушения, учение о будущем обществе («книга эта имеет главный недостаток в том, что она слишком энциклопедична» [1]), Лабриола стоит за дискуссию, особенно необходимую в латинских странах, где еще далеко не изжиты течения как реформистские, так и анархо-бунтарские [2], поэтому-то и нужно дискуссировать, анализировать, биться шаг за шагом: борьба необходима» и необходима имен-

[1]) Каутский в своей книге против Бернштейна („К критике теории и практике марксизма“ („Анти-бернштейн“), русский перевод, М. 1922, стр. 10) пишет также—„если бы книга Бернштейна взяла на себя меньшее, она бы только выиграла... Антонио Лабриола справедливо замечает, что даже с чисто формальной точки зрения книга Бернштейна страдает крупным недостатком,—слишком большой энциклопедичностью...“.

[2]) Ср., например, такие суждения: „пролетариат два раза, в 1896 и 1898 г.г., не воспользовался случаем для учреждения демократической республики в Италии“—Артуро Лабриола. „Реформизм и синдикализм“, русский перевод, 1907, стр. 19, примеч.

но потому, что книга Бернштейна все же симптом, правда, не того, что обыкновенно называют и ищут—симптом кризиса социализма, а другого—ведь сам по себе «кризис марксизма есть не что иное, как симптом очень простого и вполне понятного факта: одни уходят, другие садятся на дороге»; идущее вперед движение отсеивает от себя всех, кому не под силу за ним успевать, но этот процесс отсеивания, утверждает Лабриола, не коснется основы социалистического движения—пролетариата; утопически настроенные люди, видя столкновение их пылких надежд с суровыми препятствиями, останавливаются на полпути или уходят совсем,—только одни пролетарии способны на длительную борьбу.

Вот в общих чертах содержание этого письма; ясно, что здесь еще нет достаточно правильного проникновения в сущность «бернштейнианства»; Лабриола противоречит сам себе, то недооценивая это течение утверждением, что оно останется только об'ектом легкой узко-немецкой дискуссии, то подходя к правильной оценке его; само собою напрашивается вывод, что в это время Лабриола еще сам не составил окончательного суждения, но уже характерно для него то, что, даже считая бернштейнство делом узкого круга людей—интеллигентов, он стоит за решительную борьбу с ней.

В статье против Массарика—«К кризису марксизма» (первонач. в «Rivista italiana di Sociologia» 1899, III, mai; отд. изд. 1899 г.; нем. перев. с датой 18 июня 1899 г. в «Neue Zeit» 1899—1900, XIX Jg., I B., 68—80; франц. перев. при 2-м французском издании «Essais», Paris 1902, русский перевод с немецкого брошюрой «К кризису марксизма» (изд. Горской, Киев 1906, 24 стр.) разбирается известная его книга и газетные статьи о «Кризисе» (сборник, Wien 1893). Лабриола пишет, что главным недостатком широко задуманной книги Массарика («в которой речь идет о бесконечно многих вещах») является совершеннейшее отсутствие в ней «реального, положительного и жизненного». Характерна сама его постановка вопроса о «кризисе: «Не является ли главной обязанностью каждого, кто берется обсуждать основы марксизма, быть в состоянии самостоятельно, на основании фактов, ответить на следующий вопрос: верит ли он или нет в возможность общественного переворота, благодаря которому исчезнут причины и последствия классовой борьбы. По сравнению с этой всеобщей проблемой пути и способы перехода к этому будущему... состоянию действительно имеют второстепенное значение»—говорит Лабриола. Массарик—доктринер, академик, чистейший идеалист, он представляет тот род критики, который стоит очень далеко от практической повседневной борьбы и поэтому всегда остается внутренно бессильной; Массарик «только может ходить вокруг и около марксизма, но никогда не постигнет его сущности: концепции исторического развития под углом зрения пролетарской революции». В Массарике перед нами выступает филистер с обширнейшими книжными познаниями и полным отсутствием понимания живой души учения. В основе критики, строящейся Массариком, лежит избитая теория факторов, да и то крайне туманно выраженная—автор сам нередко противоречит своим же суждениям. В своих экономических построениях критик превращается в апологета капитализма, воззрения же его на религию, право,

государство, мораль—просто ребяческие рассуждения. Он взывает к позитивизму, служа марксизму отходную во имя последнего, но он скрывает это, затушевывает, хотя все же ему не удается скрыть того, что в нем «есть еще нечто от священника, который создает бога, чтобы ему поклониться». Книга Массарика ничем не обогащает марксизм, но и нисколько не разрушает.

В конце статьи Лабриола ставит вопрос, чем объясняются эти разговоры о «кризисе» марксизма, и отвечает так: «Социализм... теперь стоит перед следующей трудной и сложной проблемой: в равной мере остерегаться и тщетных попыток романтических... революций... и политики приспособления и прилаживания, которая привела бы его, со всеми его уступками, к исчезновению в эластичном организме буржуазного мира... Желание, ожидание, надежда на это приспособление социализма и привели в столь короткое время так много защитников современного общественного строя к тому, что обыденной партийной полемике было придано необычайное значение и рядовой книге Бернштейна такой вес, что она одним взмахом оказалась вознесенной на степень исторического симптома» (немецкое издание, S. 80)[1].

Как видим, книга Массарика оценена Лабриолой правильно, правильно указано и ее место в походе на марксизм, но здесь важно отметить постановку вопроса, в которой Лабриола становится перед нами полностью, как революционный марксист.

В 1900-х годах итальянская соц. партия в ее большинстве докатилась до парламентского одобрения ловкого демагогического министерства Цанарделли - Джолитти (резолюция Э. Ферри). В то время как временно спавшая волна рабоче-крестьянского движения вновь достигла громадных размеров (в течение только 17 дней мая - июня 1901 года вспыхнуло 511 стачек с участием почти 600.000 человек), в 1902 году партия спасла министерство, раздавившее за месяц до того большие стачки железнодорожников, газовых рабочих и ряд крестьянских движений, пустив в ход войска[2]). На конгрессе в Имоле 1902 года реформисты собрали 456 голосов против 279, реформизм победил, но эта победа его, как верил Лабриола, только временная, пролетариат найдет свой правильный путь и поймет своих настоящих вождей.

В феврале 1904 года Лабриола скончался. В последующие годы из его обширного литературного наследства была издана статья «Юбилей социализма» («Il giubileo del socialismo»... «Critica sociale», 1905, V) и большой том под заглавием «Scritti varii di filosofia e di politica, editi e in editi, raccolti e pubblicati da Benedetto Croce» (Bari, Laterza, 1906), в котором напечатаны 32 произведения Лабриолы, начиная от книги против Целлера и «Сократа» и кончая рядом новых писем; наиболее ценным в этом сборнике является тонкий вдумчивый этюд «Da un secolo all'altro». К сожалению, этот этюд (заслуживающий особой статьи), взятый из рукописей Лабриолы, не закончен и не вполне

---

[1]) Ср. рецензию на эту же книгу Массарика Г. В. Плеханова „О книге Массарика" в „Заре" 1901 г., № 1, перепеч. в „Критике наших критиков", стр. 235—247. В этой же статье Лабриолы есть беглая критика Брентано и его школы.

[2]) „Ни при каком другом министерстве рабочие так часто не угощались ружейными залпами" — Артуро Лабриола, ук. соч., 229.

обработан; существует удачная попытка восстановить первоначальный текст, совершенная L. dal Pane («Da un secolo all'altro. Considerazione rettrospettive e presagi. Ricostruzione... Bologna 1925, 125 p.) [1].

Критическая литература о Лабриоле, как мы отмечали выше, обширна (ведь только один «Исторический материализм» его вызвал около 15 рецензий), но вся она, за небольшим исключением (статья Плеханова), слишком поверхностна и одностороння. Статьи Croce, Mondolfi, Fiorilli, Torre [2]), Untermann'a [3]), только намечают вехи настоящего изучения работ Лабриолы, и то вехи скудные, ибо в них Лабриола трактуется чаще всего как философ, но не как политик; даже последняя известная нам, сравнительно обширная, работа S. Diambrini-Palazzi («Il Pensiero filosofico di Antonio Labriola», con prefaz. di R. Mondolfo, Bologna, Zanichelli, 1922, 157 p.) немногим отличается от указанных, - детальная в освещении пути Лабриолы, как философа-мыслителя, она слишком часто сводится к пересказу его работ вместо анализа; крупнейшим же ее недостатком является игнорирование (замалчивание) громадной теоретической работы Лабриолы в обосновании и развитии марксизма (который сам автор книги знает очень плохо) и большой работы его в деле распространения идей революционного марксизма.

Лабриола - крупный теоретик революционного марксизма. Он один из славной плеяды борцов за ортодоксию в теории и в практике и он идейный вождь итальянского революционного марксизма должен быть изучен вдумчиво и тщательно. Затушеванный, искаженный реформистами облик его должен быть очищен, восстановлен в его истинном виде, и эта работа должна стать очередной в той громадной работе по истории марксизма, которая ведется у нас.

---

[1]) Stammhammer в своей известной „Bibliographie d. Socialismus u. Kommunismus", B. III. приписывает Антонио Лабриоле две брошюры Артура Лабриолы—„Riforme e rivoluzione sociale" и „Parlamentarismo e riformismo nel part. socialista".

[2]) „Le idee filosofiche di Ant. Labriola" и „Rifista ital. di Sociologia" 1906; «Antonio Labriola» в «Giornale d'Italia» 1904 г. перепечатана в «Scritti varii...», pp. 493—498.

[3]) Предисловие к английскому переводу «Социализм и философия», Чикаго 1907.

Абстрактный труд и стоимость в системе Маркса[1]).

И. Рубин [2]).

I.

Товарищи, я выбрал темой для своего доклада вопрос об абстрактном труде и стоимости по двум причинам. Во-первых, насколько мне известно, у вас в семинариях наиболее горячо обсуждались вопросы об абстрактном труде и форме и содержании стоимости,—поэтому я и решил построить свой доклад таким образом, чтобы остановиться более подробно на вопросе об абстрактном труде, но вместе с тем охватить также вопрос о стоимости, ее форме и содержании.

Вторая причина, побудившая меня избрать данную тему, заключается в том, что данный вопрос является центральным для всей марксовой теории стоимости. Ведь не даром мы эту теорию называем теорией трудовой стоимости. Одно это название уже показывает, что центральным вопросом этой теории является вопрос о соотношении между трудом и стоимостью. Что такое труд, образующий или определяющий стоимость, и что такое стоимость, образуемая или определяемая трудом,—таков центральный вопрос марксовой теории, который я и считаю нужным осветить в настоящем докладе.

Прежде, чем перейти к вопросу по существу, я хотел бы сделать краткие методологические замечания.

При помощи какого метода намерены мы подойти к решению поставленного вопроса? Маркс в своем «Введении к критике политической экономии» отметил, что экономическое исследование может вестись двумя методами: методом движения от конкретного к абстрактному и обратным методом движения от абстрактного к конкретному.

Первый метод, аналитический, заключается в том, что за исходный пункт нашего исследования мы берем сложное, конкретное явление и, оставляя в стороне множество его черт, выбираем только одну или некоторые его основные черты и, таким образом, от более конкретного понятия переходим к более абстрактному, более бедному, более тощему понятию, как говорит Маркс. Путем дальнейшего анализа мы от этого понятия передвигаемся к еще более бедному понятию, пока не доходим до наиболее абстрактных понятий в сфере данной науки или данного комплекса вопросов, который нас интересует.

---

1) В порядке обсуждения. *Ред.*

2) Исправленная стенограмма доклада, прочтанного на заседании Обще-Экономической Секции Института Экономики 31 мая и 7 июня 1927 г.

Чтобы дать пример, иллюстрирующий это, из области тех вопросов, которые мы всегда обсуждаем, я хочу напомнить вам соотношение следующих понятий. Марксова теория стоимости построена на следующих основных понятиях: абстрактный труд, стоимость, меновая стоимость, деньги. Если мы берем наиболее сложное и конкретное из этих понятий—деньги, и путем исследования понятия денег переходим потом к меновой стоимости, как к тому более общему понятию, которое лежит в основе денег; если мы после этого переходим от меновой стоимости к стоимости, а от стоимости—к абстрактному труду,—мы подвигаемся от более конкретного к более абстрактному понятию, т.-е. действуем методом аналитическим.

Но, говорит Маркс, аналитический метод, при всей необходимости пользования им на первой стадии научного исследования, сам по себе удовлетворить нас не может и должен быть дополнен другим методом. После того, как мы, путем анализа, свели сложное явление к его основным составным частям, мы должны теперь проделать обратный путь и, исходя из наиболее абстрактных понятий, показать, каким образом эти абстрактные понятия, развиваясь, приводят нас к более конкретным формам, более конкретным понятиям. Этот путь поступательного движения мысли от более бедных понятий к более богатым и сложным понятиям в нашем случае был бы путем движения от абстрактного труда к стоимости, от стоимости к меновой стоимости и от меновой стоимости к деньгам.

Этот метод Маркс в одном месте называет методом генетическим, потому что при помощи этого метода мы прослеживаем генезис и развитие более сложных форм. В других местах он называет его методом диалектическим. Условимся и мы называть первый метод аналитическим, а второй метод (включающий в себя как аналитический, так и синтетический методы)—диалектическим.

Маркс указывает, что единственным методом, наиболее удовлетворительно разрешающим вопросы науки, он считает метод диалектический. В согласии с этим указанием, мы должны интересующую нас проблему—вопрос об отношении труда к стоимости—подвергнуть исследованию не только при помощи метода аналитического, но и при помощи метода диалектического.

Маркс на многих примерах показывает нам, в какой мере недостаточен метод аналитический. Я приведу три примера.

Относительно теории стоимости Маркс говорит: «Правда, политическая экономия анализировала—хотя и недостаточно—стоимость и величину стоимости и раскрыла скрытое в этих формах содержание. Но она ни разу даже не поставила вопроса: почему это содержание принимает такую форму, другими словами, почему труд выражается в стоимости, а продолжительность труда, как его мера, в величине стоимости продукта труда» (Капитал, т. I. Русск. изд. 1923 г., стр. 47—48).

В другом месте, посвященном теории денег, Маркс говорит: Если уже в последние десятилетия XVII века далеко ушедший в своих зачатках анализ денег пришел к тому, что деньги суть товар, то все же это лишь начало анализа. Трудность состоит не в том, чтобы понять, что деньги товар, а в том, чтобы выяснить, как и почему товар становится деньгами». (Там же, стр. 60). Здесь, как видите, опять метод диалектический отличается от метода аналитического.

И, наконец, еще в одном месте Маркс, говоря о религии, повторяет неоднократно выражавшуюся им мысль, о том, что «конечно, много легче посредством анализа найти земное ядро причудливых религиозных представлений, чем, наоборот, из данных отношений реальной жизни вывести соответствующие им религиозные формы. Последний метод есть единственно материалистический, а следовательно, научный метод» (Там же, стр. 349).

В соответствии с этими указаниями Маркса мы должны решать нашу проблему следующим образом.

Наша задача заключается не только в том, чтобы показать, что стоимость продукта сводится к труду. Мы должны показать и обратное. Мы должны обнаружить, каким образом трудовые отношения людей находят свое выражение в стоимости.

Именно такова основная постановка вопроса, методологически наиболее правильная с точки зрения Маркса.

Если мы ставим вопрос таким образом, мы исходным пунктом исследования берем понятие труда, а не понятие стоимости, мы определяем понятие труда таким образом, чтобы из него вытекало и понятие стоимости.

Это методологическое требование уже дает нам указания на счет правильного определения понятия труда.

Понятие труда должно быть определено нами таким образом, чтобы в нем уже заключались признаки социальной организации труда,—признаки, из которых вытекает форма стоимости, присущая продуктам труда. Никакое понятие труда, из которого не вытекает понятие стоимости, в частности понятие труда в физиологическом смысле, т.-е. понятие труда, лишенное признаков характерной для него социальной организации в товарном хозяйстве, не может привести нас к той цели, которая стоит перед нами с точки зрения метода диалектического.

В дальнейшем я постараюсь показать, что разногласия между социологическим пониманием абстрактного труда и физиологическим пониманием абстрактного труда отчасти сводится именно к различию этих двух методов, диалектического и аналитического. Если с точки зрения аналитического метода можно еще с большим или меньшим успехом отстаивать физиологическое понимание абстрактного труда, то с точки зрения диалектического метода это понятие труда заранее обречено на неудачу, ибо из понятия труда в физиологическом смысле вы никакого представления о стоимости, как о необходимой социальной форме продуктов труда, вывести не можете.

Итак, мы должны определить труд таким образом, чтобы из него—из труда—и его социальной организации для нас стала бы понятна вся необходимость стоимости, как основной социальной формы, принимаемой продуктами труда в товарном хозяйстве, и стали бы понятны законы движения стоимости.

Переходя теперь к анализу труда, мы, прежде всего, начнем с наиболее простого его понятия, с понятия труда конкретного или полезного.

Труд конкретный рассматривается Марксом, как труд в его полезном действии, труд, доставляющий продукты, необходимые для удовлетворения человеческих потребностей. Труд, рассматриваемый с этой материально-технической стороны, и составляет конкретный труд.

Само собой понятно, что пока речь идет об отдельном индивиде, о Робинзоне, который противостоит природе, его конкретный труд нас нимало не интересует, ибо предметом нашей науки является не хозяйство отдельного индивида, а хозяйство общественное, хозяйство целой группы лиц, ведущееся на основе известного общественного разделения труда. Система общественного разделения труда и есть совокупность различных конкретных видов труда, об'единенных в одну известную систему и материально дополняющих друг друга.

Итак, от конкретного труда вообще мы перешли теперь к системе общественного разделения труда, как к совокупности различных конкретных видов труда.

На понятии общественного разделения труда нам придется остановиться несколько подробнее, так как оно играет центральную роль для понимания всей марксовой теории стоимости.

Маркс говорит, что система общественного разделения труда бывает двояка, как он называет ее—система, опосредственная обменом, и система, не нуждающаяся в таком опосредствовании обменом, напр., натуральное хозяйство большой семейной общины, социалистической общины и т. д.

Мы сперва остановимся на системе организованного общественного разделения труда, построенной без помощи обмена.

Поскольку речь идет об организованной системе общественного разделения труда, мы имеем перед собой не только конкретный, материально-технический труд, но имеем уже и труд общественный. У Маркса понятие общественного разделения труда стоит на грани между понятием конкретного полезного труда и между понятием общественного труда, общественного хозяйства. С одной стороны, Маркс в самом начале раздела о двояком характере труда (Капитал, т. I, гл. 1, разд. 2), рассматривает общественное разделение труда, как совокупность конкретных видов труда. В других же местах своей книги, в частности в главе о мануфактуре (гл. 12, разд. 4), он рассматривает систему общественного разделения труда с точки зрения характеризующих ее производственных отношений людей. В организованном хозяйстве эти отношения людей сравнительно простые и прозрачные,—труд получает непосредственно общественную форму, т.-е. существуют известная общественная организация и определенные общественные органы, которые распределяют труд между отдельными членами общества, при чем труд каждого лица непосредственно входит в общественное хозяйство, как конкретный труд со всеми своими конкретными материальными особенностями. Труд каждого лица является общественным именно потому, что он отличается от труда других членов общества и является материальным дополнением к ним. Труд в его конкретном виде является непосредственно трудом общественным. Вместе с тем он является и трудом распределенным. Ведь сама общественная организация труда и состоит в том, что труд распределяется между различными членами общества, и обратно, распределение труда является актом какого-нибудь общественного органа. Труд является одновременно общественным и распределенным, при чем обоими этими признаками он обладает в своей материально-технической конкретной или полезной форме.

Теперь поставим следующий вопрос: является ли труд в организованной общине также и социально уравненным: встречаем ли

мы в такой общине социальный процесс, который можно было бы назвать процессом социального уравнения труда?

По этому вопросу существуют различные мнения. Некоторые экономисты утверждают, что в любой хозяйственной общине, основанной на разделении труда, всегда существовало социальное уравнение труда и существовало именно в такой форме, которая по существу не отличается от уравнения труда в товарном хозяйстве.

Противоположный взгляд высказывают некоторые экономисты, которые говорят, что процесс социального уравнения труда является процессом, присущим только товарному хозяйству и не имеющим места ни при какой другой форме хозяйства. В частности эти экономисты отрицают возможность и необходимость социального приравнивания труда в социалистическом хозяйстве.

Я в своей книге высказал среднее мнение: я указал, что всякое хозяйство, основанное на общественном разделении труда, прибегает в той или иной мере и в той или иной форме к социальному приравниванию труда различных видов и различных индивидов; но вместе с тем я указал, что в товарном хозяйстве это приравнивание труда приобретает совершенно особую социальную форму и дает поэтому место для появления совершенно новой категории абстрактного труда. Я думаю, что именно так смотрел на данный вопрос Маркс, хотя прямых высказываний его на этот счет мы не имеем. Мне известно наиболее прямое высказывание Маркса, которое относится еще к первому изданию «Капитала». Там Маркс говорит: «При каждой общественной форме труда труд различных индивидов отнесен так же друг к другу, как человеческий труд, но здесь (т.-е. в товарном хозяйстве). само это отношение является специфической общественной формой труда». (Kapital, B. I, 1867, S. 32).

Конец фразы мы разберем позже, но пока я хочу лишь отметить, что, повидимому, по мнению Маркса, при каждой общественной форме труда труд различных индивидов отнесен друг к другу, как человеческий труд. Правда, крайние сторонники физиологической версии могли бы утверждать, что Маркс имеет здесь в виду лишь физиологическое равенство разных работ, но такое толкование кажется мне большой натяжкой. Как прямой смысл данной фразы, которая говорит об «общественной форме труда», так и сопоставление ее со многими другими местами из «Капитала» показывают, что Маркс имеет здесь в виду процесс социального уравнения труда.

В приведенную формулу, согласно которой при любой общественной форме хозяйства имеет место социальное уравнение труда, я считал бы нужным внести некоторое ограничение.

Я считаю, что, скажем, в первобытной семье, где труд разделен между мужчинами и женщинами и фиксирован за представителями каждого пола, при чем переход от занятий мужских к женским не существует и даже запрещен, процесс социального уравнения труда не может иметь места, хотя бы даже в самых зачаточных формах. Кроме того, в таких общественных организациях, которые были построены на крайнем неравенстве различных социальных групп (напр., на рабстве), социальное приравнивание труда могло иметь место только для членов данной социальной группы (напр., для рабов или для данной категории рабов).

в таком обществе даже понятие труда как такового, как общечеловеческой функции, не могло быть выработано.

Итак, поскольку мы оставляет в стороне те социальные организации, которые были основаны на крайнем неравенстве полов или отдельных групп, и имеем в виду большую общину с разделенным трудом, напр., в роде большой семейной задруги у южных славян, я думаю, что процесс социального приравнивания труда был необходим. Тем более будет необходим такой процесс в большой социалистической общине. Но процесс этого приравнивания труда в организованной общине отличается коренным образом от того приравнивания, которое происходит в товарном хозяйстве. Действительно, представим себе какую-нибудь социалистическую общину, где труд распределен между членами общества. Определенный общественный орган приравнивает друг другу труд различных видов и индивидов, ибо без этого ни один хозяйственный план не может быть осуществлен. Но в такой общине процесс уравнения труда является второстепенным и дополнительным к процессу обобществления и распределения труда. Труд является прежде всего общественным и распределенным трудом; в качестве производного и добавочного признака сюда может входить также признак социально-уравненного труда. Основная характеристика труда является характеристикой его, как общественного и распределенного труда, а дополнительным признаком является признак социально-уравненного труда.

Здесь я уже воспользуюсь случаем, чтобы сказать, что мне представлялось бы полезным для более ясного обсуждения интересующих нас вопросов строго отличать друг от друга следующие три понятия равного труда:

1) физиологически-равный труд,

2) социально-уравненный труд и

3) тот абстрактный труд, который фигурирует у Маркса, или, еще лучше, абстрактно-всеобщий труд (термин, который Маркс употребляет в «Критике»).

Физиологическая однородность разных видов труда существовала во все исторические эпохи и, создавая возможность перехода индивидов от одних занятий к другим, является предпосылкою всякого общественного разделения труда. Социально-уравненный труд характерен для всех систем общественного разделения труда, где происходит процесс социального приравнивания труда, т.-е. не только для товарного хозяйства, но, например, и для социалистической общины. Наконец, третье понятие труда, как абстрактно-всеобщего, характерно только для товарного хозяйства. На этом понятии мы еще остановимся ниже; до сих пор мы имели в виду второе понятие труда, как социально-уравненного и распределенного.

Посмотрим теперь, какие изменения в организации труда произойдут в нашей общине, если мы представим ее себе не в виде организованного целого, а в виде сочетания отдельных хозяйств частных товаропроизводителей, т.-е. в виде товарного хозяйства.

В товарном хозяйстве мы также найдем перечисленные выше социальные признаки труда, которые были нами раньше прослежены в организованной общине; и здесь мы увидим труд общественный, труд распределенный и труд социально-уравненный, но все эти процессы обобществления, уравнения и распределения

труда происходят совершенно в другой форме. Взаимное сочетание трех перечисленных признаков уже совершенно иное, и прежде всего потому, что в товарном хозяйстве отсутствует непосредственная общественная организация труда, и труд не является непосредственно общественным.

В товарном хозяйстве труд отдельного индивида, отдельного частного товаропроизводителя не регулируется непосредственно обществом и как таковой, в своем конкретном виде, еще не входит в общественное хозяйство. Труд становится общественным в товарном хозяйстве только таким образом, что он приобретает признак социально-уравненного труда, а именно труд каждого товаропроизводителя становится общественным лишь благодаря тому, что продукт его приравнивается к продуктам всех других товаропроизводителей, и тем самым труд данного индивида приравнивается труду всех других членов общества и всем другим видам труда. Другого признака для определения общественного характера труда в товарном хозяйстве не имеется. Здесь не существует заранее начертанного плана обобществления и распределения труда, и единственным признаком того, что труд данного индивида включается в общественную систему хозяйства, является обмен продукта данного труда на все другие продукты.

Итак, в товарном хозяйстве, по сравнению с социалистической общиной, признак общественного и признак социально-равного или уравненного труда поменялись местами. Раньше характеристика труда, как равного или уравненного, была результатом производного процесса, производного акта общественного органа, который обобществлял и распределял труд. Теперь труд становится общественным только в той форме, что он становится равным всем другим видам труда, становится социально-уравненным.

Приведу вам только несколько цитат из Маркса, подтверждающих сказанное.

Наиболее яркое место вы найдете в «Критике», где Маркс говорит, что труд «становится общественным лишь благодаря тому, что он принимает форму абстрактной всеобщности», т.-е. форму приравнения всем другим видам труда (Kritik, 1907, S. 10). «Абстрактный и в этой форме общественный труд»,—этими словами Маркс часто характеризует социальную форму труда в товарном хозяйстве. Напомню вам также известную фразу из «Капитала» о том, что в товарном хозяйстве «специфически общественный характер независимых друг от друга частных работ состоит в их равенстве как человеческого труда вообще» (Капитал, русск. изд. 1923 г., стр. 42).

Итак, в товарном хозяйстве центр тяжести социальной характеристики труда передвинулся с признака обобществленного труда на признак равного или социально-уравненного труда, уравненного через уравнение продуктов труда. Понятие равенства труда играет такую центральную роль в марксовой теории стоимости именно потому, что в товарном хозяйстве труд только в качестве равного и становится общественным.

Подобно тому, как из признака равенства труда в товарном хозяйстве вытекает признак общественного труда, точно так же из него вытекает и признак распределенного труда. Распределение труда в товарном хозяйстве состоит не в сознательном распределении его сообразно определенным выявленным заранее

потребностям, а регулируется принципом равной выгодности производства. Распределение труда между отдельными отраслями производства происходит таким образом, чтобы во всех отраслях производства товаропроизводители при помощи затраты равного количества труда получали равную сумму стоимости.

Мы перечислили три признака труда—общественного, социально-уравненного и распределенного, которые присущи труду и в организованной социалистической общине, но совершенно изменили свой характер и взаимное сочетание в товарном хозяйстве. Здесь перечисленные три признака труда являются основой, на которой вырастают три стороны стоимости. Маркс рассматривает стоимость как единство формы, субстанции и величины стоимости (Wertform, Wertsubstanz, Wertgrösse). «Решающий важный пункт заключался в том, чтобы открыть необходимую внутреннюю связь между формою, субстанцией и величиной стоимости» (Kapital, B. I, 1867, S. 34). Единство формы, субстанции и величины стоимости является отражением единства труда, как общественного, социально-уравненного и количественно распределенного. В товарном хозяйстве производственно-трудовые отношения людей «овеществляются», и общественные признаки труда принимают форму «вещных» свойств продуктов труда. «Форма стоимости» есть общественная форма продуктов труда, отражающая своеобразный общественный характер труда в товарном хозяйстве. «Субстанцию стоимости» составляет социально-равный труд. Наконец, «величина стоимости» является выражением общественного распределения труда, точнее, количественной стороны этого процесса распределения труда.

Предложенная нами троякая характеристика труда помогает нам уяснить себе ту связь, которая в марксовой системе существует между формой, субстанцией и величиной стоимости. В частности это тройное деление очень многое выясняет в построении раздела Маркса о «товарном фетишизме».

Разрешите мне прочесть из второго абзаца этого раздела:

«Во-первых, как бы различны ни были отдельные виды полезного труда или производительной деятельности, с физиологической стороны они во всяком случае являются функциями человеческого организма, и каждая такая функция, каково бы ни было ее содержание и форма, является по существу своему тратой человеческого мозга, мускулов, нервов, органов чувств и т. д. Во-вторых, то, что лежит в основе определения величины стоимости, а именно продолжительность таких затрат или количество труда, уже непосредственно, осязательно отличается от качества труда... Наконец, раз люди так или иначе работают друг на друга, их труд получает тем самым общественную форму». (Kapital, B. I, 1914, S. 35. Русск. изд. 1923 г., стр. 39).

В цитированных трех пунктах Маркс указывает, что не только в товарном хозяйстве, но и при других формах хозяйства мы можем отметить три признака труда, как общественного, равного и количественно распределенного.

Но,—говорит Маркс,—откуда же вытекает загадочный характер продуктов труда, как товаров? И он отвечает:—именно из этой самой товарной формы, в которой все три перечисленные признака труда уже преобразованы и «овеществлены» в стоимости продуктов труда. «Равенство различных человеческих работ приобретает вещную форму равной стоимости продуктов труда; измерение за-

трат человеческой рабочей силы их продолжительностью получает форму величины стоимости продуктов труда; наконец, те отношения производителей, в которых проявляются эти общественные определения их труда, получают форму общественного отношения продуктов труда». (Там же). В этих трех пунктах у Маркса идет уже речь о субстанции, величине и форме стоимости. Особенно ясно можно проследить ход мыслей Маркса в первом издании «Капитала», где сейчас же после цитированных трех фраз идет целая страница о субстанции, величине и форме стоимости. Во втором издании эти рассуждения относительно субстанции, величины и формы стоимости Марксом как будто устранены, но на самом деле они только перенесены дальше. Три больших абзаца, которые Маркс предпосылает анализу различных типов хозяйства (хозяйства Робинзона, средневековья и т. д.), посвящены субстанции, величине и форме стоимости [1]).

Я прихожу к следующему выводу. Равный труд может означать прежде всего труд физиологически-равный, на котором мы долго не останавливались; далее, он может означать труд социально-уравненный, и такой труд мы имеем не только в товарном хозяйстве, но, скажем, и в социалистической общине и в другой большой общине, построенной на общественном разделении труда; и, наконец, мы имеем труд абстрактно-всеобщий, т.-е. труд социально-уравненный в специфической форме, присущей товарному хозяйству, труд, который только благодаря процессу социального уравнения становится трудом общественным и распределенным. Только этот социально-уравненный труд мы можем назвать трудом абстрактным или абстрактно-всеобщим. Следует сказать, что в «Критике политической экономии» Маркса можно заметить некоторые намеки на три вида уравнения труда: физиологическое уравнение, социальное уравнение вообще и социальное уравнение в товарном хозяйстве. Правда, вполне ясного различия Маркс не проводит, но все-таки следует отметить, что он различает три термина—человеческий труд, равный труд и абстрактно-всеобщий труд. Я не утверждаю, что эти три термина вполне совпадают с тем, что я раньше характеризовал, как физиологически равный труд, социально уравненный труд и абстрактный труд, но все-таки некоторые точки соприкосновения имеются.

Таким образом мы, при обсуждении проблемы абстрактного труда, не только не в праве останавливаться на предварительной характеристике труда как физиологически равного, но мы даже не в праве останавливаться на характеристике труда, как социально уравненного. Мы должны перейти от этих двух характеристик к третьей характеристике, рассмотреть ту специфическую форму уравненного труда, которая присуща только товарному хозяйству, т.-е. системе общественного разделения труда, основанной на обмене.

Следовательно, ошибку делают не только сторонники физиологического понимания абстрактного труда, но ошибку делают,

---

[1]) Субстанции стоимости посвящен абзац, начинающийся словами: «следовательно, люди сопоставляют друг с другом продукты своего труда, как стоимости, не потому, что эти вещи являются для них лишь вещественными оболочками» и.т. д. (стр. 41—42 русск. изд. 1923 г.). Следующий абзац посвящен величине стоимости, а дальнейший—форме стоимости.

по-моему, и те товарищи, которые под абстрактным трудом понимают вообще социально-уравненный труд, независимо от специфической социальной формы, в которой это уравнение происходит.

Необходимо добавить, что эти два понятия труда, а именно физиологически-равного и социально-уравненного, очень часто друг с другом путаются и не достаточно ясно отличаются друг от друга. Понятие абстрактно-всеобщего труда предполагает, конечно, и физиологическое равенство и социальное уравнение труда, но, кроме этих двух признаков, оно предполагает социальное уравнение в той специфической его форме, которую оно имеет в товарном хозяйстве.

Что грубую ошибку против Маркса делают сторонники физиологического понимания абстрактного труда, можно доказать многими цитатами из Маркса; я хочу прочесть вам только одну цитату, в высшей степени характерную. Маркс в краткой характеристике взглядов Франклина говорит, что Франклин бессознательно для себя свел все виды труда к одному, не интересуясь, есть ли это труд сапожника, портного и т. д. Франклин считает, что стоимость «определяется абстрактным трудом, который не имеет никаких качеств и поэтому измеряется только по своему количеству» (Kritik, S. 38). Франклину был известен абстрактный труд, но,—прибавляет Маркс,—«так как он не развил понятие труда, содержащегося в стоимости, как абстрактно-всеобщего труда, как общественного труда, проистекающего из всестороннего отчуждения индивидуального труда, то он не мог понять деньги, как непосредственную форму существования этого отчужденного труда».

Вы видите, что Маркс здесь резко противопоставляет абстрактный труд абстрактно-всеобщему труду. Абстрактно-всеобщий труд, содержащийся в стоимости, есть труд, специфически присущий товарному хозяйству.

Я резюмирую следующим образом:

Если мы обсуждаем вопрос о соотношении между трудом и стоимостью не только с точки зрения аналитического метода, но и с точки зрения метода диалектического, то мы должны взять за исходный пункт понятие труда и из него развить понятие стоимости.

Если мы с вами пойдем путем аналитическим, если мы будем исходить из стоимости и спросим себя, что под этим понятием скрывается, то, пожалуй, мы можем сказать, что под стоимостью продуктов скрывается физиологически-равный труд или социально-уравненный труд, но оба эти ответа будут неудовлетворительны, так как от труда физиологически-равного или даже социально-уравненного перейти к стоимости мы никоим образом не сможем.

Для того, чтобы диалектически перейти от понятия труда к понятию стоимости, в понятие труда должны быть включены признаки, характеризующие социальную организацию труда в товарном хозяйстве и делающие необходимым появление стоимости, как особой социальной формы продуктов труда. Следовательно, что понятие абстрактно-всеобщего труда должно быть неизмеримо богаче не только понятия физиологического равенства труда, но и понятия социального уравнения труда вообще.

II.

От физиологически-равного труда мы перешли к социально-уравненному труду, от социально-уравненного труда—к абстрактно-всеобщему.

Мы обогащали наше определение труда новыми признаками на трех стадиях нашего исследования, и только тогда, когда мы перешли уже к третьей стадии и определили труд, как абстрактно-всеобщий, мы получили такое полное определение труда, из которого с необходимостью вытекает категория стоимости, только тогда мы получили возможность перейти от труда к стоимости.

Приблизительно мы могли бы определить абстрактный труд следующим образом: абстрактным трудом называется часть совокупного общественного труда, уравненная в процессе общественного распределения труда со всеми другими частями того же совокупного общественного труда через рыночное уравнение продуктов труда.

Приблизительно такое определение дано мною и в моей книге «Очерки по теории стоимости Маркса». Я считаю нужным добавить, что социальная природа абстрактного труда не ограничивается тем, что из этого понятия с необходимостью вытекает понятие стоимости; как я мимоходом указал уже в своей книге, понятие абстрактного труда необходимо приводит также к понятию денег, и с точки зрения Маркса это вполне последовательно. Действительно, мы определили абстрактный труд, как труд, который уравнен через всестороннее уравнение всех продуктов труда, но уравнение всех продуктов труда невозможно иначе, как через уравнение каждого из них всеобщему эквиваленту. Следовательно, продукт абстрактного труда обладает способностью быть уравненным со всеми другими продуктами лишь в той форме, что он является всеобщим эквивалентом, или может быть обменен на всеобщий эквивалент.

Что понятие абстрактного труда неразрывно связано у Маркса с понятием всеобщего эквивалента, вы можете особенно наглядно проследить в «Критике политической экономии». Здесь Маркс к исследованию абстрактного труда подходит следующим образом. Как и в «Капитале», он сперва исходит из товара или стоимости и аналитическим путем находит скрытый под стоимостью товара абстрактно-всеобщий труд (Kritik, стр. 3—4). После того, как Маркс от равенства стоимостей пришел путем анализа к равенству труда, он переходит к детальной социологической характеристике этого равного труда, «общественных определений» этого труда, того «специфического вида общественности», который присущ товарному хозяйству (стр. 7). В товарном хозяйстве общественный характер труда проявляется таким образом, что «труд отдельного лица принимает абстрактную форму всеобщности, или продукт его—форму всеобщего эквивалента» (стр. 9—10). «Рабочее время, как всеобщее рабочее время, выражается во всеобщем продукте, всеобщем эквиваленте» (стр. 8). «Труд отдельного лица, чтобы иметь своим результатом меновую стоимость, должен иметь своим результатом всеобщий эквивалент» (стр. 8).

Как видим, Маркс ставит категорию абстрактного труда в самую неразрывную связь с понятием всеобщего эквивалента или денег. Поэтому мы должны социальную характеристику абстракт-

ного труда вести еще дальше и глубже, не ограничиваясь указанием на то, что труд этот уравнивается через уравнение его продуктов. Мы должны еще прибавить, что труд становится абстрактным через уравнение его одному выделенному виду труда, или через уравнение его продукта одному всеобщему эквиваленту, который поэтому рассматривается Марксом как овеществление или материализация абстрактного труда.

Только с изложенной точки зрения нам открывается одна интересная параллель между Марксом и Гегелем в данном вопросе. Самый термин «абстрактно-всеобщий» напоминает, как вы знаете, Гегеля. У него абстрактно-всеобщее отличается от конкретно-всеобщего. Различие между ними сводится к тому, что конкретно-всеобщее есть всеобщее, не исключающее различия предметов, охватываемых им, в то время как абстрактно-всеобщее исключает такие различия.

Чтобы понять, почему именно Маркс называет уравненный труд товаропроизводителей абстрактно-всеобщим, сравним процесс уравнения труда в социалистической общине с процессом уравнения труда в товарном хозяйстве. Нам бросится в глаза следующее различие. Предположим, что какой-нибудь орган социалистической общины приравнивает друг другу различные виды труда. Что он при этом делает? Он берет все эти виды труда в их конкретной полезной форме, ибо именно в этой форме он их и связывает, но при этом он отвлекает от них одну сторону и говорит, что в данном отношении они друг другу равны. В этом случае равенство выступает, как признак этих конкретных видов труда, как признак, от них отвлеченный, но эта общая категория равенства не уничтожает их конкретного различия как полезных видов труда.

В товарном хозяйстве такое уравнение невозможно, ибо нет органа, сознательно уравнивающего эти виды труда. Труд прядильщика и труд ткача не могут быть уравнены друг с другом, пока они остаются конкретными полезными видами труда. Уравнение их друг с другом происходит лишь косвенным путем, через уравнение каждого из них третьему, выделенному виду труда, «абстрактно-всеобщему» труду (Ср. Kritik, стр. 8—9). Этот выделенный вид труда является «абстрактно-всеобщим» (а не конкретно-всеобщим) именно потому, что он не включает в себя различий разных конкретных видов труда, а исключает эти различия. Он противостоит всем конкретным видам труда, являясь их заместителем или представителем.

Что Маркс в данном случае имел в виду различие абстрактно-всеобщего и конкретно-всеобщего, которое намечено у Гегеля, мы можем очень ярко проследить по первому изданию «Капитала», где вообще следы гегелевской схемы и гегелевской терминологии гораздо ярче выступают, чем во втором издании. У Маркса есть один абзац, который гласит: «В выражении стоимости абстрактно-всеобщее выступает не как особенность конкретного, чувственно-действительного, но, наоборот, чувственно-конкретное выступает лишь как форма проявления или осуществления этого абстрактно-всеобщего... Это извращение, благодаря которому чувственно-конкретное выступает лишь как форма проявления абстрактно-всеобщего, а не, наоборот, абстрактно-всеобщее как особенность конкретного, характеризует выражение стои-

мости и делает его особенно трудным для понимания». (Kapital, B. I, 1867, S. 771).

В другом месте Маркс говорит: «Тут получается то же самое, как если бы на ряду с тиграми, львами, зайцами и всеми другими реальными животными, которые, соединяясь в группы, образуют различные роды, виды, подвиды, семейства и т. п. животного царства, существовало еще животное, как таковое, индивидуальное воплощение всего животного царства» (Там же, стр. 27).

Если мы расшифруем это выражение Маркса, то мы скажем, что, действительно, в товарном хозяйстве абстрактно-всеобщее выступает не как признак или как особенность конкретного, чувственно-действительного (т.-е. конкретных видов труда), ибо для того, чтобы отвлечь от этих конкретных видов труда известные общие черты, нужен был бы единый общественный орган, которого в товарном хозяйстве нет. Поэтому здесь конкретные виды труда уравниваются друг с другом не через отвлечение от них некоторых общих признаков, а через противопоставление и уравнение каждого из них с особым выделенным конкретным видом труда, который служит «формою проявления» всеобщего труда. Для того, чтобы конкретный труд стал всеобщим, всеобщий труд должен выступить в форме конкретного труда. «Рабочее время отдельного лица представляется как всеобщее рабочее время, или всеобщее рабочее время представляется как рабочее время отдельного лица» (Kritik, стр. 8).

Только в свете этих рассуждений Маркса, которые носят явные следы влияния Гегеля, вам станут понятны и упомянутые мною раньше места из «Критики», где Маркс говорит, что в товарном хозяйстве труд становится общественным лишь благодаря тому, что он принимает «форму абстрактной всеобщности».

Эта мысль Маркса имеет большое родство вообще со взглядами его на буржуазное общество. Уже в ранних работах Маркса, напр., в «Немецкой идеологии», вы найдете выражение той мысли, что в буржуазном обществе, где отсутствует центральная общественная организация хозяйства, представительство общественного интереса всегда переходит к какой-нибудь отдельной организации, к группе лиц, к отдельному классу. Отдельный общественный класс свои частные интересы об'являет интересами всего общества и своим идеям придает «форму всеобщности» (Form der Allgemeinheit). «Особенный интерес представляется в качестве всеобщего (allgemeines) и всеобщее—в качестве господствующего» (Marx—Engels, Archiv, B. I, S. 266, 267). Если мы сравним с этими выражениями слова Маркса в «Критике», что общественный труд принимает «абстрактную форму всеобщности» (abstrakte Form der Allgemeinheit), и что стоимость товаров принимает форму особенного, выделенного товара, денег,—глубокое идейное родство этих концепций бросается в глаза.

Теперь, чтобы закончить вопрос об абстрактном труде, мне остается только коснуться двух упреков, которые делались мне как в статье Дашковского («Под Знаменем Марксизма» 1926 г., № 6), так и различными товарищами.

Первый из них заключается в том, что я будто бы заменяю абстрактный труд процессом абстрагирования от конкретных особенностей труда, т.-е. подставляю вместо абстрактного труда—социальную форму организации труда.

Следует признать, что такая подстановка, если бы она имела место, расходилась бы с марксовой теорией. Ведь мы утверждаем, что самый характер производственных отношений людей в товарном хозяйстве необходимо приводит к тому, что труд, как с качественной, так и с количественной своей стороны, находит свое выражение в стоимости и величине стоимости товаров. Если бы мы вместо абстрактного труда взяли только социальную форму организации труда, то при ее помощи мы могли бы об'яснить лишь «форму стоимости», т.-е. социальную форму, принимаемую продуктами труда. Мы могли бы об'яснить, почему продукт труда принимает форму товара, обладающего стоимостью. Но мы не знали бы, почему этот продукт обладает именно данною, количественно определенною стоимостью. Чтобы об'яснить стоимость, как единство формы, субстанции и величины стоимости, мы должны исходить из абстрактного труда, который является не только общественным и социально-уравненным, но и количественно-распределенным трудом.

У самого Маркса вы можете найти такие формулировки, которые, при желании, дадут вам повод сказать, что Маркс заменяет труд социальною формою труда. Так как было бы слишком долго ссылаться на различные места из сочинений Маркса, я приведу вам только одну фразу, которая показалась бы вам еретической в чьих бы то ни было устах, кроме Маркса. Фраза гласит: «Труд, образующий стоимость, есть специфическая общественная форма труда» (Kritik, S. 13). И тут же в примечании Маркс говорит, «что стоимость есть общественная форма богатства». Если вы соедините обе эти фразы, то вместо положения, что труд образует стоимость, вы получите положение, что общественная форма труда создает общественную форму богатства. Какой-нибудь критик мог бы, пожалуй, сказать, что Маркс целиком заменяет труд общественной формой труда,—что Марксу, конечно, и в голову не приходило.

Теперь перехожу ко второму упреку.

Говорят, что в моем изложении получается представление, будто абстрактный труд создается только в акте обмена. Отсюда можно было бы сделать вывод, что и стоимость возникает также только в обмене, между тем как, с точки зрения Маркса, стоимость, а, следовательно, и абстрактный труд должны существовать уже в процессе производства. Тут затронут очень серьезный, глубокий вопрос об отношении между производством и обменом. Как нам разрешить эту трудность? С одной стороны, стоимость и абстрактный труд должны существовать уже в процессе производства, а с другой стороны, Маркс в десятках мест говорит, что абстрактный труд имеет своею предпосылкою процесс обмена.

Разрешите привести несколько примеров. Возвращаюсь к Франклину. Маркс говорит: «Франклин понимал труд как абстрактный, но не понимал, что это есть абстрактно-всеобщий, общественный труд, проистекающий из всестороннего отчуждения индивидуального труда» (Kritik, S. 38—39). Главная ошибка Франклина состояла, следовательно, в том, что он не принял во внимание, что абстрактный труд возникает из отчуждения индивидуального труда.

В данном случае у Маркса речь идет не об отдельной фразе. Я вам покажу, что в последующих изданиях «Капитала» Маркс все резче подчеркивал ту мысль, что в товарном хозяйстве только обмен сводит конкретный труд к абстрактному труду.

Я возвращаюсь к известной фразе, которую я уже упоминал: «Люди сопоставляют друг с другом продукты своего труда как стоимости не потому, что эти вещи являются для них лишь вещественными оболочками однородного человеческого труда. Наоборот. Приравнивая друг другу в обмене разнородные продукты как стоимости, они тем самым приравнивают друг другу свои различные работы, как человеческий труд вообще» (Капитал, т. I, русск. изд., стр. 41).

В первом издании «Капитала» эта фраза имела совершенно противоположный смысл. Эта фраза у Маркса гласила так: «Если люди относят свои продукты друг другу как стоимости постольку, поскольку эти вещи являются для них лишь вещественными оболочками однородного человеческого труда» и т. д. (Kapital, B. I, 1867, S. 38).

Маркс, опасаясь, что его поймут в том смысле, будто люди заранее сознательно приравнивают друг другу свой труд как абстрактный, во втором издании совершенно изменил смысл фразы и подчеркнул ту мысль, что уравнение труда как абстрактного происходит только через обмен продуктов труда. Это характерное изменение от первого издания к второму.

Как вы знаете, Маркс не ограничился вторым изданием первого тома «Капитала». Он еще исправил впоследствии текст для французского издания 1875 года, при чем писал, что он внес туда такие исправления, которые он не успел внести во второе немецкое издание. На этом основании Маркс приписывал французскому изданию «Капитала» самостоятельную научную ценность на ряду с немецким оригиналом.

Во втором издании «Капитала» вы встречаете известную фразу: «Равенство работ, toto coelo различных друг от друга, может существовать лишь в отвлечении от их действительного неравенства, в сведении их к тому общему характеру, которым они обладают как затраты человеческой рабочей силы, абстрактно-человеческого труда» (русск. изд., стр. 41).

Во французском издании Маркс в конце этой фразы заменяет точку запятою и прибавляет: «и только обмен производит эту редукцию, противопоставляя друг другу на началах равенства продукты самых различных видов труда» (стр. 29 франц. изд. 1875 г.). Вставка эта в высшей степени характерна и ярко показывает, как далек был Маркс от физиологического понимания абстрактного труда. Как же нам эти высказывания Маркса, которые можно насчитать десятками, примирить с основным положением, что стоимость создается в производстве?

Примирить их не трудно.

Дело в том, что товарищи, обсуждавшие вопрос об отношении между обменом и производством, по-моему, недостаточно отличают два понятия обмена. Мы должны отличать обмен, как социальную форму воспроизводственного процесса, от обмена, как особой фазы этого воспроизводственного процесса, перемежающийся с фазою непосредственного производства.

На первый взгляд обмен кажется нам отдельной фазой процесса воспроизводства. Мы видим, что сперва идет процесс непосредственного производства, затем наступает фаза обмена. Здесь обмен отделен от производства и ему противопоставлен. Но обмен есть не только отдельная фаза процесса воспроизвод-

ства, он кладет свою специфическую печать на весь воспроизводственный процесс, он представляет собою особую социальную форму общественного процесса производства. Производство, основанное на частном обмене,—этими словами Маркс часто характеризует товарное хозяйство.

Чтобы вам моя формулировка не показалась спорною, я приведу из III тома «Theorien über den Mehrwert» (1921, S. 153) слова Маркса, что «обмен продуктов как товаров есть определенная форма общественного труда или общественного производства». В том же III томе «Теорий» (стр. 470) вы найдете у Маркса положение, которое об'яснит вам, почему он обмен рассматривал как социальную форму труда: «Вся экономическая структура общества вращается вокруг формы труда, т.-е. вокруг формы, в которой работник присваивает себе средства существования». Поставим теперь вопрос, в какой именно форме присваивает себе средства существования работник в товарном хозяйстве. У Маркса вы найдете несколько раз на этот вопрос следующий ответ: в товарном хозяйстве единственной формой присвоения продуктов является форма их отчуждения. А так как форма присвоения продуктов есть форма общественного труда, то отчуждение, обмен является специфическою формою общественного труда, характеризующею товарное хозяйство.

Если вы примете во внимание, что обмен есть социальная форма самого производственного процесса, форма, которая накладывает печать на ход самого процесса производства, то многие выражения Маркса вам станут вполне понятны. Когда Маркс постоянно повторяет, что абстрактный труд является только результатом обмена, это значит, что он является результатом данной социальной формы производственного процесса. Лишь по мере того, как процесс производства принимает социальную форму производства товарного, т.-е. основанного на обмене, труд принимает форму абстрактного труда, и продукты труда принимают форму стоимости.

Итак, обмен есть форма всего производственного процесса или форма общественного труда. Как только обмен стал действительно господствующею формою процесса производства, он кладет свою печать и на фазу непосредственного производства. Иначе говоря, так как люди производят сегодня не в первый день, так как производитель производит после того, как он вступал в акты обмена, и перед тем, как он вступит в последующие акты обмена, то и процесс непосредственного производства приобретает определенные социальные признаки, соответствующие организации товарного хозяйства на началах обмена. Товаропроизводитель, хотя бы он находился еще у себя в мастерской и в данный момент не вступал в обмен с другими членами общества,—уже чувствует на себе давление со стороны всех тех лиц, которые выступают на рынке в качестве его покупателей, конкурентов, лиц, покупающих у его конкурентов, и т. д.,—в конечном счете давление со стороны всех членов общества. Эта хозяйственная связь и производственные отношения, которые непосредственно реализуются в обмене, продолжают свое действие и по прекращении данных конкретных актов обмена. Они накладывают резкую социальную печать и на индивида, и на его труд, и на продукт его труда. Уже в самом процессе непосредственного производства производитель выступает в качестве товаропроиз-

водителя, труд его приобретает характер абстрактного труда, а продукт—характер стоимости.

Здесь, однако, я должен предостеречь против ошибки, делаемой очень многими товарищами. Очень многие думают, что так как процесс непосредственного производства уже обладает определенною социальною характеристикою, значит, и продукты труда и труд в фазе непосредственного производства отличаются точь в точь теми же социальными признаками, которыми они отличаются в фазе обмена. Такое предположение глубоко ошибочно, ибо хотя обе фазы (фаза производства и фаза обмена) тесно связаны друг с другом, но, тем не менее, фаза производства не стала фазою обмена. Между обеими фазами не только имеется известное сходство, но и сохраняется известное различие. Иначе говоря, с одной стороны, мы признаем, что с того момента, когда обмен становится господствующей формой общественного труда, и люди производят специально для обмена,—уже в фазе непосредственного производства принимается во внимание характер продуктов труда как стоимостей. Но этот характер продуктов труда как стоимостей еще не есть тот характер, который они приобретут тогда, когда они будут действительно обменены на деньги, когда их, по выражению Маркса, «идеальная» стоимость превратится в «реальную», и социальная форма товара будет заменена социальною формою денег.

То же самое относится и к труду. Мы признаем, что товаровладельцы в своих трудовых актах уже в процессе непосредственного производства принимают во внимание состояние рынка и спроса и заранее производят исключительно для того, чтобы превратить свой продукт в деньги, а тем самым свой частный и конкретный труд в общественный и абстрактный труд. Но это включение труда отдельного индивида в трудовой механизм всего общества является лишь предварительным и гадательным; оно подлежит еще суровой проверке в процессе обмена,—проверке, которая для данного товаропроизводителя может дать положительный или отрицательный результат. Таким образом, трудовая деятельность товаропроизводителей в фазе производства является непосредственно частным и конкретным трудом и лишь посредственно, косвенно или скрыто (latent), как выражается Маркс, является трудом общественным.

Поэтому, когда мы читаем Маркса, в частности его высказывания о том, как влияет обмен на стоимость и на абстрактный труд, мы должны всегда ставить себе вопрос, что имеет в виду в данном случае Маркс—обмен ли, как форму самого производственного процесса, или обмен, как отдельную фазу, противостоящую фазе производства.

Поскольку речь идет об обмене, как о форме производственного процесса, Маркс решительно заявляет, что без обмена не существует ни абстрактного труда, ни стоимости, что лишь по мере развития обмена труд приобретает характер абстрактного труда. Именно эти бесспорные положения Маркса я и развивал в своей книге.

Там же, где речь идет об обмене, как об отдельной фазе, противостоящей производству, там Маркс говорит, что труд и продукт труда еще до процесса обмена обладают определенным социальным характером, но этот характер должен еще реализо-

ваться в процессе обмена. В процессе непосредственного производства труд еще не является абстрактным трудом в полном смысле слова, он еще становится (werden) абстрактным трудом. И такие выражения вы найдете в большом количестве у Маркса. Приведу только две цитаты из «Критики». «На деле индивидуальные работы, представленные в этих особенных потребительных стоимостях, становятся (werden) всеобщим и в этой форме общественным трудом лишь тогда, когда они действительно обмениваются друг на друга пропорционально продолжительности заключенного в них труда. Общественное рабочее время существует в этих товарах, так сказать, лишь скрыто (latent) и проявляется (offenbart sich) лишь в процессе их обмена» (Kritik, S. 24). В другом месте Маркс пишет: «Товары противостоят теперь друг другу как двойные существования, реально как потребительные стоимости, идеально как меновые стоимости. Они представляют теперь друг для друга двойственную форму содержащегося в них труда, так как особенный реальный труд действительно существует как их потребительная стоимость, между тем как всеобщее абстрактное рабочее время получает в их цене мысленно представляемое существование (vorgestelltes Dasein)» (Там же, стр. 52).

Маркс утверждает, что товар и деньги не теряют своих различий от того, что каждый товар должен непременно превратиться в деньги; каждый из них есть реально то, чем другой является идеально, и идеально то, чем другой является реально. Все эти выражения Маркса доказывают, что мы не должны в данном пункте мыслить слишком прямолинейно. Мы не должны думать, что раз уже в процессе непосредственного производства товаропроизводители связаны друг с другом определенными социальными отношениями, то их продукты и их труд носят уже непосредственно общественный характер. Нет, труд товаропроизводителя является непосредственно частным и конкретным, но он получает вместе с тем дополнительную, «идеальную» или «скрытую» социальную характеристику в качестве труда абстрактно-всеобщего и общественного. Маркс всегда смеялся над утопистами, которые мечтали об уничтожении денег и верили в догмат, что «содержащийся в товаре особенный труд частного индивида есть непосредственно-общественный труд» (Kritik, S. 73).

Таким образом, наши выводы таковы: абстрактный труд и стоимость в процессе непосредственного производства создаются или становятся (werden—этот термин Маркс неоднократно применяет к этому процессу) и полностью осуществляются лишь в процессе обмена.

III.

До сих пор я говорил об абстрактном труде. Теперь я должен перейти к стоимости. В вопросе о стоимости моя задача совершенно однородна с той, которая стояла передо мной в вопросе об абстрактном труде. Я старался доказать, что в понятие абстрактного труда мы должны включить признаки социальной организации труда в товарном хозяйстве. Точно так же я хотел бы доказать, что в понятие стоимости мы должны непременно включить социальную форму стоимости,—социальную форму, принимаемую продуктами труда в товарном хозяйстве.

Внести социальную форму и в понятие абстрактного труда и в понятие стоимости,—такова задача, которая стоит передо мной.

Как обычно определяется стоимость в отличие от меновой стоимости?

Если вы возьмете наиболее популярные и широко распространенные взгляды, то, пожалуй, можно сказать, что под стоимостью обычно понимается труд, который необходимо затратить на производство данного товара. Под меновой же стоимостью данного товара понимается тот другой продукт или та сумма денег, на которые обменивается данный товар. Если данный стол произведен при помощи трехчасового труда и обменивается на три стула, то обычно говорят, что стоимость стола, равная трем часам труда, нашла свое выражение в другом продукте, отличном от самого стола, а именно в трех стульях. Три стула составляют меновую стоимость стола.

При таком популярном определении обычно остается не совсем ясным, **определяется** ли стоимость трудом, или же стоимость и **есть** самый труд. Конечно, с точки зрения марксовой теории правильно будет сказать, что стоимость определяется трудом. Но тогда перед нами встает вопрос,—что же такое есть эта стоимость, определяемая трудом, и на этот-то вопрос мы обычно удовлетворительного ответа в популярных изложениях не находим.

Поэтому очень часто у читателя рождается представление, что стоимость продукта и есть не что иное, как труд, который необходимо затратить на его производство. Получается ложное представление о полном тождестве труда со стоимостью.

Такое представление наиболее широко распространено в антимарксистской литературе. Можно сказать, что большая часть тех недоразумений и лжетолкований, которые вы встретите в антимарксистской литературе, построена на ложном представлении, будто у Маркса труд и есть стоимость.

Такое ложное представление часто проистекает из непонимания терминологии и смысла сочинений Маркса. Например, известные слова Маркса о том, что стоимость есть «застывший» или «кристаллизованный» труд, обычно истолковываются в том смысле, что труд и есть стоимость.

Этому ошибочному представлению способствует двусмысленность русского глагола «представлять». Стоимость «представляет» труд,—так переводим мы немецкий глагол «darstellen». Но эта русская фраза может быть понята не только в том смысле, что стоимость является представителем или выражением труда,—понимание, единственно соответствующее мысли Маркса,—но и в том смысле, будто стоимость есть труд. Такое представление, наиболее распространенное в критической литературе, направленной против Маркса, конечно, является совершенно ложным.

Те критики, которые истолковали слова Маркса о том, что труд составляет субстанцию стоимости, в смысле полного отождествления обоих этих понятий, не обратили внимания на то, что в данном случае Маркс заимствовал терминологию у Гегеля. Тот, кто знаком с «Логикою» Гегеля, с его учением о сущности, может вспомнить, что Гегель, желая выяснить отношение между двумя об'ектами—определяющим и определяемым, прибегает к различным терминам. Сначала он говорит, что один об'ект является «сущностью» (Wesen) другого, потом он определяет его

как «основу» (Grund) последнего об'екта, далее называет его содержанием (Inhalt) в отличие от формы, после этого он рассматривает тот же об'ект как субстанцию, как причину, и, наконец, Гегель переходит к рассмотрению взаимодействия между двумя об'ектами. Мы можем теперь отметить любопытный факт, что у Маркса в применении к труду вы найдете всю эту гамму названий, которую мы встречали у Гегеля. Труд называется и сущностью стоимости, и ее основой, содержанием, субстанцией и причиной. Все эти выражения мы должны привести в связь с теми методологическими принципами, на которых построено учение Гегеля, и тогда для нас станет ясным, что никоим образом нельзя истолковать положение Маркса о том, что труд есть субстанция стоимости, в смысле полного их отождествления.

Именно это положение я и выдвинул в своей книге, в главе о содержании и форме стоимости. Я ставил главной своей целью доказать, что труд есть только субстанция стоимости, но еще не составляет стоимость. Иначе говоря, если критики Маркса говорят: субстанцией стоимости у Маркса является труд, следовательно, труд есть стоимость,—то я подчеркиваю, что труд есть только субстанция стоимости, а для того, чтобы получить стоимость в полном смысле этого слова, мы должны к труду, как субстанции стоимости, прибавить еще что-то другое, а именно, социальную форму стоимости. Только тогда мы получим понятие стоимости в том смысле, в каком мы встречаем его у Маркса.

Что же такое представляет собою стоимость, как единство содержания или субстанции (т.-е. труда) с формой стоимости? Что такое у Маркса эта стоимость в отличие от меновой стоимости? Чтобы ответить на этот вопрос, нам лучше всего задать себе следующий вопрос: каким образом Маркс переходит от меновой стоимости к стоимости? Почему Маркс считает нужным, на ряду с меновой стоимостью, которая проявляется в реальной действительности в актах обмена, построить еще новое, более абстрактное понятие стоимости?

Вы знаете, что в «Критике политической экономии» Маркс еще не проводит резкого различия между меновой стоимостью и стоимостью. В «Критике» Маркс начинает свое изложение с меновой стоимости, а от последней сейчас же переходит к стоимости (которую он называет еще Tauschwert). Переход этот у него очень незаметный, плавный, как будто само собой разумеющийся.

Совершенно иначе делает Маркс этот переход в «Капитале», и очень любопытно сравнить первые две страницы «Критики» с «Капиталом».

Первые две страницы в обеих книгах совершенно соответствуют друг другу, изложение одинаково начинается с потребительной стоимости, а затем переходит к меновой стоимости. Фраза, что меновая стоимость представляется в виде количественного соотношения или пропорции, находится в обеих книгах, но после этого начинается расхождение в тексте. Если в «Критике» Маркс от меновой стоимости незаметно переходит к стоимости, то в «Капитале» он, напротив, в данном пункте как будто останавливается, предвидя возражения со стороны своих противников. Вслед за упомянутою фразой Маркс замечает: «Меновая стоимость кажется поэтому чем-то случайным и совершенно относительным, внутренняя для товара имманентная меновая стоимость представляет, повидимому, бессмыслицу. Рассмотрим дело ближе».

Как видите, Маркс имел здесь в виду какого-то противника, который хотел бы доказать, что ничего, кроме относительной меновой стоимости, не существует, что понятие стоимости является совершенно излишним в политической экономии. Кто был этот противник, на которого намекал Маркс?

Я не буду сейчас излагать вам подробно и обосновывать свое утверждение, но я полагаю, что этот противник был Бэйли, который доказывал, что понятие стоимости вообще в политической экономии не нужно, что мы должны ограничиться наблюдением и изучением отдельных пропорций, в которых обмениваются различные товары. Бэйли своей поверхностной, но остроумной критикой Рикардо, имевшей большой успех, пытался подорвать самые основы теории трудовой стоимости. Он утверждал, что мы не можем говорить о стоимости стола, а можем только сказать, что стол обменивается один раз на три стула, другой раз на 2 фунта кофе и т. д.; величина стоимости стола есть нечто совершенно относительное и в разных случаях различное. Отсюда Бэйли делал вывод, который сводился к отрицанию понятия стоимости, поскольку последняя отличается от относительной стоимости данного продукта в данном акте обмена. Представим себе такой случай: стоимость стола равна трем стульям. Через год стол этот обменивается на 6 стульев. Мы считаем себя в праве сказать, что, хотя изменилась меновая стоимость стола, но его стоимость осталась неизменною, а упала лишь вдвое стоимость стульев. Бэйли же находит это утверждение нелепым. Раз изменилось меновое отношение стульев к столу, то изменилось и меновое отношение стола к стульям, а только в этом и состоит стоимость стола.

Чтобы опровергнуть это учение Бэйли, Маркс счел нужным в «Капитале» развить положение о том, что меновая стоимость не может быть нами понята, если она не будет сведена к некоторому единству стоимости. 1-й раздел первой главы «Капитала» посвящен обоснованию этой мысли, переходу от меновой стоимости к стоимости, и от стоимости к единству, лежащему в ее основе, к труду. 2-й раздел является дополнением к первому, так как он лишь поясняет подробнее понятие труда. Мы можем сказать, что Маркс от различий, обнаруживающихся в сфере меновой стоимости, переходит к единству, лежащему в основе всех меновых стоимостей, а именно к стоимости (и в последнем счете к труду). Здесь Маркс показывает ошибочность мнения Бэйли о возможности ограничить наше исследование сферою меновой стоимости. В 3-ем разделе Маркс предпринимает обратный путь и поясняет, каким образом единая стоимость данного продукта выражается в самых различных его меновых стоимостях.

Раньше Маркс перешел от различий к единству, теперь он переходит от единства к различиям. Раньше он опровергал учение Бэйли, теперь он дополняет учение Рикардо, у которого отсутствовал переход от стоимости к меновой стоимости. Для того, чтобы опровергнуть учение Бэйли, надо было развить дальше теорию Рикардо.

Действительно, задача Бэйли доказать, что, кроме меновой стоимости, никакой стоимости не существует, значительно облегчалась благодаря односторонности Рикардо, который не сумел показать, каким образом стоимость проявляется в определенной форме стоимости. Поэтому перед Марксом стояли две задачи:

1) доказать, что под меновой стоимостью мы должны вскрыть стоимость, и 2) доказать, что стоимость необходимо приводит к различным формам ее проявления, к меновой стоимости. В настоящем докладе я остановлюсь только на первой из этих задач, так как моя тема заключается именно в том, чтобы выяснить понятие стоимости, полное же выяснение понятий меновой стоимости и денег в мою тему не входит.

Каким образом переходит Маркс от меновой стоимости к стоимости?

Обычно критики и комментаторы Маркса считают, что центральная аргументация его заключается в знаменитом сравнении пшеницы с железом на 3-й странице первого тома «Капитала». Если пшеница и железо уравнены друг с другом, то—рассуждает Маркс—в них должно быть что-то общее равной величины, они должны быть равны чему-то третьему, а это третье и есть их стоимость. Обычно считают, что здесь заключена главная аргументация Маркса, и на эту аргументацию обычно и направляются все критические удары противников Маркса. Нет, пожалуй, ни одного сочинения, направленного против Маркса, в котором не указывалось бы, что Маркс хочет при помощи чисто отвлеченного рассуждения доказать необходимость понятия стоимости.

Что осталось совершенно незамеченным, это следующее обстоятельство: абзац Маркса, который трактует о сравнении пшеницы с железом, является не более, как выводом из предыдущего абзаца, который обычно оставляется без всякого внимания не только критиками, но, мне кажется, и комментаторами Маркса.

Предыдущий абзац гласит: «Известный товар, например, 1 квартер пшеницы в самых различных пропорциях обменивается на другие товары, например, на 20 фунтов сапожной ваксы, или на 2 аршина шелка, или на ½ унции золота и т. д.; однако меновая стоимость квартера пшеницы остается неизменной, выражается ли она в сапожной ваксе, шелке или золоте. Следовательно, меновая стоимость должна иметь какое-то содержание, отличное от этих способов выражения» («Капитал», т. I, русск. изд., стр. 3). Приведенный абзац Маркс тщательно обрабатывал и давал различные его варианты в разных изданиях. Мы привели цитату по русскому переводу, который сделан с немецкого издания, редактированного К. Каутским. Еще яснее мы можем проследить мысль Маркса по второму изданию «Капитала», где конец приведенного абзаца гласит: «Но так как X сапожной ваксы, равно как Y шелка, Z золота и т. д., составляют каждое меновую стоимость квартера пшеницы, то X сапожной ваксы, Y шелка, Z золота должны быть способны замещать друг друга или должны представлять одинаковые меновые стоимости. Из этого следует, во-первых, что *меновые стоимости, на которые обменивается один и тот же товар, равны между собою*» (Курсив наш).

Иначе говоря, два товара, равные данному нашему товару—пшенице, равны между собой. Если вы примете во внимание этот вывод, который Маркс подчеркивает в приведенном варианте, то вы увидите, что следующий абзац является логическим следствием из данного абзаца. Действительно, из того факта, что один и тот же товар может быть выражен в самых различных потребительных стоимостях, Маркс в цитированном абзаце делает вывод, что два товара, обмениваемые на один и тот же

товар, или равные третьему товару, равны между собой. Отсюда с логическою необходимостью вытекает обратный вывод, который Маркс делает в следующем абзаце: если два товара равны между собою, то они равны чему-то третьему. Именно эту мысль Маркс выражает в том абзаце, где сравнивается пшеница с железом. Итак, положение Маркса о том, что два товара, равные между собою, должны быть равны чему-то третьему, является лишь выводом из его предыдущего положения, согласно которому два товара, равные третьему, равны между собой. Только соединение обоих абзацов освещает истинный смысл аргументации Маркса. Исходный пункт всей аргументации Маркса заключается в констатировании всем известного факта, свойственного товарному хозяйству, факта всестороннего приравнивания всех товаров друг другу и возможности приравнивания данного товара бесконечному множеству всех других товаров. Иначо говоря, исходным пунктом всех рассуждений Маркса является конкретная структура товарного хозяйства, а отнюдь не чисто логический прием сравнения двух товаров друг с другом.

Итак, Маркс исходит из факта всестороннего приравнения друг другу всех товаров, или из факта, что каждый товар может быть приравнен множеству других товаров. Однако эта предпосылка сама по себе еще недостаточна для всех выводов, которые Маркс сделал. В основе этих выводов лежит еще одна молчаливая предпосылка, которую Маркс часто выражает в других местах.

Вторая предпосылка заключается в следующем: мы предполагаем, что обмен нашего квартера пшеницы на любой другой товар является обменом, который подчинен известной закономерности, и закономерность этих актов обмена заключается в зависимости их от процесса производства. Мы отвергаем предположение, что квартер пшеницы может быть обменен на произвольное количество железа, кофе и т. д. Мы не можем согласиться с предположением, что каждый раз в самом акте обмена устанавливаются эти пропорции обмена, которые носят совершенно случайный характер. Напротив, мы утверждаем, что все эти возможности для данного товара быть обмененным на другой товар подчиняются известной закономерности,—закономерности, имеющей свою основу в производственном процессе. В таком случае вся аргументация Маркса принимает следующий вид.

Маркс говорит:—Возьмем не случайный обмен двух товаров—железа и пшеницы, а возьмем этот обмен в том виде, как он действительно происходит в товарном хозяйстве, и тогда мы увидим, что каждый предмет может быть всесторонне приравнен всем другим предметам, иначе говоря, мы наблюдаем бесконечное множество пропорций обмена данного продукта со всеми другими. Но эти пропорции обмена не случайны, они закономерны, и закономерность их определяется причинами, лежащими в производственном процессе.

Таким образом, мы приходим к выводу, что независимо от того, что стоимость одного квартера пшеницы выражается один раз в двух фунтах кофе, другой раз в трех стульях и т. д., эта стоимость квартера пшеницы во всех этих случаях остается одной и той же. Если бы мы предположили, что в каждой из бесчисленных меновых пропорций квартер пшеницы имеет иную стоимость,—а к этому сводятся утверждения Бэйли,—то мы признали бы полный хаос в явлениях ценообразования, в том гран-

новном явлении обмена продуктов, через посредство которого происходит всестороннее связывание всех видов труда.

Из изложенного хода рассуждений Маркса, который привел его от меновой стоимости к стоимости, мы можем сделать следующие выводы. Один вывод я уже сделал выше, когда указал, что за исходный пункт всего своего исследования Маркс берет товарное хозяйство с присущим ему всесторонним приравниванием всех продуктов,—приравниванием, тесно связанным с ходом производственного процесса. Маркс исходит не из придуманного примера случайного сравнения двух товаров и не из чисто-логического анализа тех признаков, которые могут быть им общими, а из реальных форм обмена продуктов, характерного для товарного хозяйства. Второй наш вывод сводится к следующему: когда Маркс сравнивает пшеницу с железом и находит в них что-то «общее», этим «общим» он признает «стоимость» продуктов. В популярной литературе вы не найдете ясного ответа на вопрос о том, что такое то «общее» в обмениваемых продуктах, о котором говорит Маркс. Иногда это общее правильно рассматривается как стоимость, иногда же оно отождествляется с трудом. Если мы обратимся к Марксу, то на 4-й странице найдем ясный ответ на этот вопрос: «То общее, что выражается в меновом отношении или меновой стоимости товара, и есть его стоимость». Маркс, следовательно, от меновой стоимости не переходит непосредственно к труду. От меновой стоимости Маркс переходит к понятию стоимости. И только путем дальнейшего анализа он переходит от понятия стоимости к труду. Ход мыслей Маркса, строго говоря, идет по трем ступеням: от меновой стоимости к стоимости и от стоимости к труду.

Вывод, который я делаю, сводится к тому, о чем я говорил раньше, что надо строго отличать понятие стоимости от понятия труда, хотя часто, особенно в популярном изложении, мы склонны их отождествлять.

Что же такое эта стоимость, которую мы получили путем отвлечения от тех конкретных меновых пропорций, в которых наш квартер пшеницы приравнивается другим продуктам? Хотя мы сейчас отвлекаемся от тех конкретных продуктов, на которые обменивается наш квартер пшеницы, но мы все же не отвлекаемся от социальной формы стоимости, которою обладает этот квартер пшеницы, т.-е. мы утверждаем, что наш квартер пшеницы обладает способностью быть обмененным в известной пропорции на любой другой продукт, имеющийся в данном обществе. Далее, эту способность товара к обмену мы рассматриваем как признак его, подчиняющийся известным законам, и, в частности, тесно связанный с условиями производства данного товара. Иначе говоря, в наше понятие стоимости пшеницы входит нечто большее, чем одно только понятие общественного труда, необходимого для его производства. В него входит понятие общественного труда, принявшего «вещную» форму, форму особого свойства продукта. В наше понятие входит и «содержание» стоимости и «форма стоимости». Чтобы доказать, что Маркс отличает стоимость от труда, как содержания стоимости, приведу только одну цитату: «Продукт труда при всяких состояниях общества есть предмет потребления, но лишь одна исторически определенная эпоха развития превращает продукт труда в товар,—а именно та, которая труду, затраченному на производство предмета потребления, при-

дает вид «вещественного» свойства последнего, вид его стоимости» («Капитал», т. I, русск. изд., стр. 29). В понятие стоимости, таким образом, входит и содержание стоимости (т.-е. труд) и социальная форма стоимости (Wertform). Что же такое эта «форма стоимости», которая, в отличие от меновой стоимости, входит в самое понятие стоимости?

Я приведу лишь одно наиболее яркое определение формы стоимости в первом издании «Капитала»: «Общественная форма товара и форма стоимости (Wertform) или форма обмениваемости (Form der Austauschbarkeit) суть, таким образом, одно и то же» («Kapital», B. I, 1867, S. 28. Курсив Маркса). Как видите, формою стоимости называется форма обмениваемости или социальная форма продукта труда, заключающаяся в его способности быть обмененным на любой другой товар, поскольку эта способность определяется количеством труда, необходимого для производства данного товара. Таким образом, когда мы перешли от меновой стоимости к стоимости, мы не отвлеклись от социальной формы продукта труда. Мы только отвлеклись от того конкретного продукта, в котором выражается стоимость товара, но социальную форму продукта труда мы все время имеем в виду.

Наш вывод можно формулировать еще таким образом: Маркс анализирует «форму стоимости» (Wertform) отдельно от меновой стоимости (Tauschwert). Для того, чтобы в самое понятие стоимости внести социальную форму продукта труда, мы вынуждены были произвести как бы расщепление или раздвоение социальной формы продукта на две формы: на Wertform и Tauschwert, понимая под первою социальную форму продукта, еще не конкретизировавшуюся в определенной вещи, а представляющую собой как бы абстрактное свойство товара. Именно это отличие «формы стоимости» от «меновой стоимости» я и выяснил в своей книге. Правда, там я рассматривал их, как качественную и количественную стороны меновой стоимости; я сделал это главным образом потому, что у Маркса в некоторых местах термины Wertform и Tauschwert почти не отличаются друг от друга. Однако полное отождествление Wertform с качественною стороною, а Tauschwert с количественною не может быть признано правильным, так как оба эти понятия должны рассматриваться и с качественной и с количественной стороны. Этот вопрос не имеет прямого отношения к нашей теме и потому я дольше останавливаться на нем не буду. Замечу лишь, что именно раздвоение социальной формы продукта на форму стоимости и меновую стоимость подробно обосновано в моей книге, в согласии с поставленною мною себе задачей. Я должен был внести в самое понятие стоимости признаки социальной формы продукта труда и тем самым доказать недопустимость отождествления понятия стоимости с понятием труда,—отождествления, к которому часто приближались популярные изложения Маркса. Иначе говоря, я должен был доказать, что стоимость состоит не только из субстанции стоимости (т.-е. труда), но и из «формы стоимости», а для того, чтобы форму стоимости внести в самое понятие стоимости, я должен был отделить ее от меновой стоимости, которая рассматривается Марксом отдельно от стоимости. Я должен был расчленить социальную форму продукта на две части: на социальную форму, еще не принявшую конкретного вида, и на ту же форму, уже принявшую конкретный и самостоятельный вид.

Теперь, после того, как выяснено отличие формы стоимости от меновой стоимости, разрешите мне остановиться на понятии стоимости и проследить отношение между разными его сторонами: содержанием или субстанцией стоимости (Wertsubstanz) и формою стоимости.

Какое отношение существует между трудом и той социальной формой стоимости, на которой я остановился? Общий ответ на этот вопрос гласит: форма стоимости является адэкватною и точною формою выражения содержания стоимости (т.-е. труда). Чтобы пояснить эту мысль, вернемся к прежнему примеру: стол обменивается на три стула. Мы говорим, что этот процесс обмена подчиняется известной закономерности и зависит от развития и изменений производительности труда. Но меновая стоимость есть такая социальная форма продукта, которая не только выражает изменения труда, но которая также замаскировывает и скрывает эти изменения. Она скрывает их по той простой причине, что меновая стоимость есть отношение между двумя товарами,— между столом и стульями, и поэтому изменение меновой пропорции между этими двумя предметами ничего не говорит нам о том, действительно ли изменился труд, затраченный на производство стола и стульев. Если стол по прошествии некоторого времени обменивается уже на 6 стульев, меновая стоимость стола изменилась, между тем как стоимость самого стола, быть может, ни в малейшей мере не изменилась. Для того, чтобы изучить в чистой форме процесс зависимости изменения социальной формы продукта от количества труда, затраченного на его производство, Марксу пришлось данное явление разделить на две части, рассечь его и сказать, что мы должны изучать отдельно те причины, которые определяют стоимость стола, и те причины, которые определяют стоимость стульев; и что одно и то же явление обмена (именно тот факт, что теперь стол обменивается на 6 стульев вместо 3) может вызываться либо причинами, лежащими на стороне стола, либо причинами, коренящимися в условиях производства стульев. Чтобы изучить отдельно действие каждого из этих причинных рядов, Марксу пришлось рассечь факт изменения меновой стоимости стола на две части и предположить, что изменения эти вызываются исключительно причинами, действующими на стороне стола, т.-е. изменением производительности труда, необходимого для производства стола. Иначе говоря, он должен был предположить, что все другие товары, на которые обменивается наш стол, сохраняют свою прежнюю стоимость. Именно при этом предположении изменение стоимости стола послушно следует за изменением количества труда, необходимого для его производства, и социальная форма стоимости оказывается вполне точным и адэкватным выражением содержания или субстанции стоимости (т.-е. количества труда, затрачиваемого в процессе производства).

Благодаря определению стоимости, как единства содержания (т.-е. труда) и социальной формы стоимости, мы получаем следующие преимущества. Мы сразу порываем с распространенным отождествлением стоимости с трудом, и таким образом правильнее определяем отношение понятия стоимости к понятию труда. С другой стороны, мы правильнее определяем отношение стоимости к меновой стоимости. Раньше, когда стоимость рассматривалась просто, как труд, и не получала более отчетливой со-

циальной характеристики, эта стоимость, с одной стороны, отождествлялась с трудом, а с другой стороны, была пропастью отделена от меновой стоимости. В понятии стоимости экономисты нередко только дублировали тот же труд и из этого понятия стоимости никак не могли перейти к понятию меновой стоимости. Теперь, когда мы рассматриваем стоимость, как единство содержания и формы, мы через содержание связываем стоимость с предшествующим понятием—с трудом, а с другой стороны, через форму стоимости мы уже связываем понятие стоимости с последующим понятием—меновою стоимостью. Действительно, раз мы утверждаем, что стоимость представляет собою не труд вообще, а труд, принявший «форму обмениваемости» продукта, то от стоимости мы должны непременно перейти к меновой стоимости. Таким образом, понятие стоимости оказывается неразрывно связанным, с одной стороны, с понятием труда, а с другой стороны, с понятием меновой стоимости. Но неразрывная связь всех этих понятий не должна привести к их отождествлению. Стоимость мы рассматриваем, как общественный труд, принявший форму «вещного» свойства продукта труда, или как свойство продукта быть обмененным на любой другой продукт, поскольку это свойство продукта зависит от количества общественного труда, необходимого для его производства.

В заключение я хотел бы отметить, что способ расщепления социальной формы продукта на две части (на Wertform и Tauschwert, из которых первая сама входит в понятие стоимости, в то время как меновая стоимость является только формою проявления стоимости), может быть, напоминает аналогичный прием у Гегеля. Хотя Маркс в данном случае нигде не намекает на связь своего построения с философией Гегеля, но вы найдете значительное сходство между расщеплением социальной формы продукта у Маркса и учением Гегеля об «удвоении формы». Я приведу несколько строк, из так называемой малой «Логики» Гегеля: «Содержание само по себе не лишено формы, но оно заключает в себе самом форму, как, с другой стороны, форма есть нечто внешнее по отношению к нему. Здесь имеется удвоение формы, которая один раз является как рефлектированное в себе содержание, а другой раз—как не рефлектированное в себе внешнее существование, безразличное к содержанию» (Hegel, Werke, B. 6, 1843, S. 264, § 133). Я думаю, что проводимое Марксом различие между «формою стоимости», которая заключена в самой стоимости, и «меновой стоимостью», которая представляет собою нечто «внешнее» и «безразличное» по отношению к стоимости,—обнаруживает признаки сходства с тем удвоением формы, которое встречается у Гегеля.

Теперь мне остается перейти к последней части доклада, к вопросу о содержании или субстанции стоимости. Все марксисты сходятся в том, что труд образует содержание стоимости, но весь вопрос в том, о каком именно труде здесь идет речь. Уже из предыдущей части доклада вы могли убедиться в том, какие различные понятия могут быть скрыты под словом «труд». Какой же именно труд образует содержание стоимости? Большинство читателей поняли меня в том смысле, что я под содержанием стоимости понимаю труд в его материально-технической форме. Я вполне признаю, что читатели могли понять меня именно так, ибо в моей книге «Очерки по теории стои-

мости Маркса» в некоторых местах даны приблизительно такие формулировки. Тем не менее, я должен отметить, что в моей книге в той же самой главе о содержании и форме стоимости не один раз, а три раза даны формулировки, которые могли бы показать, во всяком случае, что под содержанием стоимости у меня речь шла не о труде, рассматриваемом исключительно с материально-технической стороны. На стр. 89—90 я писал: «Труд, как субстанция стоимости, рассматривается Марксом, не как определенное количество труда, взятое само по себе, как нечто самостоятельное и абсолютное, накопленное и материально овеществленное в продукте. Этот труд рассматривается с точки зрения процесса распределения общественного труда между различными отраслями производства, он берется, как часть совокупного общественного труда, в его отношении к последнему, как к целому». В другом месте (стр. 85) я цитирую слова Маркса о стоимости, как «форме, в которой проявляется пропорциональное распределение труда». Наконец, окончательный итог, к которому я прихожу, в упомянутой главе, гласит: «Со стороны качественной, соотношение между трудом, как «субстанцией» стоимости, и «формою стоимости» означает соотношение между процессом распределения труда и его специфическою социальною, а именно—товарною формою» (стр. 91). Приведенные цитаты дают мне право утверждать, что я под содержанием стоимости на самом деле имел в виду не труд, рассматриваемый исключительно с материально-технической стороны, а моя мысль приближалась к тому понятию социально-уравненного и распределенного труда, о котором я говорил выше. Под содержанием стоимости я разумел труд, взятый как часть совокупного общественного труда, уравненного и распределенного. Но это понятие, которое встречается в моей книге во многих местах, не было у меня достаточно выработано и нуждалось в серьезном исправлении. Только в настоящем докладе я провел резкое разграничение между социально-уравненным трудом вообще (который существует не только в товарном хозяйстве, но может существовать, например, и при социализме) и абстрактно-всеобщим трудом, как трудом, уравненным в специфической форме, присущей товарному хозяйству. Сейчас я ставлю вопрос: понимает ли Маркс под содержанием стоимости социально-уравненный труд вообще или же абстрактно-всеобщий труд? Иными словами, когда мы говорим о труде, как содержании стоимости, включаем ли мы в понятие труда все те признаки, которые были мною выше включены в понятие абстрактного труда, или же мы берем труд в смысле социально-уравненного труда, не включая в него тех признаков, которые характеризуют социальную организацию труда в товарном хозяйстве? Совпадает ли понятие труда, как «содержания» стоимости, с понятием абстрактного труда, «образующего» стоимость, или же первое понятие имеет более широкий характер? На первый взгляд вы найдете у Маркса доводы в пользу обеих этих значений «содержания» стоимости. С одной стороны, вы найдете доводы, которые как будто говорят, что под трудом, как содержанием стоимости, мы должны понимать нечто более бедное, чем абстрактный труд, т.-е. труд вне тех социальных признаков, которые ему присущи в товарном хозяйстве.

Какие доводы мы находим в пользу такого решения вопроса?

Вы часто найдете, что Маркс под содержанием стоимости понимает нечто такое, что может принять социальную форму стоимости, но может принять также и другую социальную форму. Под содержанием понимается нечто, способное принимать различные социальные формы. Такою именно способностью отличается социально-уравненный труд, а не абстрактный труд, т.-е. труд, уже принявший определенную социальную форму. Социально-уравненный труд может принять форму труда, организованного в товарном хозяйстве, и форму труда, организованного, напр., в социалистическом хозяйстве. Иначе говоря, мы в данном случае берем социальное уравнение труда в его абстрактном виде, не обращая внимания на те модификации, которые в самом содержании (т.-е. труде) вызываются той или другой его формой.

Встречается ли у Маркса понятие содержания стоимости в таком смысле? На этот вопрос мы можем ответить утвердительно. Вдумаемся, напр., в слова Маркса о том, что «меновая стоимость есть лишь определенный общественный способ выражать труд, потраченный на производство вещи» (Капитал, т. I, русск. изд., стр. 50). Очевидно, труд рассматривается здесь как абстрактное содержание, могущее принять ту или другую социальную форму. Когда Маркс в известном письме к Кугельману от 11 июля 1868 г. говорит, что общественное распределение труда проявляется в товарном хозяйстве в форме стоимости, он опять-таки рассматривает общественно-распределенный труд, как содержание, которое может принять ту или другую социальную форму.

Во втором абзаце раздела о товарном фетишизме Маркс прямо заявляет, что «содержание определений стоимости» мы найдем не только в товарном хозяйстве, но и, напр., в патриархальной семье или средневековом поместье. И здесь, как видим, труд представляет собой то содержание, которое может принять различные социальные формы.

Теперь разрешите мне привести доводы в пользу противоположного положения, согласно которому мы под содержанием стоимости должны понимать труд абстрактный. Прежде всего мы найдем у Маркса некоторые выражения, прямо утверждающие это, напр., следующее: «Они (товары) относятся к абстрактному человеческому труду, как к своей общей общественной субстанции». (Kapital, B. I, 1867, S. 28. Курсив наш). Это выражение как будто не оставляет никаких сомнений в том, что абстрактный труд является не только образователем стоимости, но и субстанцией или содержанием стоимости. К тому же выводу мы придем на основании методологических соображений. Я выше доказывал, что социально-уравненный труд принимает в товарном хозяйстве форму абстрактного труда, и только из этого абстрактного труда вытекает с необходимостью стоимость, как социальная форма продуктов труда. Отсюда следует, что понятие абстрактного труда в нашей схеме непосредственно предшествовало понятию стоимости, и казалось бы, что именно это понятие абстрактного труда и должно быть нами принято за основу, содержание или субстанцию стоимости. Не следует также забывать, что в вопросе о соотношении между содержанием и формою Маркс стоял на точке зрения Гегеля, а не Канта. Кант рассматривает форму, как нечто внешнее по отношению к содержанию и извне присоединяющееся к нему. С точки же зрения Гегелевой философии, содержание не представляет собою нечто

такое, к чему форма извне прилагается, а само содержание, развиваясь, рождает эту форму, которая заключалась в том же содержании в скрытом виде. Форма вытекает с необходимостью из самого содержания.

Таково основное положение Гегелевской и Марксовой методологии, положение, противоположное Кантовской методологии. С этой точки зрения из субстанции стоимости должна с необходимостью вытекать и форма стоимости, а, следовательно, мы должны за субстанцию стоимости принять абстрактный труд, во всем богатстве его социальных определений, характерных для товарного хозяйства. И, наконец, в качестве последнего довода, укажем, что, если мы примем за содержание стоимости труд абстрактный, мы достигнем значительного упрощения всей Марксовой схемы, так как в этом случае труд, как содержание стоимости, не будет отличаться от труда, образующего стоимость.

Мы пришли к парадоксальному положению, что содержанием стоимости Маркс признает то социально-уравненный труд, то труд абстрактный.

Как же нам выйти из этого противоречия? Мне кажется, что это противоречие исчезает, если вспомнить о противоположности обоих методов—аналитического и диалектического, о которых я говорил в начале доклада. Если мы исходим из стоимости, как определенной социальной формы, и ставим себе вопрос, каково содержание этой формы, то оказывается, что эта форма только выражает вообще тот факт, что затрачен общественный труд; стоимость оказывается формою, выражающею факт социального уравнения труда,—факт, происходящий не только в товарном хозяйстве, но могущий происходить и в другом хозяйстве. Подвигаясь путем анализа от готовой формы к ее содержанию, мы в качестве содержания стоимости находим социально-уравненный труд. Но к другому выводу мы придем, если за исходный пункт исследования возьмем не готовую форму,, а самое содержание (т.-е. труд), из которого с необходимостью должна вытекать форма (стоимость). Чтобы от труда, рассматриваемого как содержание, перейти к стоимости, как к форме, мы должны в понятие труда включить социальную форму организации его в товарном хозяйстве, т.-е. содержанием стоимости признать абстрактно-всеобщий труд. Возможно, что именно различием обоих методов и объясняется кажущееся противоречие в определении содержания стоимости, которое мы встречаем у Маркса.

Резюмируя изложенное выше в нашем докладе, мы можем сказать, что основные понятия, на которых построена марксова теория стоимости и денег, составляют следующие пять понятий: 1) производственные отношения товаропроизводителей, 2) абстрактный труд, 3) стоимость, 4) меновая стоимость и 5) деньги.

Энгельс в своей статье о «Критике политической экономии» Маркса указал, что заслуга Маркса заключается в том, что он показал нам всю систему буржуазной экономии в ее внутренней связи. В применении к перечисленным пяти категориям заслуга Маркса заключается в том, что он нам показал внутреннюю неразрывную связь всех этих категорий. К сожалению, эта связь нередко ускользала от глаз читателей, и перечисленные категории рассматривались каждая в отдельности. Вспомним, как обычно представляли себе соотношение между перечисленными пятью категориями.

Начнем с производственных отношений товаропроизводителей. Это было понятие, известное каждому марксисту. Все знали, что изучение производственных отношений людей составляет основу марксовой экономической теории. Но при этом не делали ясной попытки показать, каким образом из производственных отношений людей вытекают те категории, о которых я говорил. Поэтому, когда мы переходили к абстрактному труду, получался полный разрыв между первым и вторым понятиями. Абстрактный труд определялся, как физиологически равный труд, т.-е. совершенно отметалась форма производственных отношений людей как товаровладельцев. Эта форма нами забывалась, и мы вдруг оказывались в сфере физиологически-равного труда, одинакового для всех исторических эпох.

Переходя от понятия абстрактного труда к понятию стоимости, я должен отметить, что эти два понятия были всегда в марксистской литературе тесно связаны между собою. Было бы, действительно, в высшей степени странно, если бы сторонники теории трудовой стоимости не связывали понятие труда с понятием стоимости. Но связь эта покупалась дорогою ценою, а именно тем, что стоимость почти отождествлялась с трудом, и не было ясно, чем собственно стоимость отличается от труда. При дальнейшем переходе от стоимости к меновой стоимости получался опять разрыв. Стоимость отождествлялась с трудом, и поэтому неизвестно было, каким образом меновая стоимость вытекает из стоимости. Наконец, между понятием меновой стоимости и понятием денег в марксистской литературе связь всегда была очень прочна, так как Маркс эту связь подчеркнул и выяснил с особою силою. Таким образом, перечисленные пять категорий разбивались на три группы. В первой группе были производственные отношения товаропроизводителей; во второй—абстрактный труд и стоимость, и в третьей—меновая стоимость и деньги. Система перечисленных пяти категорий была разорвана в двух местах, именно в том месте, где от производственных отношений мы должны перейти к абстрактному труду, и в том месте, где от стоимости мы должны перейти к меновой стоимости.

Эти разрывы исчезают, если мы будем рассматривать абстрактный труд как труд, обладающий определенной социальной формой, и если мы под стоимостью будем понимать единство содержания и формы стоимости.

Благодаря этим двум преобразованиям, мы получаем неразрывную логическую связь всех перечисленных категорий. Из определенной формы производственных отношений людей, как товаропроизводителей, вытекает понятие абстрактного труда. Из абстрактного труда, рассматриваемого не как физиологически равный труд, а как труд социально-уравненный в специфической форме, присущей товарному хозяйству, вытекает с необходимостью понятие стоимости. Понятие стоимости, рассматриваемой как единство содержания и формы, оказывается связанным через свое содержание с предшествующим понятием абстрактного труда, а через свою форму—с последующим понятием меновой стоимости. Наконец, развитие меновой стоимости необходимо приводит к деньгам.

Я не хотел бы, чтобы намеченная мною тесная связь всех этих категорий представлялась вам каким-то логическим самодвижением понятий, рождающих друг друга. Указанная тесная связь

понятий, логически вытекающих друг из друга, об'ясняется тем, что все они построены на понятии производственных отношений людей, как товаровладельцев. Это понятие включает в себя богатое многообразие реальных общественных отношений людей, постоянно сталкивающихся и непрерывно развивающихся. Экономические «категории выражают формы бытия, условия существования, часто только отдельные стороны этого определенного общества» (Маркс, «Введение к критике политической экономии»). Реальным единством этого общества, истинного об'екта нашего исследования, и об'ясняется логическое единство экономических категорий.

Новейший психологизм в политической экономии.

(Теория Роберта Лифманна)[1].

З. Атлас.

Проблема ценности возникла вместе с первыми проблесками научно-экономической мысли у меркантилистов и физиократов.

Так называемая «теория издержек производства» есть не что иное, как недоведенная до конца теория ценности[2]). Ту или иную теорию ценности нельзя противопоставлять теории издержек производства: если продолжать оборванный на полдороге анализ, то мы неизбежно должны от этой теории повернуть к тому или иному конечному пункту, определяющему ценность товара: труду (Рикардо и Маркс), заработной плате (А. Смит и Дж. Ст. Милль), земле (Кантильон и физиократы), полезности (Госсен, Менгер, Бем-Баверк) или, наконец, комбинации одного элемента с другим (как, например, у Туган-Барановского комбинация труда и полезности).

Равным образом и «теория спроса и предложения» не в состоянии об'яснить ценность товара и требует обоснования последней тем или иным фактором[3]).

Политическая экономия, поскольку она пыталась стать на научную почву, не могла обойтись без первой и основной экономической проблемы—обоснования сущности и определения величины ценности. История теории ценности есть история борьбы двух основных принципов (полезности и труда) или двух исходных точек зрения (потребления и производства). От Тюрго, Смита, Рикардо и Сэя до Маркса и Бем-Баверка включительно политическая экономия шла именно этими двумя путями. Полемика

---

[1]) Настоящая статья является переработанным докладом, сделанным автором в Научно-Исследовательском Институте Экономики.

[2]) В. Либкнехт (младший) в «Zur Geschichte der Werttheorie in England» совершенно правильно указывает по поводу теории издержек производства, что меновую стоимость одного товара в такой же степени нельзя об'яснить меновой стоимостью другого товара, как об'яснить вес тела разложением данного веса на вес его составных частей. В обоих примерах мы определяем данное явление посредством того, что само должно быть об'яснено. Поэтому такой метод ни на шаг не приближает к решению проблемы.

[3]) «Отношение спроса и предложения абсолютно ничего не в состоянии об'яснить, пока не раскрыт базис, на котором покоится это отношение» (Маркс, Капитал, т. III, ч. 2, пер. под ред. В. Базарова и И. Степанова, 2 изд.).

Этот «базис» должен быть открыт теорией стоимости.

Рикардо с Сэем по поводу труда и полезности как факторов, определяющих ценность товаров, по существу является прототипом борьбы «теории предельной полезности» с трудовой теорией ценности Маркса. Трудовой принцип Петти-Смита-Рикардо нашел свое завершение в марксовой теории стоимости. С другой стороны, принцип полезности, который уже у Сэя становится пьедесталом экономической теории, находит свое окончательное завершение в теории предельной полезности, которая, логически развитая из двух известных госсеновских принципов, приводит последовательного представителя принципа полезности — Роберта Лифманна к уничтожению самой теории ценности.

Целая плеяда экономистов на Западе и за океаном усиленно работает над ниспровержением всех достижений классической экономии и созданием новой экономии, созвучной буржуазной идеологии XX века. В русской литературе, которая всегда питалась идеями западных экономических теорий, этот переворот в науке связан с именем П. Струве. И уже в тот момент, когда были уничтожены социальные основы «струвнанизма», ученик П. Струве проф. Л. Юровский в своих «Очерках по теории цены», изданных в 1919 году, жестоко третировал всю классическую экономию, Маркса и даже (!) теорию предельной полезности именно за то, что все эти школы «стремились свести цену к чему-то такому, что не есть цена, и в успешном разрешении этой задачи теоретики нередко готовы были видеть главную свою цель»... «Однако,—далее заявляет автор,—эта постановка ложна и бесплодна. Она неминуемо должна была привести к тем метафизическим построениям, которые так блестяще выяснены у П. Б. Струве» [1]). Безграничное самомнение и отрицательное отношение ко всем своим предшественникам—характерная черта современных новаторов! На Западе особенно блещет в этом отношении Р. Лифманн, который считает себя Коперником политической экономии!

В чем же движущий стимул «крестового похода» современных экономистов против закона ценности? Для чего потребовалось уничтожить краеугольный камень экономической науки? Прежде всего для того, чтобы элиминировать из политической экономии социальную проблему, всеми своими теориями связанную с законом ценности.

Если закон ценности, как полагают многие современные экономисты, нельзя построить ни на принципе полезности, ни на принципе труда и издержек, то какой же принцип можно положить в основу закона ценности? Никакого, ибо tertium non datur. Раз так, буржуазной политической экономии не остается ничего иного, как «сменить вехи», об'явить ревизию политической экономии и уничтожить ее теоретический фундамент—закон ценности.

Чем же заполняют образовавшуюся вследствие этого пустоту в политической экономии? Чем заменен основной закон политической экономии?

Наша задача заключается в том, чтобы ознакомиться с наиболее ярким примером такой ревизии на Западе, именно с

[1]) Очерки по теории цены, стр. 73, 74.

теоретическими положениями Р. Лифманна, построенными на основе законов, ничего общего не имеющих с законом ценности, как об этом заявляет указанный автор. В двух толстых томах последнего издания «Grundsätze der Volkwirtschaftslehre» у него нет ни одной главы, посвященной положительной трактовке закона ценности, но зато на протяжении всей книги разбросаны критические замечания против закона ценности вообще, трудовой теории, теории предельной полезности и теории издержек производства, в частности. Его возражения против марксовой теории ценности не представляют из себя ничего нового и оригинального: полезнее остановиться на положительной части его учения, касаясь его критических замечаний лишь постольку, поскольку это необходимо для выяснения его положительных взглядов.

* * *

Как проф. С. Солнцев у нас, так и глава «социально-органического направления» в политической экономии проф. Stolzmann [1]) в Германии считают Роберта Лифманна «крайним представителем австрийской школы» [2]).

Мы не можем целиком согласиться с такой оценкой теоретической системы Р. Лифманна. Несомненно, теория Лифманна является продолжением теории предельной полезности, но это «продолжение» в очень существенных пунктах разрывает с «началом» и отсылает нас к более раннему «началу» «психологизма и суб'ективизма»—Госсену.

Лифманн разрывает с натурализмом австрийской школы и, как мы увидим ниже, сосредотачивает свое внимание на специфической исторической форме хозяйственных действий, на их денежной форме. Расхождение между Лифманном и австрийцами начинается с вопросов об'екта, метода, исходных принципов и основных законов экономической науки и становится еще более рельефным при анализе важнейших экономических категорий, в особенности теории капитала, которую Лифманн выводит из исторической, денежной формы хозяйственных действий, третируя надисторическое, универсальное, грубо-материалистическое определение капитала Бем-Баверка.

Если теория предельной полезности целиком покоится на законе ценности, то теоретическая система Роберта Лифманна, наоборот, совершенно отказывается от этого закона, считая поня-

[1]) См. «Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik», 1914, статья Stolzmann'a.

[2]) Из немецких авторов аналогичную оценку системы Лифманна дает Zwiedineck и некоторые другие авторы. Впрочем, в немецкой литературе мы не встречаем такого категорического отождествления Лифманна с австрийской школой (за исключением Stolzmann'a): ряд авторов подчеркивает специфические черты лифманновской теории и, например, Karl Diehl рассматривает Лифманна независимо от австрийской школы, как представителя самостоятельного направления. Диаметрально противоположен взгляд Alf. Ammon'a на теоретическую систему Роберта Лифманна: «Можно сказать, — говорит Ammon, что все основы его (т.-е. Лифманна. *З. А.*) экономической теории в действительности суть не что иное, как искажение той же теории предельной полезности» («Liefmanns neue Wirtschaftstheorie» in «Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik», 1919, 46 B., S. 406). С этим мнением, однако, нельзя согласиться. Мы покажем ниже, что отличает теорию Лифманна от теории предельной полезности.

ние «об'ективной ценности» вредной фикцией и глубочайшим заблуждением. Тем самым Лифманн решительно меняет и всю архитектонику теоретико-экономической постройки, реконструируя не только фасад, но и фундамент. Правда, Лифманн говорит о «ценности дохода» (Ertragswert), но эта ценность, как подчеркивает автор, есть не более, чем индивидуальная оценка, целиком подчиненная в рамках индивидуального хозяйства принципу дохода (Ertragsprinzip). Однако субʼективизм и психологизм являются общей почвой для обеих теорий.

Поэтому вполне прав Бухарин, когда он говорит, что «свое полное самопознание теория предельной полезности нашла у Лифманна» [1]), при чем Бухарин ссылается на статью Лифманна «Über Objekt, Wesen und Aufgabe der Wirtschaftwissenschaft» («Об об'екте, сущности и задачах экономической науки»). Эта ссылка указывает нам, что, говоря о «самопознании теории предельной полезности», Бухарин имеет в виду именно принципиально-методологическое «самопознание», что подтверждается также и следующей цитатой из того же труда Бухарина: «Мы рекомендуем вниманию читателей работу Лифманна, как наиболее последовательно и созиательно проводящую индивидуалистический метод» [2]).

У нас Р. Лифманн известен широким кругам исключительно по его капитальным описательным трудам «Картели и тресты» и «Формы предприятий», переведенным на русский язык. Что же касается теоретической системы Р. Лифманна, то о ней в нашей литературе можно встретить лишь ряд отрывочных замечаний у различных экономистов [3]).

В самое последнее время меткую характеристику теории Р. Лифмана дал в своем обзоре новейшей немецкой экономической литературы А. Леонтьев. «Оппозиция теории ценности австрийцев,—говорит А. Леонтьев,—представлена Р. Лифманном, играющим роль своего рода Пуришкевича в политической экономии. Он хочет быть буржуазнее всех буржуазных экономистов, хочет быть большим врагом марксизма, чем самые заядлые марксоеды; теория ценности австрийцев ему представляется недостаточно индивидуалистической, недостаточно психологической» («Вестник Комм. Академии», т. XVI) [4]).

В иностранной литературе Р. Лифманн представляет из себя крупную фигуру на горизонте экономической мысли. В немецкой литературе мы встречаемся с целым рядом монографий, специально посвященных критике лифманновской системы. Наиболее солидными и оригинальными являются работы Штольцмана, Диля, Цвидинека, Оппенгеймера, Аммона и Зеслена. Критика, как мы видим, представлена весьма солидными именами немецкой экономической науки.

---

[1]) Бухарин, Политическая экономия рантье, стр. 31.

[2]) Там же, стр. 32.

[3]) См. Кохановский, Экономика и экономический принцип в их отношении к общей системе социальных наук, Владивосток 1915 г.; Оржецкий, Учение об экономическом явлении; Билимович, К вопросу о расценке хозяйственных благ; Струве, Хозяйство и цена, ч. II, стр. 5; Кацеленбаум, Учение о деньгах и кредите, изд. 2, ч. I, и др.

[4]) Уже после того, как настоящая статья была сдана в набор вышла книга И. Рубина «Современные экономисты на Западе», часть которой посвящена изложению и критике и теории Р. Лифмана.

I. Методологические основы теории Лифмана.

Лифманн дает следующую характеристику об'екта, сущности и метода экономической науки.

Не из философии и априорного мышления должен быть выведен об'ект экономической науки, но из опыта. То, что нам дает экономический опыт, и должно стать об'ектом экономической науки. Опыт же дает нам представление о хозяйствовании, как психическом процессе: поэтому и об'ект познания науки должен быть идентичным этому представлению, взятому из опыта. «Хозяйственные действия» (Wirtschaftliche Handlungen) суть те, которые вытекают из чисто психического процесса хозяйственных соображений; «хозяйственные отношения» (Beziehungen) и «хозяйственные организации» (Einrichtungen) возникают из хозяйственных действий, т.-е. в конечном счете из хозяйственных соображений (Erwägungen). В этих моментах уже и даны основные элементы об'екта экономической науки, которую Лифманн называет «учением о хозяйственных действиях и отношениях людей и вытекающих из них хозяйственных организациях» (т. I, стр. 115).

Касаясь проблемы сущности экономической науки, Лифманн отмечает, что нет особой «социально-экономической теории» в противоположность «индивидуалистической» теории. Правильная индивидуалистическая экономическая теория об'ясняет все явления менового оборота; широко распространенное мнение, что экономическая теория должна об'яснить все социальные феномены, как, например, образование классов, покоится на смешении науки о хозяйстве с наукой об обществе. Определяя задачи экономической теории, Лифманн говорит: «Я понимаю под теорией систематическое об'яснение имеющегося у науки об'екта опыта из правильно понятого принципа идентичности» (том I, стр. 183). Приведенное выше определение об'екта экономической науки по Лифманну, как нам кажется, говорит о том, что законы политической экономии приложимы ко всем эпохам, где имеются хозяйственные действия и хозяйственные связи людей. Однако Лифманн указывает дальше (стр. 202—211), что хозяйственные соображения и отношения неразрывно связаны с формой этих последних, при чем единственной и универсальной формой экономических связей для Лифманна является меновой оборот. Поэтому большинство положений экономической теории с его точки зрения имеют силу только для той эпохи, в которой меновой оборот организован частными стремлениями к доходу.

Лифманн не мыслит иной формы хозяйственных связей и организаций помимо менового оборота, регулируемого частными стремлениями к доходу. В гипотетическом социалистическом хозяйстве не будет, замечает Лифманн, никакого обмена: «хозяйствует» одно государство (?).

Касаясь «социальных» и «частных» законов, Лифманн подчеркивает, что в экономике нет этой противоположности, что закон, управляющий отдельным хозяйством, вместе с тем регулирует и весь, как он выражается, «механизм менового хозяйства». То, что для отдельного хозяйства составляет всеобщий принцип, направление деятельности, для менового оборота является только

тенденцией, которая определяется этим всеобщим индивидуальным принципом.

Р. Лифманн вполне разделяет менгеровские приемы абстракции и поэтому неизбежно должен разделить и все вытекающие из них ошибки, поскольку методология австрийцев, хотя и исходит по виду из эмпирики, но в действительности пропитана схоластикой и метафизикой, ибо диалектика, как прием исследования, исключается из экономической методологии как Менгером, так и Бем-Баверком и Лифманном. Поэтому, хотя и Бем-Баверк, и Джевонс, и Менгер, и Лифманн исходят из конкретного суб'екта со всей гаммой его психических переживаний, но они берут этого суб'екта в абстракции изолированного бытия, игнорируя диалектическую связь единичного и социального, не понимая, что суб'ект уже есть проявление об'екта, что он отражает в своей практике социальные законы, что он во всех своих действиях подчинен стихийному распорядку этого обезличенного социального единства.

Если у вульгарных экономистов первой половины XIX века (Кэри, Бастиа и пр.), по выражению Маркса, «фикция без фантазии», то у австрийцев мы уже имеем законченную фантазию, поскольку они игнорируют диалектическую связь элементов в единой системе и строят абстракции на основе чистейшей фантазии—анализе элемента (индивида), взятого вне связи его со всей системой. Может ли поэтому рассчитывать хотя бы на самый жалкий научный успех теория, которая для познания действительности исходит из анализа несуществующего в своей конкретности элемента, являющегося плодом явной фантазии? Совершенно очевидно, что, исходя из такого типа абстракции и пользуясь обычными приемами логики, можно развернуть цепь силлогизмов и построить ряд более сложных абстракций, которые будут нас не приближать, но удалять от реального мира. Обратно: эта теория лишь в той мере может приближаться к отображению действительности, в какой она откажется от своей исходной точки (психики индивида) и обратиться к анализу конкретного сочетания элементов в сложном переплете социально-экономического единства.

Так именно и поступает Роберт Лифманн: в этом направлении он делает большой шаг вперед по сравнению с австрийцами, которые, установив мнимый закон суб'ективной ценности для изолированного хозяйства, существующего только в голове и на бумаге, развертывая свою систему, по существу не вышли из рамок своей фикции. Они пытались все экономические явления об'яснить на основе закона суб'ективной ценности, а поскольку такового вообще не существует, постольку и все производные категории оказались висящими в воздухе, только формально логически связанными с этой «простейшей фантазией». Эта «элементарная фантазия», называемая «основным экономическим законом», представляет из себя Рубикон, который отделяет теорию австрийской школы от конкретной экономической практики. Деньги—вот тот простейший эмпирический факт сугубо социального характера, который никакими формально логическими опе-

рациями суб'ективно не может быть выведен и обоснован. И поскольку австрийцы исходят из анализа фиктивного безденежного хозяйства, постольку вся их теория лежит вне эмпирической действительности, постольку они не могут понять специфических социально-экономических законов и их преломления в психике индивидуального хозяйства. Они пытаются натурализовать и суб'ективировать об'ективные социальные феномены, они пытаются насиловать жизнь своей теорией, приспособить факты к вымышленной теории, но не теорию к фактам.

Буржуазная экономическая мысль подняла форменный бунт как против критических упражнений Роберта Лифманна, так и против его положительной системы. Ведь он об'являл схоластикой, формальным догматизмом и глубочайшим заблуждением не только теории классиков и Маркса, но и все построения теории предельной полезности, и даже «социально-органические» конструкции Штольцмана, Диля и пр. Буржуазные критики ополчились против этого дерзкого человека с «неслыханным самомнением», который не только не понял, но и не в состоянии понять своих предшественников (Оппенгеймер), который абсолютно ничего не внес положительного в теорию (все критики), но только извратил теорию предельной полезности (Аммон), который построил свою теорию на плагиате у других авторов (Цвидинек) и т. д. и т. д.

Мы думаем, что нападки Лифманна на господствующие теории имеют более глубокие основания. Лифманн не мог не притти в результате своих исследований конкретной экономической действительности к выводу о несостоятельности теории предельной полезности; австрийская теория не могла не находиться в кричащем противоречии со всеми теми фактами, с которыми Лифманну-эмпирику приходилось сталкиваться при изучении организации современного капиталистического хозяйства. Не Лифманн, как кабинетный ученый, а сама жизнь, сама буржуазная действительность в его лице восстала против произвольных теоретических построений теории предельной полезности. Фигура Лифманна-критика об'ективно, исторически неизбежно должна была вырасти на фоне обанкротившейся буржуазной экономической науки.

На Лифманна выпала задача огромной важности: примирить теорию с действительностью и вместе с тем не лишить политической экономии насквозь пронизывающего ее апологетического содержания.

В этом и заключается весь внутренний смысл Лифманновской теории, и в этом, и только в этом, ее историческая миссия. Показать, в какой мере удалось Лифманну выполнить эту миссию—и составляет одну из основных задач настоящего очерка.

Лифманн старается прочно держаться за суб'ективизм и психологизм именно потому, что, как откровенно признается сам автор, только этот метод и дает возможность элиминировать из чистой науки совершенно чуждые ей политические моменты.

Лифманн-ученый (соединивший в себе и эмпирика и апологета) принимает принципиальное содержание методологии австрийской школы в качестве отправного пункта и строит свою си-

тему, разрушая в основных вопросах все схоластико-метафизические построения австрийцев. Лифмани, как эмпирик, знает, что не может быть никакой суб'ективной ценности в качестве регулятора «менохозяйственного механизма», что предположения о данном запасе благ и конструкция изолированного безденежного хозяйства есть чистейшая фикция, которая у практика может вызвать одно лишь недоумение. Вся система Лифмана построена на выяснении конкретной связи и проявления различных экономических элементов в той социальной форме, которая об'ективно нам дана—денежной. Что же касается выяснения причинной зависимости элементов и сведения их к первичному простейшему элементу, то эту задачу Лифмани выполняет своей теорией «экономического поведения» и «эконом. равенства предельных доходов», как предельного равенства индивидуальных психических переживаний. Таким образом, мы имеем в его системе, во-первых, описание экономических феноменов в конкретной форме их проявления—здесь Лифманн выполняет «прагматическую» задачу приближения теории к практике. Во-вторых, Лифманн дает и об'яснение явлений, правда, весьма далекое от научного об'яснения, но зато дающее возможность окрасить в апологетические тона все экономические феномены. Совершенно естественно, что именно социальная форма экономических явлений, об'яснение которой и составляет центральный пункт экономической теории, у Лифманна не может и не должно найти никакого об'яснения, но рассматривается, как данная и при том наиболее совершенная социально-техническая форма проявления индивидуальных хозяйственных действий. Лифмани совершенно не скрывает, что здесь он выступает в качестве предвзятого апологета, считая данную форму социально-экономической связи людей единственной логически мыслимой формой человеческого общения.

Идеализм в философии—это и есть психологизм в экономике. И поэтому лифманновскую систему можно характеризовать также как последовательно идеалистическую, в противоположность последовательно-материалистическому принципу Маркса и непоследовательному идеализму австрийской школы. Последовательный идеализм (который вытекает из его суб'ективизма) приводит Лифманна к тому, что у него, даже и при конкретных описаниях взаимозависимости элементов, действительность, правильно описанная по форме своего движения, оказывается подобно гегелевской системе «перевернутой на голову». В этих случаях идеализм, как принцип, вмешивается в диалектическую абстракцию, как метод анализа, и искажает действительную картину.

К суб'ективизму и идеализму присоединяется потребительская точка зрения в качестве исходного принципа системы Лифманна.

У Лифманна на первый взгляд нельзя констатировать чисто потребительской теории, как, например, у австрийцев, но нельзя констатировать и чисто производственной точки зрения. Он и здесь является дуалистом, при чем этот дуализм выдвигается Лифманном в качестве основного закона.

Хозяйственное действие выражается в противопоставлении издержек («трудовой» или «производственный» принцип) и полезности (потребительский принцип), но синтезирующим оба прин-

ципс является прииции выручки, дохода, как результата указанного противопоставления, который выражает по Лифманну некоторую гамму психических ощущений наслаждения или потребления. Следовательно, исходя из дуализма, Лифманн все же приходит к монистическому потребительскому принципу: необходимость такого исходного принципа диктуется для Лифманна одновременно обеими задачами, которые были поставлены перед ним эволюцией буржуазной экономической мысли и о которых мы выше говорили: во-первых, возврат к экономическому реализму и, во-вторых, сохранение и углубление апологетической окраски теории.

Таким образом производственная точка зрения оказалась покрытой более широкой и универсальной потребительско-психической точкой зрения. Лифманн остается на той же позиции австрийцев—точке зрения примата потребления над производством.

Сказанным предрешается вопрос об индивидуальном и общем в принципиальной методологии Лифманна. Если для австрийцев социальное есть результат взаимодействия индивидуального, или сложения индивидуальных действий в социальный акт, если социальное или «народно-хозяйственное» для австрийцев все же существует как об'ект, независимый от индивидуального или частно-хозяйственного, то Лифманн совершает серьезнейшую операцию над «социальным» или народно-хозяйственным без всякого опасения за судьбу оперируемого.

Лифманн последовательный индивидуалист: он ставит точку над i и заявляет, что не существует никакого особого «народного хозяйства» или «социального явления», поскольку и то и другое не может быть прощупано практикой, но зато вполне реален и действенен хозяйствующий суб'ект с его психическими переживаниями. Здесь Лифманн прямо протягивает руку П. Струве, его концепции социального нигилизма. И Лифманн по существу приходит к тому, что «раз исключительно суб'екту принадлежит единство и закономерность, которые... составляют коррелат об'екта, то ясно, что суб'ект сам творит об'ект» [1]). Лифманн не боится сделать подобный вывод, и мы не можем не признать поэтому за ним огромного мужества и теоретической выдержки.

Крайний идеализм (чистый психологизм) вместе с последовательным суб'ективизмом и эмпиризмом приводит его по существу к чистому солипсизму, поскольку он вполне серьезно утверждает, что реально достоверно только то, что взято индивидом из опыта и оставило отпечаток в его психике. Экономический закон вне индивида и его психики—есть чистейшая фикция, выдуманная материалистами-об'ективистами—такими громкими тирадами неоднократно разражается Лифманн на протяжении всего своего труда.

Наконец, последний вопрос в кругу принципиально-методологических проблем есть вопрос о статике и динамике исторической и неисторической точек зрения. Лифманн враг статики и настаивает на том, чтобы экономическое исследование было насквозь пропитано динамическим анализом, поскольку, как

---

[1]) Л. Аксельрод. Философские очерки, стр. 102.

вполне резонно замечает Лифманн, сама экономическая жизнь не статична, но перманентно-динамична. Динамика Лифманна целиком вытекает из его эмпиризма: таким образом и в этой области Лифманн идет дальше австрийцев и приближается к экономическому реализму. Но здесь вновь мы сталкиваемся с присущей всей лифманновской системе антиномией последовательного реализма и строгой апологетики. Он ограничивает динамическую точку зрения рамками данной социальной формы и, допуская непрерывность движения внутри последней, категорически отрицает возможность изменения самой социальной формы. Апологетика преграждает ему путь для последовательно-динамического и исторического анализа. Он вполне «историк», поскольку дело касается эволюции докапиталистических форм или эволюции последовательных ступеней самой капиталистической формы, но он останавливается на последней ступени капиталистического развития—«фондовом капитализме» по его терминологии и торжественно заявляет: дальше итти некуда—это и есть идеальная форма хозяйственной организации! Но поскольку Лифманн применяет историческое и динамическое исследование хотя бы в рамках капиталистической формы, постольку Лифманн в теоретическом отношении,—мы должны это еще раз подчеркнуть,—на целую голову выше своих суб'ективно-психологических предшественников.

На этом мы заканчиваем характеристику принципиально-методологической позиции Роберта Лифманна.

Теоретическая система Роберта Лифманна обнимает все основные проблемы политической экономии. Однако мы не имеем возможности в рамках статьи дать изложение и критический разбор всей лифманновской системы. Поэтому мы ограничимся анализом его системы с точки зрения вопроса о методологической приемлемости построения политической экономии, минуя закон ценности.

Дав методологическую характеристику его теории и став на точку зрения критикуемого автора, мы проанализируем внутреннее содержание общего принципа («хозяйственного действия») и основного закона («равенства предельных доходов»), регулирующих, по мнению Лифманна, менохозяйственную систему.

Однако, поскольку общий принцип и основной закон должны дать также и научное об'яснение экономических феноменов, необходимо также проследить применение того и другого на анализе центрального экономического феномена—цены.

II. Принцип «хозяйственного действия».

Модернизированная трактовка старого, уже покрытого плесенью, классического «экономического принципа» составляет базис всей теоретической системы Роберта Лифманна. На основе этого принципа Лифманн выводит и свой универсальный закон экономической науки «менохозяйственного предельного дохода».

Поскольку с точки зрения Лифманна основная задача экономической теории сводится к об'яснению менового оборота из хозяйственных действий отдельных лиц, постольку необходимо точно установить, «когда возникают хозяйственные явления»

(том I, стр. 237) или, иными словами, нужно ответить на вопрос о «сущности хозяйственного».

«Рассматривая сначала,—говорит Лифманн,—как следствие, как цель человеческого действия получение возможно большего ощущения наслаждения (следовательно, психическое понятие) и как средство издержки, ощущение неприятности, напряжения, но не массу продуктов, я получаю масштаб того, сколько средств я должен затратить» (том I, стр. 278).

В чем же заключается особенность «экономического принципа», в чем его сущность?

Поскольку противопоставляются друг другу не цель и средство, но полезность и издержки, ощущение приятности и неприятности, постольку и проблема экономического, а не технического максимума заключается в получении наибольшего наслаждения, пользы с наименьшими издержками, «хозяйственное действие—формулирует Лифманн—возникает вообще только там, где сравниваются полезность и издержки, т.-е. где может быть установлен доход (выручка)» (том I, стр. 282).

Хозяйственно-индивидуальная задача и заключается поэтому в том, чтобы при стремлении к удовлетворению потребностей получить максимум наслаждения с минимумом издержек, т.-е. в результате сравнения ощущений приятности и неприятности достигнуть наибольшего результата, «дохода» в чисто психическом понимании этого термина.

В основе хозяйствования лежит принцип планомерности. Об отдельном действии можно сказать, является ли оно хозяйственным только в связи с другими действиями, т.-е. в связи со всем хозяйственным планом. Но «планообразной предусмотрительностью» (planmässiger Vorsorge) понятие «хозяйствования» еще недостаточно охарактеризовано: хозяйственная задача заключается в распределении издержек, соответствующих не данным, но необходимым полезностям для удовлетворения различных, самих по себе не ограниченных, но с растущим удовлетворением падающих в своей силе потребностей. «Хозяйствование—это есть установление системы пропорциональности между различными полезностями и их издержками по принципу максимума» (стр. 667).

Ограниченность благ, принцип редкости также представляет из себя нечто психическое, ибо сущность его не в ограниченности предметов внешнего мира, но в ограниченных возможностях приобретения, следовательно этот принцип возникает у самих людей при применении издержек.

При выполнении хозяйственной задачи решающим является отношение между издержками и полезностями, т.-е. между каждой затраченной единицей издержек и полученной единицей полезности. Это отношение Лифманн называет «доходом», «выгодой» в широком смысле слова (Ertrag). В промысловом хозяйстве вместо психического сравнения издержек и полезностей удовлетворяются противопоставлением массы денег, но это не меняет существа понятия дохода (?).

Нельзя из данного запаса благ выводить ценность, ибо экономическая проблема и заключается в том, чтобы ответить на вопрос, «в каком об'еме я должен применить еще неизвестные сами по себе издержки, в последнем счете трудовые затраты

для удовлетворения неограниченных, но по интенсивности все более убывающих потребностей» (том I, стр. 321).

Эта проблема индивидуального хозяйствования и есть вместе с тем проблема **предложения**, которая и должна ответить на вопрос о том, какие должны быть применены издержки в меновом хозяйстве.

В результате анализа «хозяйственного поведения» Лифманн рассматривает вопрос о соотношении техники и хозяйства, упрекая все направления политической экономии в смешении этих двух точек зрения.

Из этого смешения хозяйства и производства [1]) возникла абсолютно ложная проблема ценности: тратя понапрасну силы на борьбу вокруг проблемы ценности, ни последователи классической школы, ни суб'ективное направление не могут прогрессировать в разрешении основных проблем политической экономии—цены и доходов. «Чистая техника» есть всегда только средство, ничего не говорящее о применении рационального принципа; только с введением хозяйственного понятия издержек (Kosten) «чистая техника» превращается в «экономическую технику» и дает возможность сравнения издержек и полезностей.

---

[1]) Целый ряд немецких критиков Лифманна, как, например, Диль, Оппенгеймер и др., считают этот упрек Лифманна господствующим теориям вполне основательным, хотя и несколько преувеличенным. Указанные критики считают большой заслугой Лифманна то, что он резко отделил экономику от материального процесса производства, технику от хозяйства (См. **Oppenheimer**, «Zeitschrift für Politik», 1919, B. XI, S.S. 475—507). С этим мнением совершенно не согласен Цвидинек. Мы считаем недопустимой полную абстракцию от технических моментов. Не говоря уже о том, что уровень развития техники определяет собой всю экономическую структуру, полная изоляция техники от экономики закрывает нам путь к анализу регулятора капиталистического хозяйства—закона ценности, так как для определения цен производства нужно знать различия в органическом составе капиталов, а эти различия прежде всего вытекают из технического состава капиталов. Поэтому нельзя согласиться с такой оценкой Диля: «Я могу выставить, как основную заслугу лифманновских трудов, то, что в них всюду постоянно подчеркивается необходимость строгого разграничения хозяйственного и технического анализа» (**Karl Diehl**, Theoretische Nationalökonomie, I Bd., S. 328).

В этом пункте с Лифманном расходится и П. Струве. Задаваясь вопросом о том, «не следует ли из политической экономии совершенно устранить самое понятие производства, как это делает в сущности Лифманн» (Хозяйство и цена, II часть, стр. 4), Струве отрицательно отвечает на этот вопрос, полагая, что нельзя уничтожать «реальные основы связи между естественной проблемой создания продукта и экономической проблемой образования ценностей», так как «величина ценности независима от массы благ», а, наоборот, «нормальным случаем указанной зависимости является прямая, положительная зависимость величины ценностей от массы благ» (там же, стр. 6). Показывая далее, что несколько единиц блага всегда представляют для суб'екта бо́льшую ценность, чем одна единица, Струве замечает: «Все это могло бы показаться банальностью, если бы мы не видели на примере Лифманна, как далеко зашел суб'ективизм и психологизм в отрицании естественного аспекта производства» (там же, стр. 7). Дальше следуют специфические для творчества Струве оригинальности, вроде серьезной ссылки на Бентама о том, что производительность капитала вытекает из физической производительности животных, что ценность может благодаря одним только вегетативным процессам расти без дополнительной затраты труда и т. п. апологетический вздор, представляющий из себя не более чем вульгаризацию физиократической доктрины. Мы думаем, что расхождение между Струве и Лифманном в этом вопросе во всяком случае не в пользу Струве, который развивает теорию, уже давно ставшую анахронизмом и опровергнутую еще Адамом Смитом.

Таковы в общих чертах взгляды Р. Лифманна на сущность «хозяйственного» или «хозяйственного действия»[1]).

Что же внес Лифманн нового в старое-престарое понятие «хозяйственного принципа»? Ровным счетом ничего! Но Лифманн не только не внес ничего нового в это понятие, но в то же время и извратил его. По Лифманну сначала имеются определенные потребности, а затем уже для их удовлетворения применяются издержки; эти последние, как ощущение неприятности, сравниваются с тем наслаждением, которое доставляет удовлетворение потребности, и в этом чисто-психическом акте и заключается сущность «хозяйственного действия», измеряемого «доходом», как некой психической оценкой полученного наслаждения в сравнении с затраченными усилиями.

Но мы спросим Лифманна: откуда человек знает, что у него есть потребность в определенных благах? Кажется совершенно очевидным, что психический акт «желания» неотделим и обусловлен наличием желаемого об'екта. Мы не можем желать чего-то несуществующего: наше желание определяется уже существующими об'ектами, при чем появление новых об'ектов под влиянием «потребностей», «желания» (например, мода) всегда исходит из комбинации уже существующих элементов материального мира.

Кроме того, потребность, желание, чтобы сделаться, так сказать, «экономически осязаемым», т.-е. именно эмпирически познаваемым, должно стать количественно-определенным; в этой количественной определенности и заключается важнейший момент хозяйствования. Рабочему нужно питаться. Он знает из опыта, что ему нужно 2 фунта хлеба и ½ фунта мяса в день. Его желание направлено на определенный об'ект, в определенном количестве. Точно так же, директор банка, «желая» получить «наслаждение» от виллы, выражает это желание указанием на цену, определенное месторасположение этой виллы (что также известно ему из опыта), указывает на необходимое ему число комнат, размер сада и т. д. Таким образом «желание», «потребность» связаны всегда с желаемыми и потребляемыми об'ектами в определенном количестве. Именно благодаря этой качественной и количественной определенности потребностей становится возможным сравнение и учет потребностей, их бесконечная растяжимость от широчайших и интенсивнейших потребностей миллионеров до примитивнейших и однообразнейших потребностей сельских батраков и безработных.

Далее, каким образом в процессе «хозяйствования» можно сравнивать ощущения «приятности и неприятности», «полезности и издержек», если момент издержек и неприятности количественно не определен? Очевидно, сравнение невозможно; хозяйственный акт сравнения мыслим только в отношении количественно-определенных предметов внешнего мира. Ощущения неприятности и жертвы возникают только в связи с конкретно выраженными об'ектами жертвы.

Наконец и «планосообразная предусмотрительность», характерная по Лифманну для понятия «хозяйственного действия», не

[1]) Более подробное изложение лифманновской методологии и его основного принципа «хозяйственного поведения» читатель найдет в труде проф. С. Солнцева «Введение в политическую экономию».

может базироваться на неустойчивых и изменчивых психических ощущениях приятности и неприятности, но исключительно на материально-количественном учете и предусмотрительности. Без этого было бы немыслимо индивидуальное «планирование».

Если издержки и полезность обязательно должны быть материально-количественно выражены, то и результат сравнения, доход (Ertrag), не может быть чисто психическим, оторванным от материальной субстанции понятием, но опять-таки отражением в психике человека материального акта хозяйствования, т.-е. выражением избытка полученной суммы благ над затраченной суммой благ (или денег, как их заместителей), и именно по этим суммам можно судить о степени выгодности или невыгодности в каждом отдельном случае затраты труда и капитала. Если доход—это психическое понятие, то каким образом мы можем сказать, что он больше или меньше и именно в столько-то раз? Очевидно, измерение и сравнение доходов были бы абсолютно невозможными, если бы доход представлял из себя нечто исключительное психическое и суб'ективное.

Следовательно, попытка ревизии и нового чисто-психического обоснования понятия «хозяйствования» Лифманну совершенно не удалась и завела его в дебри суб'ективного идеализма, бросила в об'ятия чистейшей метафизики. Его понимание «хозяйственного» стоит в решительном противоречии с его же методологическим требованием эмпиризма, соответствия научного представления опыту.

Вместе с тем необходимо отметить, что психическую трактовку хозяйственного принципа (но без обобщающего понятия дохода) можно встретить в более или менее ясной форме и совершенно независимо от Госсена и Лифманна у многих старых и новых авторов.

С другой стороны, и его синтезирующее этот принцип понятие дохода под другими названиями и в несколько видоизмененном методологическом «соусе» можно также встретить у многих авторов. Достаточно указать на оригинального американского интерпретатора теории предельной полезности—Зелигмана, который изобрел остроумное понятие «прибавочной полезности», на наш взгляд целиком совпадающее с лифманновским доходом, который по существу есть не что иное, как избыточная или прибавочная полезность. «Избыток полезности над стоимостью,—говорит Зелигман,—есть прибавочная полезность. При этом совершенно несущественно, называем ли мы ее прибавочной полезностью производителя или прибавочной полезностью потребителя»[1]). Или, например, такая формула того же автора: «В качестве потребителя я рассчитываю на прибавочное удовлетворение... Однако эта специфическая прибавочная полезность, потребителя не имеет никакого практического значения. В действительной жизни всякое пользование или потребление предполагает приобретение, т.-е. затрату известной стоимости... Реальное значение имеет только избыток удовлетворения над стоимостью»[2]).

[1]) Зелигман, Основы политической экономии, перевод со второго американского издания, Спб. 1908, стр. 172.

[2]) Там же, стр. 173.

Подчеркнутые нами фразы с полной очевидностью говорят о том, что «прибавочная полезность» Зелигмана целиком совпадает с «доходом» Лифманна, поскольку характерные особенности обоих понятий тождественны, и различие здесь—это, несомненно, чисто терминологическое. Зелигман, так же, как и Лифманн, подвергает решительной и вполне положительной ревизии чисто потребительский идеал хозяйствования австрийской школы, пытаясь эту фикцию заменить более реальным идеалом и на место стопроцентного потребителя поставить хозяйствующего индивида, который не только потребляет, но кроме того и добывает средства потребления, систематически восстанавливая уничтожаемые запасы.

О сущности этой ревизии мы уже говорили выше в связи с методологией Лифманна. Лифманновское понятие «хозяйствования», как мы показали, не выдерживает индивидуалистической же критики, на почве которой мы до сих пор стояли. Та же судьба неизбежно должна постигнуть и всех других психологических интерпретаторов «хозяйствования», и в частности все приведенные выше определения.

Некоторые критики Лифманна также усиленно напирают на это слабое место его теории. Так Цвидинек [1]) полагает, что этот принцип, как голое сравнение жертвы и пользы индивидом, не представляет из себя ничего специфически-экономического, но принадлежит просто к области «рассудка» (Vernunft) и в этой своей форме был использован при построении экономической теории как Рикардо, так и многими новейшими экономистами. Цвидинек далее подчеркивает, что лифманновская характеристика хозяйственного действия сама не дает твердого разграничения хозяйственного и технического действия: при последнем всегда предполагается определенная затрата, жертва в целях получения определенного желаемого результата, т.-е. налицо имеется как раз то, что Лифманн приписывает мыслящему суб'екту в его хозяйственных поступках. И вообще, с точки зрения этого критика, вся область «чистой экономики» представляет из себя сумму «технических преодолений». Наконец, Цвидинек доказывает (и вполне убедительно), что и в индивидуальных рамках не может быть одного психического процесса хозяйствования, но все издержки и все полезности обязательно должны быть количественно и материально выражены.

Аммон, так же, как и Цвидинек, полагает, что в лифманновском определении «хозяйствования» нет ничего оригинального в сравнении с прежними определениями. Критик констатирует неопределенность понятия «хозяйствования» и его конститутивных элементов—издержек и полезности в различных местах лифманновских «Основ».

Аммон критикует понятие издержек, как неприятности, и пользы, как удовольствия, полагая, что полезность выражает лишь некоторую неоформленную потребность, и в этом своем виде полезность не может быть противопоставлена издержкам. Поэтому с точки зрения Аммона противопоставления «Полезности как

[1]) «Über den Subjektiwismus in der Preislehre» in «Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik», 38 Bd., 1919, S.S. 1—52.

ощущения наслаждения издержкам, как ощущению неприятности, вовсе не существует» [1]).

Из других критиков отметим только *Эсслена* [2]), который, развивая мысль Цвиднека, полагает, что «хозяйствование» в лифмановском смысле присуще всякой вообще рациональной деятельности и что этот принцип, не говоря уже о Смите и Госсене, имеется в развитом виде у Джевонса, Сакса и Маршалля. Эсслен полагает, что лифмановская «полезность» есть лишь другое название *суб'ективной ценности*, а издержки должны представлять из себя (если Лифман хочет, чтобы его система не противоречила опыту) не что иное, как *потеря полезности*, и таким образом оба элемента «хозяйствования» могут быть сведены к суб'ективной ценности.

Мы не будем останавливаться на других критиках, так как они по существу не прибавляют ничего нового к изложенным выше критическим замечаниям Цвиднека, Аммона и Эсслена.

Важно подчеркнуть, что замена Лифманом соизмеримости ощущений их сравнимостью уже означает огромный шаг к капитуляции психологической теории. Если допустить одну только сравнимость ощущений, то нужно будет признать, что в хозяйственную деятельность индивида вмешивается *нечто извне*, что заставляет хозяйствующего придавать определенное и вполне точное выражение своим расценкам, что точность расценок не является поэтому продуктом индивидуальной воли, но результатом какого-то *внешнего процесса*. Поэтому не в суб'ективных ощущениях, но в этой внешней по отношению к индивиду среде нужно искать ключ к анализу ценообразования. Наоборот, эти суб'ективные ощущения вращаются вокруг уже данного стержня, вокруг об'ективной величины, которая дана суб'екту в его хозяйственных поступках. Следовательно, индивидуальное хозяйствование происходит на основе уже *существующего об'ективного хозяйственного распорядка*, который непрерывным током связан со всеми составляющими его элементами, но не может рассматриваться, как продукт того или иного элемента или *сложения* массы элементов. Поэтому, если исходить из психической трактовки хозяйственного действия и в то же время не настаивать на явно недоказуемой гипотезе соизмеримости ощущений, то обязательно нужно притти *к признанию действия факторов, стоящих над индивидуальной хозяйственной волей*. Отсюда для об'яснения сущности явлений методологически правильнее исходить из определяющего, но не определяемого фактора, из об'ективных экономических явлений, но не из суб'ективных хозяйственных переживаний.

Мы пытались доказать *эмпирическую нереальность* психической трактовки экономического принципа.

Однако даже при правильной, т.-е. материалистической, трактовке «хозяйственного действия» мы методологически не вправе начинать анализ экономических явлений с этого пункта, поскольку данный принцип не представляет из себя ничего

---

1) *Alf. Ammon*, цит. соч., стр. 381.

2) *J. Esslen*, «Nutzen und Kosten, als Grundlage neuer Wirtschaftstheorie» in Schmollers Jahrbuch», 1918, S.S. 245—297.

специфического, но относится вообще ко всякой деятельности человека, и в этом совершенно прав Эсслен.

Еще Бентам говорил: «Природа подчинила человека власти удовольствия и страдания» [1]), но противопоставление этих двух суб'ективных ощущений, данных нам от природы, ничего не в состоянии об'яснить в отношении сущности законов тех специальных сфер, в которых этот принцип проявляется (экономической, научной, художественной и пр.). Нужно обратиться непосредственно к изучению этих сфер, чтобы уразуметь их жизнь, но не повторять тысячу и один раз, как это делает Лифманн, что все люди страдают и наслаждаются и вечно стремятся к тому, чтобы второе было больше первого. Кто же в этом может сомневаться? Это все равно, что говорить, вроде Булгакова, что «хозяйство—есть выражение борьбы этих двух метафизических начал—жизни и смерти, свободы и необходимости, механизма и организма»; но хозяйствование по Булгакову ограничено, ибо «способно ли оно поднять мятеж против самого этого князя (смерти)?.. способно ли хозяйство изгнать из мира смерть и победою над ней преодолеть то, что составляет ее собственное условие?!!» [2]). Нет, конечно, никогда не способно! Но что из этого: при чем тут цена, деньги, прибыль, рента и т. д.?

Если бы Лифманн хотел заниматься, подобно Булгакову, мистикой и в этом стиле философствовать по поводу метафизического бытия хозяйствования, то тогда было бы понятно, если бы он в основу своей системы положил этот универсальный рационалистический принцип. Но ведь Лифманн постоянно заявляет себя злейшим врагом метафизики и сторонником строжайшего эмпиризма. А раз так, значит осью экономической системы не должен служить этот метафизический принцип. Одно из двух: либо эмпиризм, либо метафизика. Но если эмпиризм—тогда нужно убрать из фундамента системы общерационалистический принципе и, следовательно, перестроить все здание, начиная с «базиса» и кончая «надстройкой». Но Лифманн не желает реконструировать свою систему и предпочитает сидеть между двух стульев—сугубым эмпиризмом и крайней метафизикой! Мы увидим, сколь неловко будет себя чувствовать Лифманн в этой межпланетной сфере — между потусторонним миром и нашей грешной землей!

Не спасает Лифманна и введение понятия «планосообразности», как конституирующего принцип «хозяйственного действия». Значение этого момента для хозяйственного принципа подчеркивает еще более рельефно «экономист-энергетик» Лудасси, который приходит к выводу, что «существенный признак хозяйственности заключается исключительно в целесообразности» (подчеркнуто нами) и что поэтому «моменты хозяйственного, экономического и целесообразности тождественны» [3]). Здесь совершенно отчетливо, так же, как и у Лифманна, стирается грань между хозяйственной и нехозяйственной деятельностью, между расчетами материалов капиталистом-производственником и расчетом красок творцом-художником.

---

[1]) Иеремия Бентам, Принципы, пер. Гершензона, 1896 г.
[2]) Булгаков, Философия хозяйства, стр. 149.
[3]) J. Gans Ludassy, Die Wirtschaftliche Energie, S.S. 363, 370, 388.

С другой стороны, мы думаем, что именно этот момент «хозяйственного действия» является роковым как для определения принципа, так и для того назначения, которому должен служить этот принцип, т.-е. для построения всей экономической системы.

Одно положение Лифманна гласит, что законы менового хозяйства и индивидуального хозяйства тождественны. Другое положение: индивидуальный хозяйственный принцип характеризуется моментом планосообразности. Сопоставьте оба положения, и вы увидите, что они несовместимы, второе исключает первое, или наоборот. Характеризуется ли современное меновое хозяйство, как система, планосообразностью? Никакое, даже самое архи-буржуазное «опытное» и вполне суб'ективное представление не имеет право ответить утвердительно, поскольку никто не управляет сознательно «менохозяйственным механизмом», никто не строит планов для всей системы, ибо вообще здесь отсутствует суб'ект планосообразной деятельности. Кризисы дают вполне осязаемое представление отсутствия планосообразности в «менохозяйственном механизме». А раз так, значит индивидуальное хозяйство и «менохозяйственный механизм» не только не тождественны по своему основному регулирующему принципу, но диаметрально противоположны. Таким образом признание за хозяйственным принципом в качестве обязательного признака момента планосообразности (что совершенно верно), отрицает возможность регулирования этим принципом непланосообразной системы, именно «менохозяйственного механизма». Хотя на этот момент буржуазная критика не обратила внимания, поскольку некоторые из них являются представителями «социально-органического метода» и исходят из «социально-телеологической» точки зрения, мы считаем, что именно здесь происходит решительный прорыв всей системы Лифманна: исходный принцип совершенно отрывается от анализируемого об'екта.

Но здесь, впрочем, возможно с его стороны одно возражение: хотя «менохозяйственный механизм» и не имеет сознательной планосообразности, но он фактически, поскольку в нем налицо «система пропорциональности элементов», подчинен стихийно осуществляемой «планосообразности» [1]). Но ведь в этом-то и коренное различие между индивидуальным хозяйством и социальным. В первом налицо сознательно регулирующая воля, во втором ее нет. Поэтому проблема и заключается в том, чтобы об'яснить, каким образом, несмотря на отсутствие сознательного регулятора, осуществляется некоторая, правда, весьма несовершенная об'ективная «планосообразность». Планосообразность этого типа именно является бессознательной, стихийной и об'ективной, и в этом вся специфичность социально-хозяйственной системы: нельзя подставлять на место суб'ектной планосообразности бессуб'ектную, ибо оба элемента не только качественно отличны, но качественно противоположны. Не может быть идентичности индивидуального и социального хозяйства, поскольку качественная особен-

---

[1]) Правильнее говорить не об «об'ективной планосообразности», но «об'ективной закономерности», ибо понятие «планосообразности» предполагает наличие суб'екта планосообразности.

ность одного противоположна другому, и поэтому и регулирующий принцип индивидуального хозяйства не может являться регулирующим принципом социального хозяйства.

Мы подошли к последнему моменту критики принципа «хозяйствования»—его универсальности. Универсальность, надисторичность «хозяйственного принципа» понимают и сами суб'ективисты. Так Е. Филиппович подчеркивает, что «это есть лежащий в природе человека принцип, опирающийся, хотя не на одно только материальное основание, но проявляющийся в хозяйственной сфере с такой решительностью, что получил прямо название хозяйственного или экономического принципа»[1]). Филиппович, так сказать, сознает, что этот принцип специфичен не для одной только экономической сферы; однако он вместе с тем считает, что «хозяйственный интерес оказывается единственным регулятором обмена и находит свое выражение в ценах»[2]). Вместе с тем Филиппович, повидимому, сознает, что более тщательный анализ содержания этого основного экономического закона может доказать неприемлемость его в качестве базиса теоретической системы, и поэтому он в одном своем академическом докладе еще в 1886 г. категорически заявил, что «экономическая теория исходит из факта, что люди преследуют хозяйственные цели хозяйственным путем, и ее задача исчерпывается наблюдением вызванных этим явлений. Какие мотивы стоят за этими хозяйственными действиями—безразлично»[3]).

Закрывать глаза на сущность того явления, которое признается решающим для всей теории—это единственный выход из затруднительного положения экономиста-суб'ективиста. Лифманн же не пожелал пользоваться этим недостойным приемом, и в изложенной нами главе дал более детальный анализ содержания этого принципа. Наш разбор этого принципа показал, что он отнюдь не специфичен «хозяйственности», но имеет в этой области лишь частный случай своего применения.

В этом пункте наша критика совпадает с возражениями Карла Диля, который вполне резонно упрекает Лифманна в неисторичности, полагая, что совершенно отличен метод хозяйствования («распределения издержек и полезности») средневекового феодала и современного частно-капиталистического предпринимателя, и что поэтому без такого социального ограничения и различий общественной обусловленности хозяйственных действий нельзя притти к учению о народном хозяйстве. Если исходить только из экономического принципа, т.-е. универсального понятия, то нужно построить и соответствующую этому принципу систему, т.-е. внеисторическую систему. Между тем Лифманн исходит из определенной социальной формы хозяйствования, именно «менохозяйственной» или «денежной». Поэтому Лифманн и здесь допускает методологическую ошибку: для об'яснения сущности специфических законов данной исторической эпохи он берет надисторический, столь же универсальный, сколь и бессодержательный принцип. Если одно явление состоит из «a, b, c», а другое из «a, d, c», то очевидно, что особенность второго явления в сравнении с первым должна заключаться в

[1]) Е. Филиппович, Основания политической экономии, пер. с немецкого, 1901 г., стр. 2.
[2]) Там же, стр. 173.
[3]) Über Aufgabe uhd Methode der politischen Okonomie, 1886.

«d» и «e», но не в «a», как особенность первого в «b и c», но не в «a», как общем элементе, дающем представление о сходстве, но не об отличии и специфичности данного явления. Поэтому методологически совершенно неправильно брать за основу теоретического анализа менового хозяйства элементы, которые присущи всякому хозяйствованию и даже всякой рациональной деятельности вообще.

Этим мы заканчиваем нашу критику лифманновского основного принципа «хозяйственного действия». Мы пытались доказать, что этот принцип, во-первых, неправильно трактуется Лифманном с суб'ективной же точки зрения, во-вторых, и из этой неправильной трактовки вытекает необходимость неиндивидуалистического об'яснения экономических феноменов и, в-третьих, что даже при правильной его трактовке он ни в коем случае не может дать ключа к познанию специфичности нашего об'екта исследования менохозяйственной организации.

III. Закон «равенства предельного дохода».

Лифманн далек от концепции «изолированного потребителя», и в этом главное его отличие от теоретиков австрийской школы. «Потребительское хозяйство» рассматривается им в связи с меновым оборотом, этой универсальной и неустранимой формой хозяйственных связей.

К закону предельного потребительского дохода он приходит на основании следующее концепции. Позади денежно-промыслового хозяйства, по его мнению, всегда стоят интересы потребительского хозяйства. Различие между потребительским и промысловым хозяйством не идентично «технико-материалистическому» (!) различию производства и потребления. Решающим является цель: непосредственное удовлетворение потребностей или косвенное, т.-е. через получение денежных доходов[1]).

Поскольку и для потребительского и для промыслового хозяйства существует одна и та же цель, постольку они должны иметь и идентичный регулирующий принцип.

Виды потребностей и их классификация, а равным образом и различие настоящих и будущих потребностей не должны интересовать экономическую теорию.

---

[1]) Лифманн свое разграничение «промыслового» и потребительского хозяйства, повидимому, заимствует у Зомбарта, у которого это деление проведено весьма рельефно.

«Различия создаются здесь прежде всего,—говорит Зомбарт,—благодаря различным мотивам деятельности хозяйствующих суб'ектов. При этом, вообще говоря, мы можем наметить 2 группы существенно различных мотивов. Ведь люди или стремятся обзавестись вполне определенным как по количеству, так и по качеству запасом потребительных благ, т.-е., другими словами, стараются удовлетворить свои естественные потребности; или же они стремятся к увеличению прибыли (Gewinn), т.-е. стараются добыть путем своей хозяйственной деятельности возможно большее количество денег. В первом случае мы говорим, что действия людей определяются принципом удовлетворения потребностей (Bedarfsdekungprinzip), а во втором—принципом наживы (Erwerbsprinzip). (В русском переводе «Современного капитализма», т. I, стр. 8). Однако лифманновское определение отличается от Зомбартовского тем, что у него «потребительский принцип» не только не исключает «принципа наживы», но, наоборот, является необходимым его условием и в рамках менохозяйственной организации.

Расчет потребностей есть результат опыта, облегчаемого достаточно точно известными денежными доходами (?) и достаточно стабильными ценами (?!).

Блага распадаются на блага для потребления (Genussgut) и блага для издержек (Kostengut), но это различие проводится не с материальной точки зрения, т.-е. не как свойство самих благ, но в связи с отношением к ним хозяйствующего суб'екта. Поэтому одно и то же благо может быть для одного «благом для потребления», а для другого—«благом для издержек». Самый вид, свойство блага не играют никакой роли в этом разграничении понятий. Не акт потребления и наслаждения есть хозяйство, но лишь те соображения, психические переживания, которые связаны с предусмотрительностью в удовлетворении потребностей.

Чрезвычайно важен «закон прогрессирующих издержек»: каждое дальнейшее применение трудовой затраты ощущается более интенсивно, как чувство неприятности.

Доход в широком смысле (Ertrag) не конечная цель, но направляющее начало хозяйственной деятельности. «Сравнение доходов дает направление хозяйственных действий в отдельном потребительском хозяйстве» (стр. 398). Сравнение примененных издержек и полученной пользы на каждое отдельное благо дает нам представление о предельной потребительской выгоде данного блага. Предельные выгоды на различные блага должны быть равны между собой. Если благо требует относительно больших издержек, хозяйствующий откажется от получения данной полезности и заменит ее другой более относительно выгодной. «Этот доход от последней единицы издержек, который употребляется для каждой потребности, мы называем предельным доходом (Grenzertrag)» и «именно предельный доход определяет последние единицы издержек, которые могут быть употреблены для удовлетворения каждой потребности» (стр. 405). Таким образом «само хозяйственное действие, применение издержек для удовлетворения неограниченных потребностей регулируется направлением доходов» (стр. 406).

Произведя некоторые исчисления, в духе австрийской школы, как в потребительском хозяйстве устанавливается степень выгоды от применения издержек и получения полезности на отдельные блага, Лифманн приходит к выводу, что предельный доход означает наименьший перевес (Überschuss) полезности над издержками, при котором хозяйственный расчет допускает применение данных издержек (стр. 414).

Как мы видим, этот закон весьма похож на известный «закон предельной полезности». Однако Лифманн с этим не согласен: по его закону происходит выравнение предельного наслаждения, доставляемого благами, так что польза рассматривается не абсолютно, но обязательно в сравнении с издержками. Таким образом, закон предельной пользы подчинен, так сказать, закону предельного дохода. «Этот предельный доход,—говорит Лифманн,—определяет сначала предельную пользу, т.-е. при какой высоте полезности прекращается дальнейшее удовлетворение потребностей, что в отношении всех потребностей определяется законом уравнения предельных доходов» (стр. 416).

Таков пресловутый «закон равенства предельных доходов» Роберта Лифманна. По мнению автора, этот закон представляет из себя «самое важное положение экономической теории», ибо он дает наиболее острую формулировку хозяйственного принципа и представляет из себя универсальный закон, которым руководствуется хозяйствующий индивид и который поэтому управляет и организует весь меновой оборот. «Открыв» этот закон, Лифманн полагает, что он нашел научный «талисман», «волшебную палочку», владея которой можно прояснить туманные небеса экономического горизонта!

«Закон равенства предельного дохода» совершенно идентичен как для потребительского, так и для промыслового хозяйства и, наконец, для всей организации менового оборота. Этот закон Лифманн расчленяет на три момента: «идею дохода» (Ertragsgedanke), «идею предела» (Grenzgedanke) и «идею уравнения» (Ausgleichsgedanke), рассматривая в отдельности проявление каждой идеи в потребительском хозяйстве. Нам нет надобности следовать по извилинам идей Роберта Лифманна: сущность закона достаточно ясна из приведенных выше цитат и комментарий к ним на основании текста.

* * *

«Закон равенства предельных доходов» (выручек) для лифманновской системы имеет такое же значение, как «закон суб'ективной ценности» для теории предельной полезности. Вместе с тем оба закона являются производными из госсеновских принципов, без ознакомления с которыми нельзя понять и лифманновского закона.

В литературе принято называть два главнейших положения Госсена первым и вторым «законами Госсена». Обратимся к первому закону, который в свою очередь расчленяется на два момента: 1) «величина одного и того же наслаждения, при непрерывном восприятии его, постоянно уменьшается до того момента, пока, наконец, не наступит насыщение», и 2) «такое уменьшение величины наслаждения имеет место также при повторении ранее полученного наслаждения; и не только в том смысле, что уменьшение наступает при вторичном получении наслаждения, но уже вначале интенсивность последнего слабее; сокращается при повторении и продолжительность времени, в течение которого нечто ощущается, как наслаждение; быстрее наступает пресыщение, и оба элемента, как начальная интенсивность, так и продолжительность, сокращается тем энергичнее, чем скорее наступает повторение» [1]). Различие между первым и вторым моментами этого закона заключается только в том, что в первом случае мы имеем падающую интенсивность наслаждения при непрерывном потреблении блага, во втором—при прерывном, при чем, если промежуток времени между получением 1-й единицы наслаждения и 2-й уменьшается до нуля, то второе положение совпадает с первым. В обоих случаях мы имеем один и тот же принцип прогрессирующего падения интенсивности наслаждения вплоть до момента полного насыщения.

Теория предельной полезности австрийской школы целиком покоится на этом «первом законе Госсена»: величина наслажде-

[1]) Gossen, цит. сочинение, стр. 4—5.

ния последней единицы блага есть предельная полезность, по которой определяется ценность всего запаса благ. Лифманн также принимает это положение Госсена и на нем строит свою теорию оценок благ, а также свою теорию цены, доходов («предельные доходы») и т. д., поскольку вообще он пользуется идеей «предела» в качестве нивелирующего принципа. Однако Лифманн вполне резонно считает одно это положение Госсена недостаточным, так как выводы относительно потребления одного какого-нибудь блага ничего не говорят о том, как будет производиться суб'ектом расценка одновременно нескольких благ, при условии предварительных издержек, необходимых для приобретения их.

Изолированная расценка одного блага и игнорирование необходимости издержек—суть совершенно неправомерные посылки, и поэтому Лифманн вполне справедливо отказывается от этих нереальных абстракций, которыми пользовалась теория предельной полезности, и сосредотачивает свое внимание на так наз. «втором законе Госсена». Довольно примитивное положение госсеновской теории, которое громко названо его «вторым законом», сводится к тому, что человек, которому предстоит свободный выбор между несколькими наслаждениями, но который не имеет возможности воспользоваться всеми ими целиком, в целях получения совокупного максимума удовлетворения, распределит наслаждения таким образом, «чтобы величина наслаждений в тот момент, когда будет прекращено получение последних, была одинакова» [1]), т.-е., иными словами, с точки зрения этого гедонистического принципа мы всегда стремимся к тому, чтобы наслаждаться различными благами в такой мере, в какой это обеспечивает наивысшее совокупное удовлетворение. Этот принцип является дополнением к первому принципу,—дополнением, приближающим нас к реальной аналитике процесса потребления человека. Этим устранена первая нереальная посылка австрийцев: вторая же посылка (данность запаса) также противоречит Госсену, ибо он утверждает, что «человек таким образом должен распределить свое время и свои силы между добытием себе разнообразных наслаждений, дабы ценность последнего полученного атома любого наслаждения была равна той неприятности, которая была бы причинена человеку, если бы он получал данный атом в момент последнего напряжения своей силы» [2]). Иными словами, гедонист так организует свою деятельность, что интенсивность наслаждения, доставляемого различными благами, согласуется с величиной тех издержек и неприятностей, которые неизбежно должны быть затрачены для получения наслаждения.

В такой форме «госсеновские законы» очень близко приближают нас к действительности в том смысле, что характеризуют общерационалистическую форму хозяйственной психологии, однако они ничего не говорят об ее конкретно-историческом содержании в зависимости от тех или иных условий социально-экономической обусловленности индивидуальной хозяйственной психологии.

В этих «госсеновских законах» и заключается весь принципиальный фундамент теоретической системы Роберта Лифманна. Замените в приведенной ци-

[1]) Там же, стр. 12.
[2]) Там же.

тате «последний атом» «предельным доходом», и вы получите лифманновский «закон равенства предельных доходов». Вопреки мнению автора, мы не видим ровным счетом никакого отличия этого «закона» от интерпретируемых положений Госсена. Равенство предельных полезностей и издержек различных благ названо «предельным» доходом; усовершенствование этого «закона» таким образом сведено к чисто терминологической операции.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что Лифманн, как это и следует из изложенного, лучше понял и последовательнее применил госсеновские принципы при построении теоретической системы, чем это сделала теория предельной полезности, которая, несомненно, гипертрофировала лишь одну сторону госсеновских принципов.

К оценке этого «закона» можно подходить двояко: во-первых, с точки зрения тех задач исследования, которые поставил себе Лифманн, и, во-вторых, с точки зрения его действительного значения в хозяйственной жизни.

Конрад Шмидт [1]) в своей статье, посвященной австрийской школе, доказывает, что всякий акт хозяйствования связан не только, если можно так выразиться, с «расчетливым потреблением», но и с расчетом возможности восстановить потребляемое благо, т.-е. добыть его. Поэтому и Робинзон, поскольку он «хозяйствует», должен ориентироваться на потребление благ обязательно в связи с величиной той трудовой затраты, которая неразрывно связана с приобретением желаемого блага. Отсюда Конрад Шмидт вполне логично приходит к убийственному, на наш взгляд, для австрийской теории выводу: хозяйство, хотя бы и абсолютно изолированное, никогда и нигде не может управляться законом предельной полезности, который только и применим к несчастным господам, выброшенным на море после крушения корабля с некоторым запасом благ у отдельных лиц; эти блага каждый из пострадавших по-своему расценивает и по предельной полезности обменивает. Но в этом случае нет хозяйства, а там, где есть возможность восстановления запаса благ, там не действует закон предельной полезности.

Лифманновский «закон предельного дохода» абсолютно неуязвим для такой критики, поскольку здесь сравниваются не степени полезности различных благ друг с другом, но полезности и издержки каждого в отдельности блага: издержки для получения блага применяются именно до некоторой предельной грани, предельной выгоды от данного блага в отношении всех других благ в рамках всего хозяйственного плана, т.-е. всех издержек, которые могут быть затрачены хозяйствующим индивидом.

Нам кажется, что в такой формулировке этот закон имеет полную значимость для индивидуального, замкнутого хозяйства, если отбросить, конечно, психологическую мишуру, в которую он облечен у Роберта Лифманна. «Закон предельного дохода» (лучше сказать «выгоды»)—есть не больше, чем уточнение старого, известного первым экономистам так наз. «хозяйственного принципа»; дав более отчетливую его формулировку в указанном законе, снабдив его небесполезными комментариями, разрушив вместе с тем грубое извращение этого принципа австрийской школой, Лифманн сделал до некоторой степени

[1]) См. «Основные проблемы политической экономии».

полезное дело. Однако сам Лифманн преувеличивает «предельный доход» нашей науки от его индивидуальных «издержек» и напрасно выдает этот закон за свое великое открытие. «Предельный доход» нашей науки от этого «открытия» значительно уменьшается еще и тем, что Лифманн, с одной стороны, облек его в мистическую оболочку самодовлеющих психических процессов и, с другой стороны, придал этому закону настолько же широкое, насколько и ошибочное значение организационного принципа всей современной экономики.

Закон этот имеет универсальное значение для индивидуального хозяйства лишь постольку, поскольку это последнее изолированно, т.-е. для самодовлеющего, ойкосного хозяйства. Следовательно, можно предположить, что на первичной стадии хозяйственного развития до тех пор, пока превалировало замкнутое хозяйство и не был развит обмен, этот закон был действительным регулирующим хозяйство принципом. Но и в этом хозяйстве сравниваются не абстрактные, как у Лифманна, полезности и издержки, но получение конкретных благ в отношении трудовых затрат, связанных с их приобретением. И если польза «трудовых издержек» на данное благо менее высока (т.-е. индивид получает относительно меньшую потребит. выгоду), хозяйствующий отказывается от приобретения данного блага, предпочитая свою трудовую затрату посвятить другому более выгодному благу. В результате таких сравнений выгод от трудовых затрат на различные блага, и устанавливается тождество выгоды, или «равенство предельного дохода». Перевернув лифманновский закон с головы на ноги, с психологии на материю, с потребления на труд, мы получаем подлинный, громко выражаясь «основной закон индивидуального хозяйства».

Но здесь и начинается самое важное «но». Дело в том, что наше признание значимости этого закона только в индивидуальном хозяйстве совершенно не устраивает Роберта Лифманна, как не устраивает и нас; мы сходимся с Лифманном в том пункте его понимания задач экономической науки, где он говорит, что экономическая наука должна об'яснить экономические отношения между людьми в их современной форме менового хозяйства.

Однако этот закон, хотя и не перестает действовать в современных индивидуальных хозяйствах, уже не изолированных, но связанных через обмен со всеми другими хозяйствами, но его роль не превалирующая, но подчиненная; этот принцип хотя и не может быть игнорирован, однако не открывает ключа к познанию экономической действительности. Он дает нам представление лишь о том, как действует индивид при данных об'ективных условиях; эти последние хотя и созданы индивидуальными действиями по принципу «предельного дохода», однако имеют совсем иную, именно социальную, природу.

И никто иной, как сам Лифманн вынужден в противоречии со всей своей системой признать, что индивидуальные хозяйственные действия и принцип «предельного дохода» обусловлены «менохозяйственным механизмом». Что касается «промыслового хозяйства», то здесь это совершенно очевидно, поскольку сравнение

издержек и полезностей и установление предельного дохода производится не какой-то идеальной меркой, имманентной нашей психологии, но, как говорит Лифманн, **деньгами**. Значит для того, чтобы сравнить полезности с издержками и установить степень доходности предприятия, нужно иметь предварительно представление о **ценах**, ибо сравнение производится в деньгах. Поскольку предварительным условием хозяйственных действий владельца «промыслового хозяйства» является наличие денежной единицы и прейс-куранта всех цен, а эти последние и есть то, что организует и управляет меновым оборотом, постольку очевидно Лифманн попадает в порочный круг: предполагается данным именно то, что требуется доказать.

Лифманну, как мы видим, не удалось проделать самой ничтожной «мелочи»—это **перекинуть мост от индивидуального к социальному хозяйству**. На анализе его теории цены мы вторично убедимся в наличии той непроходимой для буржуазного ученого-суб'ективиста пропасти, которая отделяет частное от социального хозяйства.

Каково же действительное значение принципа «хозяйственного действия» и «закона равенства предельной выгоды» в современном социальном хозяйстве?

Этот закон является только предпосылкой, общим условием для действия основного закона менового хозяйства, закона ценности. Как в простом меновом хозяйстве, так и в капиталистическом хозяйстве, закон ценности и цен производства в чистом виде проявляется только при предположении свободной игры «хозяйственных действий» отдельных индивидов. Как известно, Маркс именно на этом предположении строил свои гениальные абстракции; он, с одной стороны, нисколько не игнорировал роли «экономического принципа» и, с другой стороны, никогда не переоценивал его значения при об'яснении основных феноменов современной экономической действительности.

Если мы представим себе простое товарное хозяйство, то здесь **предположение действия этого «закона» должно неизбежно привести нас к закону трудовой ценности** [1]).

---

[1]) Предельная индивидуальная выгода для товаропроизводителя есть результат сравнения полученной полезности с единственным, имеющимся в его распоряжении элементом издержек—трудовой затратой. Если трудовая затрата не приносит предельной выгоды, при которой хозяйствующий считает для себя возможным дальнейшее применение издержек, он направляет свои издержки, трудовую затрату на производство другого блага, которое могло бы ему дать больший доход. Таким образом в результате конкуренции производство данного вида сосредотачивается в руках тех, которые умеют его производить наиболее экономно—это как раз и будут те товаропроизводители, которые работают при средних общественно-нормальных условиях производства: на каждую единицу продукта затрачивается некое среднее число часов общественно-необходимого труда. Этот общественно-необходимый труд, уравнивающий различные трудовые затраты, может реализоваться только благодаря наличию данной формы экономических связей, т.-е. рынку. «Общественно-необходимый труд» обеспечивает производителю «предельный меновохозяйственный доход»—затрачивающий меньшее число трудовых часов на производство данного товара получает больший доход—а для затрачивающего большее число часов доход упадет ниже предельного менохозяйственного дохода, и производитель перекочует в другую отрасль. Так благодаря индивидуальным стремлениям к большей выгоде и устанавливается социальное равенство трудовых затрат в различных товарах; закон трудовой ценности сам, как мы видим, есть порождение принципа «хозяйственного действия»; но раз появив-

Лифманновский «закон равенства предельных доходов» тесно примыкает по своей принципиальной сущности к «законам», формулированным остроумным последователем теории предельной полезности, значительно приблизившим последнюю к реальной действительности, американским экономистом Симоном Паттеном [1]). Он формулировал шесть законов потребления: 1) «закон необходимости» (Notdurf); 2) «закон разнообразия» (Mannigfaltigkeit); 3) «закон согласования» (Übereinstimmung); 4) «закон издержек» (Kostengesetz); 5) «законы группировки» (Gruppierung) и 6) «закон отрицательной полезности» (Das Gesetz des negatiwen Nutzens). Третий закон («полезность блага зависит от группы тех благ, совместно с которыми оно потребляется») и четвертый закон («предметы потребления оцениваются не по общей их полезности, но исключительно по избытку полезности над издержками») соединенные вместе, дают лифманновский «закон равенства предельных доходов».

Однако как теория Паттена, так и теория Лифманна суть не что иное, как выводы из наблюдения над индивидуальными хозяйственными действиями. Они ни в коем случае не могут представлять из себя экономической теории. Они должны быть совершенно исключены из последней; ибо экономические законы всегда суть общественные, а потому и об'ективные законы. Все эти «законы» могут дать нам представление разве лишь о характере рациональной деятельности человека в процессе индивидуального хозяйствования, но обязательно в зависимости от данных об'ективных условий менового оборота. Об'яснить же, почему в капиталистическом хозяйстве периодически повторяются кризисы, почему существует историческая тенденция нормы прибыли к понижению, почему общество де-

———

нись закон трудовой ценности при наличии достаточно развитых меновых связей определяет такое направление движения хозяйствующих индивидов, которое обеспечило бы равновесие всей менохозяйственной системы. Можно сказать: хозяйственные действия индивидов подчиняются об'ективной необходимости к закономерному распределению труда в обществе, а эта закономерность устанавливается на основе равенства «общественно необходимых» трудовых затрат, т.-е. закона трудовой ценности; этот последний определяет и устанавливает уровень «менохозяйственного предельного дохода», а равно и «предельного потребительского хозяйства», зависящих в условиях простого товарного хозяйства только от одной величины—степени развития производительной силы труда в обществе.

Принцип «хозяйственного действия»—есть необходимое условие действия закона трудовой ценности; это, если можно так выразиться, кнопка, которую нужно нажать, чтобы привести в движение трудовой ток; закон «предельного дохода» для менового хозяйства есть тот результат, к которому приводит это движение, т.-е. следствие закона трудовой ценности...

Более сложная, но принципиально тождественная связь, существует между тем же принципом и законом Лифманна, с одной стороны, и законом ценности—цен производства Маркса, с другой. Следуя нашему методу, читатель сам без труда может построить соответствующую дедукцию. Нам кажется, что закон трудовой ценности есть связывающее звено между той особенностью менового хозяйства, которая характеризуется непрерывным движением индивидуальных хозяйственных «клеток», т.-е. лифманновским принципом «хозяйственного действия», и всеми основными экономическими феноменами—ценой, деньгами и лифманновским «предельным доходом» в широком смысле, т.-е. заработной платой, прибылью и рентой. Однако Лифманн совершенно отрицает это связывающее звено, и из принципа «хозяйственного действия» и «закона уравнения предельного дохода» пытается об'яснить все экономические явления.

[1]) Simon Patten, «Die Bedeutung der Lehre vom Grenznutzen» in «Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik», 1891, Bd. II, S.S. 481—534.

лится на классы и группы с резкой и неизменной дифференциацией уровней их «менохозяйственных предельных доходов» и т. п., эти «законы» ни в какой мере об'яснить не могут, ибо все указанные явления в рамках индивидуального хозяйства не возникают. Специфическая историческая форма проявления этих законов не может быть выведена из общерациональных принципов, и законы Госсена-Лифманна, Паттена, Кларка [1]) и пр. совершенно бесплодны для социально-экономической теории, для об'яснения основных экномических феноменов.

Лифманновский «закон равенства предельных доходов» был подвергнут серьезной критике Дилем (и другими авторами), который, считая неправильным этот принцип в индивидуальном хозяйстве, приходит к выводу, что в применении к народному хозяйству «его (Лифманна) закон равенства предельных доходов есть только видоизмененная формулировка старого закона средней нормы прибыли» [2]). Это, несомненно, верно, поскольку и «закон средней нормы прибыли», и «закон равенства предельных доходов» представляют из себя не более, чем констатирование эмпирически вполне очевидного факта (определенный уровень процента) и того процесса, который приводит к установлению этих средних уровней. Однако нельзя согласиться с Дилем, что в лифманновской трактовке этот закон получает всеобщее значение, в то время как классики применяли его к частному случаю (прибыли). Классики прекрасно знали этот «всеобщий закон» и учитывали его при анализе всех без исключения экономических феноменов, рассматривая этот закон не как явление, подлежащее доказательству, но как очевидный факт, вытекающий из самой «природы» человека. Отсюда и их взгляд на капиталистическое общество, как на естественный порядок вещей. Однако никем не доказано, что этот стихийный процесс установления уровней различных менохозяйственных доходов для различных классов и слоев населения является «естественным», т.-е. неизменным порядком, и что социально-экономическая организация не может быть иной. Наоборот, исторический процесс показывает, что бессуб'ективная хозяйственная система возникает лишь на определенной ступени общественного развития и на определенной ступени, как доказал Маркс, эта система об'ективно-неизбежно должна быть взорвана развитием производительных сил.

Лифманн же в этом вопросе становится на точку зрения классической экономии, принимая в свою систему именно эту сторону их учения, так как она a priori дает возможность оправдать капиталистический строй; с другой стороны, Лифманн решительно порывает с той стороной учения классиков (теория ценности и прибавочной ценности), из которой с логической неизбежностью вытекает классово-антагонистическая структура современного общества, и которую поэтому немыслимо сочетать с проблемой «научной апологетики» капиталистического строя с проблемой узаконения современного экономического раб-

[1]) Закон Кларка в интерпретации Зелигмана гласит: «Предельная полезность связана не с товаром, как целым, но зависит от предельных инкрементов богатства в данном товаре» (Зелигман, Основы, стр. 164). Природа этого закона совершенно тождественна с описанными в тексте законами.

[2]) Цит. сочинение, стр. 380 и след.

ства. Отсюда мы видим, сколь бесцеремонно Лифманн обращается со своими предшественниками, заимствуя у них только то, что полезно для его теории и тех задач, которые он ставит последней, и отбрасывая то действительно ценное у них, что может помешать построению «беспартийной» экономической теории.

Нам нет надобности доказывать невозможность приложения его строго суб'ективного «закона равенства предельных доходов» для об'яснения об'ективных экономических явлений, ибо этот закон есть не что иное, как развитие его суб'ективного принципа «хозяйствования», на неприемлемости которого для анализа социально экономических явлений мы уже останавливались.

Лифманн исходит из чисто формальной аналогии между «равенством предельных доходов» внутри индивидуального хозяйства и равенством уровней отдельных видов доходов для индивидов в меновом хозяйстве. Откуда проистекает эта аналогия? Просто из того, что и индивидуальное и социальное хозяйство суть определенные системы, а во всякой системе должна существовать пропорциональность составляющих ее элементов, ибо иначе невозможно равновесие, а следовательно, и самое существование системы. Поскольку же «равенство предельных доходов» означает не что иное, как факт пропорционального соотношения элементов или наличие равновесия системы, постольку наличие указанного «равенства» неизбежно в обоих случаях.

В окружающем нас мире мы можем встретить бесконечное количество таких аналогий, но в каком смешном положении очутился бы тот естественник, который вместо классификации явлений и изучения специфичности сочетания элементов в каждом данном типе явлений повторял бы бесконечное количество раз, что во всех явлениях (о чудо!) он «открывает» некоторое закономерное сочетание элементов, что, например, и у животных, и у растений имеется непрерывный обмен веществ, вместо того, чтобы показать, как этот обмен веществ происходит в одном и другом случае, из чего состоят элементы данного типа и как они сочетаются. Лифманн как раз и уподобляется естественнику, научный метод которого заключается в «идее-фикс» закономерного сочетания элементов в системе. Задача политической экономии заключается не в том, чтобы сказать, что все рабочие одной и той же отрасли производства должны получать одинаковый уровень заработной платы, а капиталисты—одинаковый уровень промышленной прибыли, рантьеры—одинаковый уровень процента и т. д., но в том, чтобы об'яснить прежде всего, в чем сущность этих уровней доходов, почему они вообще существуют, в какой связи они находятся между собой и т. д.

Лифманн одни вопросы снимает совершенно, а на другие не дает удовлетворительного ответа. Но он и не может дать такового, так как исходит из формальной аналогии индивидуального и социального хозяйства, в то время, как между ними (что уже было показано нами) существует качественное и чрезвычайно глубокое принципиальное различие. Качественная особенность социального хозяйства (его стихийность прежде всего) поглощает собой универсальные черты индивидуального хозяйствования, которое не только связывается с первым, но и целиком подчиняет ему свои действия, перерождаясь из самостоятельной системы в элемент новой системы.

Совершенно естественно, что этот элемент системы может действительно научно быть исследован только путем анализа системы, но не синтеза элементов, ибо прежде чем синтезировать элементы, нужно их предварительно найти, а найти мы их можем только путем абстрактно-аналитического расчленения системы на простейшие элементы социального порядка. Только такому методу должен следовать экономист-исследователь, поскольку он признает социальное хозяйство самостоятельной системой. Лифманн же, который отрицает эту посылку, считая социальное хозяйство фикцией, должен итти обратным методом, т.-е. синтетическим путем, который неизбежно должен привести его к противоречиям или заставит его тайным путем привносить при трактовке тех или иных явлений и предполагать данными такие посылки, которые предварительно должны быть обоснованы абстрактно-дедуктивным анализом социально-экономической системы.

Отрицание за социальным хозяйством характера особой самостоятельной системы вполне логично приводит Лифманна к отрицанию какого бы то ни было об'ективного закона, который регулировал бы эту систему. Поэтому полное отрицание закона об'ективной ценности представляет правильный вывод из суб'ективистического принципа, и мы считаем, что Лифманн вполне прав, упрекая австрийцев в непоследовательном применении выдвинутого ими принципа. Одно из двух: либо суб'ективный принцип, либо закон об'ективной меновой ценности. Австрийцы же проглядели эту дилемму, и поэтому их система в корне эклектична, и они, несомненно, не представляют из себя выдержанных суб'ективистов-психологистов.

Лифманн в этом отношении вполне последователен: он решительно отбрасывает закон об'ективной ценности, считая, с точки зрения суб'ективизма, ложной самую постановку этой проблемы.

Поскольку же Лифманн выбрасывает за борт экономической теории закон ценности, постольку все те понятия, которые и у классиков, и у Маркса, и у австрийцев вытекали из этого основного понятия, должны быть подвергнуты решительной ревизии.

Мы считаем, что Лифманн впервые пытается построить экономическую теорию, опираясь исключительно на суб'ективизм. Его теория—первый в истории экономической мысли опыт построения чистой психически-суб'ективистической экономической теории.

Как первый и притом вполне законченный опыт, теоретическая система Роберта Лифманна заслуживает самого серьезного внимания. Можно сказать, что кульминационной точки своего развития принцип суб'ективизма-психологизма нашел в системе Лифманна.

IV. Теория цены. Процесс ценообразования.

Мы попытались дать критический анализ общего принципа и основного закона лифманновской системы. Однако мы не в праве ограничиться критикой только общепринципиальных основ буржуазной теории, ибо «марксизм обязан дать развернутую критику новейших теорий, которая бы включала и социологическую

критику, и критику метода, и критику всей системы во всех ее разветвлениях» (Бухарин).

Размеры статьи не позволяют нам развернуть критику всех элементов лифманновской системы, и мы вынуждены ограничиться анализом центрального ее элемента—цены. Теорией цены Лифманн пытается одним ударом разрешить все проблемы распределения, полагая, что нет особых законов заработной платы, ренты, процента и прибыли, поскольку все эти виды доходов суть цены, и регулируются одним и тем же универсальным законом—равенства предельных доходов. Отсюда ясно, что критика теории цены Р. Лифманна, является в то же время и критикой ствола всей системы, ствола, который связывает отдельные ее разветвления с корнем,—методологией и общим принципом...

Лифманн дает следующее общее определение цены: «Цена есть выраженное в единицах всеобщего менового средства, возмещение услуг в меновом обороте, представляющее для промыслового хозяйства его пользу, а в потребительском хозяйстве служащее основанием для оценок им издержек» («Preis ist die in Einheiten des allgemeinen Tauschmittels ausgedrükte Gegenleistung im Tauschverkehr, welche für die Erwerbswirtschaften ihren Nutzen, für die Konsumwirtschaften aber die Grundlage ihrer Kostenschätzungen dient») [1].

Мы вполне согласны с Лифманном, что цена не выражает только пользу (теория предельной полезности) или только издержки (теория издержек производства), но что одна и та же цена для одних выражает пользу (для промысловых хозяйств, т.-е. при продаже), а для других—издержки (для потребительских хозяйств, т.-е. при покупке). Поэтому с этой точки зрения как теория предельной полезности, так и теория издержек производства—суть односторонние теории, анализирующие лишь один из двух противоположных и в то же время взаимно связанных полюсов менового акта. Лифманн пытается устранить эту односторонность обеих теорий и дать синтезирующую теорию.

Цвидинек[2]) вполне правильно указывает, что в самой постановке проблемы цены Роберта Лифманна уже заключается предвзятый ответ. На самом деле: первая проблема теории цены (анализ процесса ценообразования) сводится, по мнению Лифманна, к об'яснению того, «как из суб'ективных ощущений потребностей возникает об'ективная цена», или, иными словами, здесь a priori предполагается, что об'ективная цена обязательно возникает из суб'ективных ощущений потребностей; задача теории поэтому сводится не к тому, чтобы об'яснить сущность и определяющее начало феномена цены, но об'яснить процесс формирования цены из суб'ективных ощущений потребностей.

То, что цена вообще должна быть выведена из суб'ективных ощущений потребностей и вытекающего из них принципа дохода, для Лифманна представляется аксиомой, не требующей доказательств. Для нас же—это не только не аксиома, но, наоборот, абсолютно неверное положение. Мы полагаем, что «исчис-

---

[1]) Grundsätze, II. Bd.. S. 203.

[2]) «Über den Subjektiwismus in der Preislehre» in «Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik», 38. Bd., 1914.

жение» и реальное проявление ощущений потребностей и вытекающие из этого «доходные» действия хозяйствующих индивидов (в условиях менового хозяйства) могут осуществляться только при наличии об'ективной ценности или цены. Таково мнение не только Рикардо и Маркса, но даже П. Струве! [1]).

Для Лифманна вообще не существует проблемы сущности цены, в особенности, как об'ективного явления. Его пояснения к вопросу о сущности цены сводятся, помимо серии отрицательных заявлений, к одному положительному утверждению, что цена «выражает» в «единицах всеобщего менового средства» издержки потребительского хозяйства и полезности промыслового хозяйства [2]). Констатирование этого очевидного факта ни на йоту не приближает нас к познанию феномена цены, как стихийного регулятора распределения капиталов и рабочих сил по различным отраслям производства. В этом «общем» определении цены Роберт Лифманн, как совершенно правильно отметил один из его критиков, игнорирует социально-организующую роль этого основного экономического феномена.

Лифманн неоднократно подчеркивает, что его «психическая» теория цены, в противоположность теории предельной полезности, не нуждается в нереальной посылке о данности величины предложения, ибо дает исчерпывающее об'яснение как процесса формирования предложения, так и его конкретной величины, определяющей в свою очередь об'ем удовлетворения спроса. Однако это «решение» проблемы предложения сводится просто к тому голословному утверждению, что индивидуальные стремления к доходу и вытекающий из них закон равенства предельных доходов определяет как процесс распределения издержек (труда и капитала) по различным отраслям промысловой деятельности, так и самую величину производимых в каждой отрасли благ.

Читателю ясно, что в этом «об'яснении» предложения нельзя найти и намека на какое бы то ни было открытие. Это «об'яснение» вместе с идеей «дохода» («homo economicus») имеется уже в законченном виде у Смита, Рикардо, Дж. Ст. Милля, у т. н. «вульгарных экономистов» и даже у тех же теоретиков предельной полезности. Из новейших авторов для об'яснения цены этой «идеей» пользуется Г. Кассель. Он подчеркивает, что процесс ценообразования осуществляется только благодаря всеобщему хозяйственному принципу, который регулирует спрос путем исключения менее важных потребностей и дает правильное направление производству, обеспечивая полнейшее и наиболее экономное использование всех имеющихся в распоряжении обще-

---

[1]) По поводу лифманновской теории цены он пишет в «Хозяйстве и цене» (ч. II, стр. 99). В этой попытке (речь идет о статье Р. Лифманна «Die Entstehung des Preises aus den subjectiwen Wertschätzungen» in. «Archiv f. Sozialwiss». XXXIV B., 1912), как и во всех вообще писаниях Лифманна, сильную сторону составляет эмпирико-реалистический уклон мысли автора. Но, тем не менее, его попытка дедукции цены поражает тем, что в ней реальные экономические явления, которые могут быть об'яснены только из цены, привлекаются для об'яснения цены. Лифманн строит понятие выручки (Ertrag), как разности между издержками и полезностью, и из этого понятия выводит цену. Тут совершается основная ошибка. Как мы уже подчеркивали, полезность и издержки соизмеримы лишь при помощи цены-ценности. Без понятия цены нельзя, таким образом, построить понятия выручки».

[2]) См. его «Grundsätze». II Bd., гл. VII.

ства средств производства [1]). Маркс при об'яснении всех экономических феноменов также исходит из предположения о непрерывном действии т. н. «индивидуальных стремлений к доходу» (по Лифманну), каковые он называет своим действительным именем—конкуренцией [2]).

Дж. Ст. Милль, полагая, что «только через принцип соперничества получает политическая экономия права на научный характер» [3]), высказывает общую для классической экономии точку зрения, целиком следуя в этом отношении за Смитом и Рикардо. Тот же автор анализирует и целый ряд ограничений принципа «свободной конкуренции», предвосхищая лифманновскую теорию «меновых констелляций», относительной монополии и монопольной цены [4]).

Дело, конечно, не в том, что Лифманн свою теорию предложения и конкурентной цены заимствовал у классиков, но в том, что он ее извратил, смешав условие с причиной. Стремление к прибыли (или к «доходу») есть не более, чем условие, необходимое для появления конкуренции, образования «промысловых доходов» и нивелирования их уровней в «менохозяйственный предельный доход». Уже в самом понятии конкуренции заключается необходимость уравнения доходов промысловых хозяйств: конкуренция, раз появившись, обязательно приводит к такой нивелировке, и, наоборот, эта последняя немыслима без конкуренции. Распределение издержек (т.-е. капиталов) по различным отраслям производства и образование данных величин предложения благ в каждой отрасли осуществляется по закону «равенства менохозяйственных предельных доходов» лишь в той мере, в какой неограниченно действует конкуренция или, что то же самое, «индивидуальные стремления к доходу». Мы имеем такую цепь явлений, последовательно вытекающих одно из другого: индивидуальные стремления к высшему доходу и свобода их действия (laisser faire)—конкуренция—равенство промысловых доходов—масса предложения—конкурентная цена. Мы можем только сказать, что при наличии свободной конкуренции массы предложения благ в различных отраслях имеют тенденцию установиться на таком уровне, чтобы обеспечить всем капиталистам-производителям «предельные промысловые доходы». Но в этом положении, прекрасно известном еще классикам, не дано никакого «об'яснения» предложения, но выяснено только его обязательное условие при наличии свободной конкуренции. Проблема же предложения должна разрешить вопрос о том, почему при равенстве менохозяйственных предельных доходов или при средней норме прибыли различных отраслей производства выбрасываются на рынок именно такие количества благ, а не иные, и по таким-то ценам. Почему производится N количества таких-то видов металлических изделий и X количества таких-то видов текстильных изделий и почему они стоят M и Y рублей. В этом именно и заключается проблема предложения и конкурентной цены, и закон равенства менохозяйственных предельных доходов

[1]) G. Cassel, „Theoretische Sozialökonomik", 1923, S. 74—75.
[2]) Маркс. Капитал, т. III, ч. 1, стр. 12.
[3]) Дж. Ст. Милль, Основания политической экономии, пер. Чернышевского, стр. 310.
[4]) Там же, стр. 310—314.

не может дать ее решение, ибо он сам входит в условие поставленной задачи. На эту проблему не дает ответа и лифманновская теория спроса, ибо, как он сам указывает, спрос при данной величине проектируемых издержек потребительских хозяйств ограничивается ценой и массой предлагаемых благ. Поэтому ни в коем случае нельзя признать, что Лифманн решил проблему предложения так же, как и проблему конкурентной цены, которую он выводит из предложения.

По Лифманну, конкурентная цена «определяется предельными издержками и менохозяйственным предельным доходом»; по Марксу, рыночная цена при наличии конкуренции определяется непосредственно «ценой производства», которая равна «издержкам производства плюс средняя норма прибыли». Под «издержками производства» Маркс понимал «общественно-необходимые издержки»; под «предельными издержками» Лифманн понимает издержки наиболее дорогих при данной рыночной кон'юнктуре производителей, которые еще получают «менохозяйственный предельный доход», т.-е. издержки, которые при данных рыночных условиях общественно допустимы или «общественно необходимы». С другой стороны, средняя норма прибыли Маркса есть не что иное, как нивелированный конкуренцией единый для всех «промысловых хозяйств» (по Марксу «отраслей производства») уровень прибыли на капитал, т.-е. предельный уровень «доходов капиталистов». Поэтому мы можем сказать, что определение Лифманном конкурентной цены есть в точности определение Марксом «цены производства», которая регулирует колебания реальной рыночной цены.

Вместе с тем это нас освобождает от критики лифманновского определения конкурентной цены, так как недостаточность «цен производства» для об'яснения цены прекрасно выяснена Марксом. Мы должны, однако, заметить, что к теории «цен производства» и «рыночной ценности» Маркса Лифманн не прибавил ни одного нового слова, и поэтому даже со стороны «описательной» его анализ «предложения» и «конкурентной цены» не имеет для нас абсолютно никакой ценности.

Из чего же слагаются эти, в самом деле, «предельные издержки»? Из существующих в данный момент цен на средства производства, сырье и рабочую силу. А чем определяются в свою очередь конкурентные цены на каждое из этих слагаемых? Опять-таки «предельными издержками производства и менохозяйственным предельным доходом»: описав круг, мы благополучно возвращаемся к тому пункту, с которого начали анализ...

Но Лифманн и сам не отрицает этого «порочного круга», полагая, что задача теории цены не в нахождении обусловливающей первопричины, но в «об'яснении» того, как из суб'ективных ощущений, потребностей возникают цены. Прекрасно! Но из каких же «суб'ективных ощущений» возникают «предельные издержки», которые определяют конкурентную цену? Абсолютно ни из каких, ибо это есть не что иное, как об'ективный, общественный предельный уровень издержек, с которыми должен согласовать свои индивидуальные издержки хозяйствующий, если он рассчитывает на получение «менохозяйственного предельного дохода».

Поскольку «предельные издержки» могут иметь только об'ективный смысл, постольку мы считаем, что Лифманн не свел об'ективное явление—цену к суб'ективным ощущениям, т.-е. не выполнил той задачи, которую себе поставил в качестве основного требования экономической теории. С другой стороны, поскольку и «предельные издержки» суть цены, постольку и с этой точки зрения Лифманн выводит данную цену, как об'ективное явление из других цен, как опять-таки об'ективных явлений, т.-е. сводит одно об'ективное явление к об'ективному явлению того же самого качества и нет предела для этих «выведений» и нет для них выхода к принципиальному фундаменту лифманновской теории—суб'ективнопсихическим переживаниям индивида.

Точно так же и второй элемент, определяющий по Лифманну конкурентную цену, не может быть об'яснен из суб'ективных ощущений. Этот второй элемент—менохозяйственный предельный доход.

Мы не будем утруждать читателей ссылками на историческую давность этого закона и оспаривать приоритет Лифманна, но укажем только, что все три основные формы проявления этого закона—заработная плата, предпринимательская прибыль и процент (которые анализирует Лифманн), совершенно отчетливо формулированы А. Смитом. Последний, вопреки мнению Роберта Лифманна, идею «предела» и «уравнения» применял не только для обоснования закона средней нормы прибыли, но в равной мере для законов заработной платы и процента, которые выводятся при условии свободной конкуренции; в основе же последней лежит лифманновская «идея» «предела» и «уравнения». И здесь Лифманн к тому научному богатству, которое мы имеем в «Богатстве народов», не прибавил ни одной весомой единицы, и мы не только никаких исторических заслуг за ним в этом вопросе признать не можем, но, наоборот, должны констатировать явное искажение доктрины классической школы.

Анализируя связь этих трех видов менохозяйственных предельных доходов, Лифманн указывает, что капиталистические доходы (прибыль и процент), с одной стороны, и трудовые (заработная плата), с другой стороны, должны установиться на таком уровне, чтобы обеспечить наилучшее функционирование менохозяйственного механизма. Но ведь цель этого последнего по Лифманну и заключается в том, чтобы удовлетворять индивидуальные потребности. Чьи же индивидуальные потребности должны наилучшим образом удовлетворяться, капиталистов или рабочих? Только так может стоять вопрос, ибо «наилучшим образом» потребности обоих классов потребителей удовлетворены быть не могут: наилучшее удовлетворение потребностей рабочих будет достигнуто в том случае, если потребности капиталистов совершенно не будут удовлетворяться. Очевидно, не в этом по Лифманну заключается «наилучшее» функционирование менохозяйственного механизма. Тогда в чем же? Только в том, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности капиталистов, а потребности рабочих при этом «лучшем» функционировании менохозяйственного механизма должны быть удовлетворены в таком об'еме, чтобы сохранить для капиталистов рабочую силу, как составной элемент издержек капитала. Поэтому лифманновская теория цены, покоящаяся на законе ра-

хозяйства менохозяйственных предельных доходов, есть не что иное, как апологетика менового хозяйства, а апологетика менового хозяйства есть апологетика капитализма.

Его теория цены представляет из себя одновременно и торжество апологетики, и банкротство суб'ективизма и психологизма. Лифманн освобождает нас от необходимости доказывать социальную и об'ективную сущность менохозяйственного предельного дохода, определяющего цену, ибо он сам заявляет, что этот менохозяйственный предельный доход «есть внешняя, об'ективная величина, которая должна быть дана, чтобы можно было об'яснить предложение»[1]), а, следовательно, и конкурентную цену. Можно ли представить себе большее самоуничтожение суб'ективизма, чем то, которое Лифманн сам обнаруживает в приведенной цитате? Лифманн третирует австрийцев за то, что они исходят из данной величины предложения. Между тем, сам же Лифманн признает предложение данным, поскольку менохозяйственный предельный доход, определяющий предложение, «есть внешняя об'ективная величина, которая должна быть дана». Лифманн ни на шаг не подвигается вперед в теории цены не только в сравнении с австрийской школой, но и в сравнении с теорией издержек производства, ибо он признает данными цены издерживаемых благ и величину средней нормы прибыли, и поэтому его теория также, как и «прежние теории», которые он яростно критикует, не выходит из этого заколдованного круга». Лифманновская теория стоит даже гораздо ниже теории издержек производства (например, теории Дж. Ст. Милля), ибо эта последняя, вращаясь в «заколдованном кругу», не пыталась построить суб'ективной монистической теории. Доведенный до крайности суб'ективистический принцип терпит полное крушение в лифманновской теории цены.

Как мы выяснили, оба момента, определяющие конкурентную цену, суть об'ективные моменты, не сводимые к одному «простейшему элементу» — суб'ективным ощущениям потребностей.

Поэтому нужно признать более логичным вывод другого «строгого» эмпирика в экономической теории—П. Струве, который дошел до признания того, что «цена есть данность», не подлежащая никакому доказательству и об'яснению, т.-е. констатировал непознаваемость феномена цены. Это, по крайней мере, смелый и красивый жест ученого, который открыто признает невозможность познания об'екта науки. Но совсем «некрасиво» поступает Роберт Лифманн, который, давая на протяжении всего своего труда бесконечное количество авшлагов о высокой научности своей теории, которая де, все экономические явления может свести к суб'ективно-психической первооснове, в действительности признает «внешне данной об'ективной величиной» ту величину, которая определяет цену.

Где же суб'ективно-психическая основа цены? Чувствуя, что в конкурентной цене очень мало почвы для суб'ективизма, Лифманн пытается спасти суб'ективизм в теории монопольной цены. Если конкурентная цена тяготеет к низшей границе цены

[1]) „Grundsätze", II. Bd., S. 262.

вообще, то монопольная цена, по Лифманну, тяготеет к высшей ее границе. Если низшую границу цены мы должны искать в предложении, то высшую в спросе. Эта высшая граница определяется, согласно его теории, «предельным потребителем», т.-е. такой оценкой полезности блага потребителями, которая дает наивысший общий «доход» монополисту. Монополист имеет возможность исключить из круга своих покупателей тех, которые не могут на покупку данного блага тратить больше, чем они тратят на другие блага, удовлетворяющие потребность той же интенсивности. Иными словами, исключаются те, которые оценивают данное благо по величине менохозяйственного предельного дохода (т.-е. могли бы купить благо только по конкурентной цене) остаются же потребители, получающие от данного блага доход, который выше менохозяйственного предельного дохода. Благодаря этому и монополист получает доход, превышающий менохозяйственный предельный уровень промысловых доходов. Таким образом источник монополистической прибыли в повышенной оценке полезности потребителями, но никак не в «эксплоатации» и т. п.

Итак, по Лифманну спрос определяет монопольную цену, как высшую границу цены вообще. А что такое спрос? Это совокупность оценок издержек потребительских хозяйств. А чем определяются эти последние? Величиной доходов, находящихся в распоряжении потребительских хозяйств, с одной стороны, и ценой благ, с другой стороны. Монополистическая цена может быть взорвана потребителями в том случае, если совокупная величина их доходов позволяет им приобрести товаров как раз на такую сумму, которая только возмещает капиталисту издержки производства и менохозяйственный предельный доход. Только в том, случае, если сумма доходов потребителей будет больше указанной величины, возможна реализация товаров по монопольной цене. Следовательно, именно эта совокупная величина доходов потребителей определяет высшую границу цены. А чем определяется эта совокупная величина доходов, мы не знаем, поскольку уровни менохозяйственных предельных доходов основных групп потребителей—рабочих, промышленных капиталистов и денежных капиталистов предполагаются Лифманном «об'ективно-данными внешними величинами». Итак, как низшая, так и высшая граница цены упирается в эту «данную величину». Поэтому проще было бы сказать, что обе границы цены просто нам даны, что, следовательно, «цена есть данность»: тогда непонятно, для чего вообще потребовалось на протяжении 200 страниц развивать теорию цены и пытаться об'яснить этот центральный феномен экономической теории.

Таким образом и высшую границу цены Лифманну также не удалось свести к суб'ективным ощущениям потребностей, ибо оценка блага «предельным потребителем» сама зависит от величины его дохода, а эта последняя предполагается об'ективно данной. Суб'ективные ощущения потребителей не определяют ни высшей, ни низшей границы цены, но сами проявляются внутри этих границ. При данных об'ективных границах цены происходит суб'ективная оценка благ покупателями, и монополист получает высшую прибыль не

и повышенных оценок, но в результате искусственно уменьшенного количества предлагаемых благ, что и определяют эти повы-
шиеся оценки. Монополист может по произволу увеличивать и уменьшать массу предложения. Однако этот его «произвол» об'ективно ограничен двумя моментами: во-первых, величиной издержек производства и той границей (технически данной), за пределами которой расширение производства дает повышение издержек на каждую единицу новой массы благ того же рода[1]), и во-вторых, данной величиной спроса, т.-е. совокупности той части доходов потребителей, которая может быть выделена на покупку данного блага.

Об'ективный характер ограничения монопольной политики первого рода очевиден (законы техники). Об'ективный же характер второго ограничения признает и сам Лифманн, когда он предполагает величину доходов «внешней, об'ективно-данной».

Таким образом и монопольная цена как со стороны спроса, так и со стороны предложения определяется об'ективными моментами; следовательно, и в теории монопольной цены суб'ективизм и психологизм не могут найти убе-
жища.

Мы можем поэтому, резюмируя наш анализ, еще раз подчеркнуть, что как при об'яснении низшей границы цены, т.-е. в теории конкурентной цены, так и при об'яснении высшей границы цены, т.-е. в теории монопольной цены, суб'ективно-психический принцип не дает ключа для «об'яснения» цены, этого фокуса всей капиталистической экономики.

Однако Лифманн, как мы видели, заявляет, что он и не собирался «определять» цену, но только хотел «об'яснить» процесс ценообразования. Но какая разница между «определять» и «об'яснять»? Мы думаем, что «об'яснить» явление—это и значит найти его причину, т.-е. найти определяющее, а вместе с тем и об'ясняющее данное явление, начало. Термин «об'яснять» (erklären) совсем не подходит к лифманновской теории цены, но более приемлемым был бы другой термин—«описать» (beschrei-
ben). Однако и действительно научное «описание» невозможно с суб'ективно-психической точки зрения. Можно, конечно, описать хозяйственные действия индивидов, но обязательно приняв во внимание всю совокупность данных об'ективных условий. …тому, если даже подходить к теории Лифманна с точки зрения описательной задачи, то нужно сказать, что и эта работа выполнена крайне неудовлетворительно; вместо того, чтобы, …жив в основу суб'ективных действий об'ективные явления, показать, как в рамках данных об'ективных границ могут проявляться суб'ективные оценки, Лифманн пошел обратным путем. …томy, поскольку он не суб'ективные явления выводит из об'ективных, но, наоборот, у него картина «описания» оказывается перевернутой вверх дном. От такого «описания» мы можем отказаться с легким сердцем.

Хотя все гениальное обычно кажется очень простым, однако не все простое гениально! И лифманновская теория цены не ста-

---

[1]) См. у Гобсона в «Эволюции современного капитализма» формулировку закона повышающихся и понижающихся издержек. То же у Зелигмана в «Основах».

новится гениальной от того, что она чрезвычайно проста и наивна! «Простое» описание не всегда приемлемо, и в особенности оно неприемлемо в тех случаях, когда об'ект описания чрезвычайно сложен, а главное там, где познание его не может быть достигнуто только путем описания.

По своему «эмпирическому» содержанию лифманиовская теория цены представляет из себя некритическое отражение процесса ценообразования с точки зрения капиталиста-калькулятора, будь то монополист или конкурирующий производитель. Процесс ценообразования описан в том виде, в каком он реально представляется калькулятору. Даже и намека на об'яснение процесса ценообразования и динамики цен нельзя обнаружить в его теории цены.

По своей идеологии критикуемая теория есть новая попытка оправдания капиталистического строя. К апологетике капитализма Лифманн приходит через апологетику системы менового хозяйства и доказательство неустранимости последней.

В заключение мы хотим отметить одну особенность лифмановской апологетической теории.

Для апологетов XIX века «естественным» и неизменным порядком представлялась конкуренция конкретных личностей. Поэтому образование монополий, устраняющих конкуренцию, представлялось для них отрицательным явлением, подрывающим основной принцип экономической системы. Несмотря на колоссальнейшие сдвиги в организационных формах капитализма, начиная с последней четверти XIX века, идеология многих буржуазных экономистов отставала от экономики, и не один экономист еще продолжал держаться за прежние принципы.

Так, например, Е. Филипповнч уже на рубеже XX века продолжал утверждать, что «в виду полного отсутствия побуждений извне при монополии возникает опасность застоя в техническом развитии, а в виду обеспеченности сбыта по выгодным ценам не оказывается никакого побудительного повода для тщательного соблюдения хозяйственного принципа» [1]).

Роберт Лифманн не разделяет этой старой идеологии—его теоретическая система является «прогрессивной» в том смысле, что она соответствует буржуазным интересам в условиях радикально изменившейся об'ективно-экономической обстановки.

Доказав, что основной тип современной монополии есть относительная монополия, которая не исключает явной или скрытой конкуренции и, следовательно, действия индивидуальных стремлений к доходу [2]), Лифманн тем самым с буржуазной точки зрения устранил противоречие между монополистическим принципом и основным, регулирующим меновохозяйственную систему, законом (конкуренции). Он пошел даже дальше этого, доказывая, что «фондовый капитализм есть высшая и наиболее совершенная форма меновохозяйственной организации». В этом заключается историческая миссия, выполненная теоретической системой Р. Лифманна. Его теория отражает идеологию прогрессирующей группы капиталистических магнатов—монополистических капиталистов. И не даром Роберт

---

[1]) Е. Филиппович. Основания политической экономии, 1901 г.

[2]) См. его весьма интересную с описательной стороны „теорию меновых констелляций" во II томе Grundsätze".

Лифманн гордится тем, что его теория, несмотря на резкую критику его ученых собратов, получила полное одобрение со стороны очень многих «практиков». Мы охотно этому верим, ибо его теория есть одна из наиболее стройных и наиболее прогрессивных с буржуазной точки зрения попыток апологии монополистического капитализма.

Однако апология остается апологией, и прогресс апологии не означает ни в коей мере прогресса об'ективной научной мысли: «вульгарная экономия,—говорил Маркс,—становится сознательно более апологетической и старается всеми силами отделаться путем болтовни от тех мыслей, в которых содержатся противоречия»[1]). На анализе теоретической системы Роберта Лифманна мы могли убедиться, что и в этом вопросе Марксов прогноз оказался правильным.

---

[1]) К. Маркс, Теории прибавочной стоимости, т. III, стр. 389.

Военный трибунал Парижской Коммуны.

А. Молок.

Военный аппарат Коммуны, от которого ближайшим образом зависела судьба изолированной в Париже пролетарской революции, был, как известно, одной из самых слабых сторон ее государственного аппарата и представлял собой—по определению самих коммунаров—«хаос» [1]), «организованную дезорганизацию» [2]), анархию сверху донизу» [3]). Вместо централизованного руководства, единого плана, точного учета, стальной дисциплины—здесь царили автономизм комитетчины, анархический партикуляризм, убийственный параллелизм, вопиющая недисциплинированность, весь тот комплекс мелкобуржуазных предрассудков в организационном вопросе, которые владели парижским пролетариатом 1871 года (в массе своей еще не успевшим вывариться в котле крупной индустрии), помешали ему создать революционную партию в действительном смысле этого слова и наложили свою роковую печать на всю историю его 72-дневного господства. Неудивительно, что Коммуна не сумела рационально использовать революционный энтузиазм, боевой темперамент, беззаветный героизм составлявших ее национальную гвардию вооруженных рабочих, бросая эти превосходные качества на ветер и подготовляя тем самым психологическую почву для роста шкурничества и дезертирства. Неудивительно также, что, увлеченная соображениями ложной гуманности и ложного демократизма, она не сумела повести сколько-нибудь решительной борьбы за поднятие дисциплины, а значит и боеспособности своих военных сил и остановилась на полпути в своей военно-карательной политике, подобно тому, как она остановилась на полпути в своей террористической политике—в борьбе против внутренней контр-революции и саботажа.

История военного трибунала Коммуны, до сих пор совсем не изученная, представляет большой интерес именно потому, что в ней—как увидит читатель—с исключительной яркостью выявились отрицательные стороны военной организации Коммуны, как и недооценка последнею всей важности системы репрессий в борьбе за дисциплину в армии, ведущей гражданскую войну.

---

[1]) Россель в открытом письме к членам Коммуны (заявлении об отставке), от 9 мая (P. Lanjalley et Corriz, «Hist. d. l. révol. du 18 mars», p. 437).

[2]) «Procès-verbaux de la Commune de 1871» (Paris 1924, tome I, p. 558 слова Билльорэ в заседании 28 апреля).

[3]) «Mémoires du générale Cluseret» (Paris 1887), tome I, p. 114.

11 апреля,—исходя из того, что версальскому правительству «удалось ввести в ряды национальной гвардии своих агентов, которые стараются сеять в них разложение», и что «военная сила не может существовать без строгого порядка, а настоящие тяжелые обстоятельства требуют создания особо суровой дисциплины, которая спаяла бы национальную гвардию и сделала бы ее непобедимой»,—Коммуна издает декрет о немедленной организации военных судов (по одному на легион)[1] и дисциплинарных советов (по одному на батальон); оба названных судебных органа должны были быть выборными (при чем члены дисциплинарных советов могли быть в любую минуту смещены Коммуною), назначаемые ими наказания подлежали утверждению выборной же ревизионной комиссии, за исключением смертных приговоров, каковые подлежали утверждению Исполнительной Комиссии Коммуны [2]).

Декрет 11 апреля оказался, однако, недостаточным: организация военных судов при легионах (conseils de guerre de légion) подвигалась так медленно [3]), что Исполнительная Комиссия постановлением от 16 апреля [4])—«в виду потребностей военного времени и необходимости действовать быстро и решительно—уполномочила военного делегата образовать временный военный трибунал (Cour martiale) в составе 6 высших офицеров Коммуны (начальника главного штаба, начальника штаба укрепленного района, коменданта военной школы, военного коменданта префектуры полиции, помощника начальника штаба генерала Эда и начальника 1 легиона [5]) для разбора «исключительных дел, требующих немедленного разрешения» и не могущих подлежать ведению военных судов как «еще не существующих»; военный трибунал должен был заседать ежедневно, при чем смертные приговоры подлежали утверждению Исполнительной Комиссии.

«По мере того, как военная обстановка делалась все более и более напряженной, развал дисциплины и дезорганизация в войсках давали себя чувствовать все острее... Достаточно сказать, что никакая надежда на успех не была возможна до тех пор, пока войска оставались недисциплинированными и могли безнаказанно уклоняться от исполнения своего служебного долга. Нам не удалось дать национальной гвардии прочную организацию, которая была бы наилучшим лекарством от всех этих зол; оставалось испробовать систему репрессий, но она должна была быть скорой и действенной»: так поясняет, в своих записках, цель учреждения военного трибунала его первый председатель—

---

[1]) Совокупность батальонов, принадлежащих к одному и тому же округу Парижа, составляла легион; легионов было таким образом столько же, сколько округов (в 1871 г.—22).

[2]) «Journal officiel» (Коммуна), 13 апреля 1871 г. А. Молок, Парижская Коммуна в документах и материалах, стр. 400—401.

[3]) «Procès-verbaux de la Commune», t. I, p. 226 (Заседание 15/IV).

[4]) «Journal officiel», 17 апреля 1871 г. А. Молок, op. cit., стр. 404—405. Постановление было подписано военным делегатом и скреплено подписями всех членов Исполнительной Комиссии.

[5]) Несмотря на то, что в состав военного трибунала был включен и один из членов Центрального Комитета нац. гвардии—лейтенант Бурсье (начальник 1 легиона), состав этот вызвал ряд возражений в заседаниях ЦК от 18 и 20 апреля («Enquête parlementaire sur l'insurrection du 18 mars), Paris 1872, p. 501—502.

Россель [1]). Такую же мотивировку находим в мемуарах Клюзере (с 3 по 30 апреля исполнявшего обязанности военного делегата Коммуны): «Полный безграничной веры в дисциплину, я решил установить ее во что бы то ни стало... Необходимо было добиться повиновения долгу... А для этого я должен был доказать всем и каждому, что ослушание сопряжено с бо́льшими опасностями, чем исполнение долга» [2]).

В первом—распорядительном—заседании (17 апреля) трибунал, дополняя слишком краткий декрет Исполнительной Комиссии, выработал подробный (в 25 пунктов) регламент судопроизводства, который и был опубликован. Заседания об'являлись публичными; судебные издержки должна была платить Коммуна; подсудимый мог сам выбирать себе защитника и ему предоставлялось последнее слово; решение суда постановлялось большинством голосов, при чем, в случае если бы голоса судей разделились поровну, подсудимый считался оправданным; приговор должен был приводиться в исполнение через 24 часа по его произнесении, а смертный приговор—через 24 часа после утверждения его Исполнительной Комиссией; трибунал мог подвергать следующим наказаниям: штрафу, содержанию под арестом, увольнению со службы, разжалованию, лишению гражданских прав, тюремному заключению, заключению в крепость, каторжным работам, смертной казни (через расстрел) [3]). Особым об'явлением—от 17 апреля—начальник главного штаба Россель, ставший председателем трибунала [4]), приглашал офицеров, унтер-офицеров и гвардейцев-кандидатов прав—«записываться в канцелярии военного трибунала... и присутствовать на его заседаниях, содействуя ему в качестве следователей, общественных обвинителей, защитников» [5]).

Первым делом, по которому (18 апреля) предстояло высказаться трибуналу, было дело командира 74 батальона, Жиро, отказавшегося (15 апреля) исполнить боевой приказ—выступить со своим батальоном к воротам Майо. Трибунал,—«принимая во внимание, что обстановка гражданской войны, в которой находится Коммуна, повелительно требует беспрекословного подчинения приказам, исходящим от властей, учрежденных Коммуной...», и что «политические заслуги в прошлом никому не дают права уклоняться от исполнения текущих обязанностей...»,—признал подсудимого «виновным в отказе от подчинения приказу выступить против неприятеля и против вооруженных мятежни-

---

[1]) «Memoires et correspondance de Louis Rossel», Paris 1908, p. 307.

[2]) «Mémoires du général Cluseret», t. I, p. 115—116.

[3]) «Journal officiel» 18/IV-1871 (Cour martiale. Arrête réglant la procedure et les peines).—Этот регламент вызвал в ночном заседании Коммуны с 18 на 19 апреля запрос со стороны одного из членов совета, при чем отвечавший ему делегат юстиции Прото заявил, что считает декрет о создании военного трибунала неудачным («Proces-Verbaux de la Commune», tome I, p. 279).

[4]) В декрете об учреждении военного трибунала—в том виде, в каком он был опубликован в «Journal officiel», ничего не говорится о том, кто будет его председателем (подразумевается, что сам военный делегат). В тексте же этого декрета, даваемом в «Enguête parlementaire sur l'Insur du 18 mars», имеется специальная оговорка о том, что, в случае невозможности для военного делегата лично председательствовать в нем, он вправе замещать себя своим начальником штаба.

[5]) «Murailles Politigues Francises» (Paris 1874), tome II, p. 300.

ков» и приговорил его к смертной казни [1]). «Эта быстрота и эта суровость были как раз то, чего я желал и что нам так нужно было,—пишет Клюзере.—Полдюжины подобных приговоров в течение первой недели,—и все пришло бы в порядок: дисциплина была бы восстановлена, и Коммуна спасена» [2]). Но Исполнительная Комиссия решила иначе и, приняв во внимание «демократическое прошлое» [3]) осужденного, смягчила ему приговор, заменив смерную казнь лишением гражданских прав, разжалованием и заключением в тюрьму на все время войны [4]).

Узнав об этом, военный делегат немедленно написал Исполнительной Комиссии, настаивая на утверждении вынесенного военным трибуналом приговора, но в ответ получил приказ не приводить последнего в исполнение и ограничиться лишением Жиро воинского звания. Возмущенный Клюзере бросился в Ратушу, где в это время—вечером 19 апреля—происходило заседание Коммуны, и заявил, что так как «Исполнительная Комиссия отказывает ему в действительных средствах» борьбы за дисциплину, он вынужден подать в отставку. По предложению Валлеса, указавшего на «серьезность обстановки и интересы обороны», отставка военного делегата принята не была [5]). Выступавший в прениях Верморель (правый прудонист) потребовал упразднения военного трибунала «во имя гуманности», утверждая, что «народ, совершивший 18 марта, питает отвращение к крови»,—на что Клюзере справедливо возражал: «Вы питаете отвращение к крови, прекрасно; но ведь тогда польется наша»! Россель подвергся резким нападкам и обвинениям в пристрастии, при чем усиленно подчеркивалось республиканское прошлое осужденного [6]). Правда, если верить Клюзере, Исполнительная Комиссия, перед лицом энергичных протестов военного делегата, в конце концов сдалась и готова была пожертвовать Жиро, но Клюзере, понимая, что новое изменение приговора произвело бы еще худшее впечатление и подорвало бы всякий престиж Коммуны в глазах национальных гвардейцев, вынужден был, скрепя сердце, согласиться на кассацию и склонить к тому же Росселя [7]). Послед-

---

[1]) Dauban. Le Fond de la société sous la Commune (Paris 1873), p. 100—101, 106.—Если верить сводке информационного бюро при военном министерстве, приговор по делу Жиро был встречен общественным мнением пролетарских кварталов Парижа как «несколько чересчур суровый»: «...Господствует уверенность, что наказание будет смягчено, так как Исполнительная Комиссия не утвердит такого приговора. Уверяют, что батальонный командир отказался выступить потому, что его солдаты целых пятнадцать часов оставались без еды. К тому же, у этого человека самое безупречное прошлое» (Dauban, Le Fond de la société..., p. 110).

[2]) «Mém. du gén. Cluseret», I, 122.

[3]) Жиро пострадал за свои республиканские убеждения при перевороте 2 декабря 1851 г. и был другом влиятельнейшего члена (первой) Исполнительной Комиссии Делеклюза («Procès-Verbaux d. l. Commune», t. I, p. 29К, n. 1), который заявил будто бы, что выйдет из ее состава, если приговор не будет смягчен («Le Vengeur» 16/V-1871: ст. Ф. Пиа «Soldat et Commune»).

[4]) «Journal officiel», 20/IV-1871. А. Молок, op. cit., стр. 406.—В начале мая рабочий квартал Менильмонтан (XX округа), к которому принадлежал, повидимому, 74 батальон, подал в Коммуну петицию (покрытую 384 подписями) о помиловании Жиро, отбывавшего в это время наказание в тюрьме Сент-Пелажи («Le Vengeur», 13/V-1871).

[5]) «Procès-Verbaux de la Commune», t. I, p. 295—297.

[6]) «Mém. du gén. Cluseret», I. 124—125 (в протоколе соответствующего заседания Коммуны вся эта дискуссия опущена).

[7]) Ibidem, I, 123. В протоколе заседания Коммуны 19/IV упоминается выступление Тридона, который сообщил, что «Исполнительная Ко-

ний, однако, не хотел и слышать о том, чтобы продолжать исполнять свои обязанности (председателя военного трибунала и начальника главного штаба) и заговорил об отставке. «Бурная сцена имела место в моем кабинете,—пишет Клюзере,—между ним, Делеклюзом и, если не ошибаюсь, Феликсом Пиа. В то время, как они упорно настаивали на том, что Коммуна не желает крови, я, естественно, поддерживал Росселя, которого я тщетно упрашивал взять назад свою отставку. Он согласился только отсрочить ее опубликование, но не оказал мне с тех пор никакой услуги»[1]). «Непосредственным результатом» политики «гуманности», которая так ярко проявилась в деле Жиро, было то, что «трусы получили новое поощрение к тому, чтобы оставаться дома», а положение Клюзере «из трудного сделалось прямо невыносимым»[2]).

После дела Жиро военный трибунал, под председательством Росселя, рассмотрел еще пять дел: 19 апреля—дело двух граждан, обвинявшихся в похищении печати Центрального Артиллерийского Комитета (за недостатком улик, оба подсудимых были оправданы); 20 апреля—дело командира 163 батальона и лейтенанта того же батальона, обвинявшихся в неисполнении боевого приказа и самовольном оставлении позиций (они были приговорены к разжалованию и тюремному заключению на срок от 1 до 3 лет); 21 апреля—дело унтер-офицера 156 батальона, обвинявшегося в краже, учиненной в частном доме во время наряда (он был осужден на 10 лет принудительных работ); 22 апреля—дело двух канониров 19 батареи, обвинявшихся в расхищении военного обмундирования из складов военной школы (они были приговорены к 5 годам тюремного заключения); в ночь с 22-го на 23 апреля—дело группы офицеров и гвардейцев 105 батальона, обвинявшихся в отказе от выполнения боевого приказа[3]). Этому последнему делу нам придется уделить здесь максимум внимания не только потому, что оно было самым крупным из дел, решенных военным трибуналом, не только потому, что оно имело своим непосредственным результатом временную ликвидацию этого трибунала, но и в особенности потому, что оно повело к бурным прениям в трех заседаниях Коммуны, с исключительной яркостью обнаружившим, что (за единичными исключениями) ни одна из представленных в совете партийных группировок не доработалась еще до единственно-правильного, революционно-пролетарского, подхода к вопросу о значении дисциплины в революционной армии в момент гражданской войны.

Многочисленные аресты, произведенные по ордорам главного штаба среди гвардейцев и командного состава 105 батальона в связи с предстоявшим процессом, вызвали некоторое волнение в рядах национальной гвардии: 105 батальон устроил (21 апреля)

миссия... получила бумагу за подписью Росселя, который настаивал лишь на разжаловании (Жиро. *А. М.*)» («Procès-Verbaux de la Commune», t. I, p. 296): повидимому, эта бумага была составлена и послана после того, как Исполнительная Комиссия согласилась отменить кассацию приговора.

[1]) «Mém. du gén. Cluseret», I, 126.—Россель, в своих записках, не упоминает об этом эпизоде, хотя и признается, что неоднократно порывался уйти в отставку («Mém. et corresp. de Rossel», p. 310—311).

[2]) Ibidem, I, 128.—Оно стало совершенно невозможным с упразднением военного трибунала (см. слова Клюзере в заседании Коммуны 21 мая—«Journ. officiel», 23/V).

[3]) «Journal officiel», 21 и 24 апреля 1871 г. «Gazette des Tribunaux» 1871, №№ 13723 и 13724 («Cour martiale de la Commune»).

демонстрацию перед зданием военной тюрьмы, требуя освобождения своих офицеров[1]). Исполнительная Комиссия (по просьбе и через посредство оставшихся на свободе офицеров 105 батальона) поспешила отправить военному делегату письмо-запрос, на которое последовал явно-инспирированный начальником главного штаба (Росселем) холодный ответ, что командир батальона остается в тюрьме[2]). В заседании Коммуны 22 апреля один из представителей VII округа (к которому принадлежал 105 батальон) потребовал немедленного освобождения этого офицера; двум членам совета, которые были тут же отправлены к военному делегату для переговоров по поводу этого ареста, удалось, несмотря на возражения со стороны Росселя, добиться у Клюзера приказа об освобождении названного батальонного командира[3]).

Разбор дела начался поздно вечером 22 апреля, при чем скамьи подсудимых занимали 12 человек—три гвардейца и девять офицеров (в том числе начальник VII легиона, полковник Бнтт и командир 105 батальона, капитан Гаранти), а среди свидетелей находились два члена Коммуны от VII округа—Паризель и Урбен. Обвинительный акт говорил об отказе от выполнения боевого приказа, имевшем место 13 апреля в 105 батальоне и сопровождавшемся открытым возмущением против начальника легиона и нанесением ему оскорблений; последний обвинялся в запойном пьянстве, парализовавшем военные операции в день 13 апреля, а батальонный командир Гаранти—в попустительстве и непринятии мер к тому, чтобы побудить своих людей к выступлению.

Допрос обвиняемых и свидетелей, затянувшийся до глубокой ночи, выявил всю глубину дезорганизации, раз'едавшей национальную гвардию и, в частности, 105 батальон, который пользовался однако репутацией самого преданного революции батальона в VII округе (мелкобуржуазном по составу своего населения). Пьянство и дезертирство, нераспорядительность командного состава и упадок его авторитета, мелочное соперничество между офицерами и вопиющие недочеты в деле снабжения (вечный «снарядный голод»),—все эти язвы военного аппарата Коммуны вскрылись перед трибуналом, при чем занимавший председательское место Россель, не будучи в состоянии сдержать своего возмущения, неоднократно прерывал допрос полными гнева тирадами против людей, которые «покрывают себя позором и приносят страшный вред» делу революции, «величие которой они даже не могут постигнуть, едва ли не самой великой, которая когда-либо имела место». Из показаний свидетелей выяснилось, что в ночь с 13 на 14 апреля генерал Домбровский просил прислать ему в подкрепление весь XI легион, чтобы с его помощью предпринять наступательное движение на захваченное версальцами местечко Нейи (на западном фронте), но так как этот легион собрать не удалось, то его должны были заменить три других батальона, в том числе 105-й, который отказался, однако, выступить и тем сорвал задуманное предприятие. В четвертом часу утра трибунал, удалившись на совещание, постановил, по совокупности обстоятельств, выяснившихся в ходе судебного следствия, привлечь к

[1]) Dauban. Le Fond de la société sous la Commune, p. 125—126 (письмо Исп. Комиссии—Клюзере от 21/IV).
[2]) «Procès-Verbaux d. l. Commune», t. I, p. 382.
[3]) Ibidem, t. I, pp. 366—367, 382.

ответственности 105 батальон в целом. Приговор, вынесенный трибуналом после нового совещания, об'являл восемь подсудимых (в том числе полковника Витта и капитана Гаранти) оправданными (одних за недостатком улик, других—за то, что они на другой же день загладили свое недостойное поведение 13 апреля), а четырех (трех офицеров и одного гвардейца)—виновными в нарушении дисциплины и отказе итти в бой и осужденными на разные наказания (гвардейца—на 3 года тюремного заключения, одного офицера—на 5 лет, двух других—на пожизненные каторжные работы); сверх того, 105 батальон об'являлся распущенным, а его номер—вычеркнутым из списков национальной гвардии: офицеры, унтер-офицеры и гвардейцы этого батальона должны были быть распределены по другим батальонам в качестве рядовых солдат, лишались права занимать какую бы то ни было выборную должность, и первый же случай нарушения ими воинской дисциплины должен был рассматриваться как рецидив [1]).

Приговор не прошел незамеченным. В ближайшем же заседании Коммуны (23 апреля) депутат от VII округа Брюнель (якобинец) заявил решительный протест против огульного осуждения всего 105 батальона, «едва ли не самого патриотического (т.-е. революционного. *А. М.*) из батальонов VII округа», и потребовал кассации приговора. Брюнеля поддержал Жерарден (повидимому, Эжен).

«Произносить подобные приговоры,—заявил, с своей стороны, Ранвье (бланкист),—значит вносить в национальную гвардию разложение». Виктор Клеман: «Я провел ночь в военном трибунале и видел там, с каким пристрастием действовал гражданин Россель... В его манере председательствовать есть что-то театральное: он произносит политические речи, не имеющие никакого отношения к приговорам, которые он должен выносить. Более того, я слышал, как он сказал одному из обвиняемых: «В деле имеются донесения, благодаря которым, я надеюсь, вы будете осуждены»... Я слышал также, как несколько гвардейцев говорили между собой по окончании заседания: «Мы дадим расстрелять себя, если это нужно, но мы не будем сражаться за республиканцев, которые выносят подобные приговоры». Паризель и Сикар (представители VII округа) заявили, что считают необходимым пересмотр приговора. К ним присоединился неизменный защитник политики «гуманности» Верморель: «Перед лицом получившихся неполитичных результатов,—сказал он,—нечего бояться кассации решений этого трибунала... Нужно издать декрет, в котором было бы сказано, что трибунал действовал неправильно; такой декрет будет встречен населением одобрительно». Клюзере всячески защищал свое детище: «Вы приняли мое предложение об образовании военного трибунала, а теперь хотите итти против него и сделать для меня невозможным нести дальнейшую ответственность за военное руководство... Необходимы суровые меры против трусов и дезертиров: именно для этого и был создан, с вашего согласия, военный трибунал». Урбен (представитель VII округа): «Я обвиняю полковника Росселя в том, что он употребляет доверенную ему власть на удовлетворение лич-

[1]) «Journal officiel», 24/IV-1871. «Gazette des Tribunaux», 1871, № 13724. Ch. Prolès Le Colonel Rossel, Paris 1898, p. 55—60.

ной злобы». Один из членов: «Я требую смещения полковника Росселя». Сикар предлагает резолюцию, об'являющую военный трибунал распущенным, а все его приговоры, как произнесенные при неполном составе и, следовательно, незаконные, подлежащими пересмотру. В заключение принимается предложение интернационалиста Клеманса—поручить Комиссии Юстиции «расследовать факты, инкриминируемые военному трибуналу», и «в течение 24 часов представить доклад» Коммуне [1]).

Доклад Комиссии [2]), заслушанный в следующем же заседании Коммуны (24 апреля), сводился к назначению ревизионного суда из восьми членов для пересмотра всех приговоров, вынесенных военным трибуналом, который должен был прекратить свое существование с момента организации в каждом округе военного суда. Доклад этот вызвал оживленные прения, сопровождавшиеся резкими выпадами против военного трибунала и его председателя. (Якобинец) Урбен, готовый потребовать ареста последнего, утверждал, что в результате действий гражданина Росселя в VII округе невозможно собрать и десяти человек, согласных итти в бой», и предлагал особым декретом приостановить приведение в исполнение всех приговоров трибунала, немедленно освободить всех заключенных по этим приговорам и передать все дела на вторичное рассмотрение в военные суды при легионах. Паризель жаловался, что трибунал судил национальных гвардейцев так, как если бы он имел перед собой старых солдат: «Я об'являю,—сказал он,—что если этот приговор останется в силе, наше положение в округе станет невыносимым. Осуждены как раз те офицеры 105 батальона, которые являются настоящими социалистами, которые оказывали нам до сих пор деятельную поддержку...»; в заключение, Паризель выразил уверенность, что если бы дело 105 батальона рассматривалось военным судом того же (VII) округа, приговор был бы более справедливым. Особенно характерным было выступление правого прудониста, Виктора Клемана: «Конечно,—сказал он,—цель, внушившая идею создания военного трибунала, благая, уважительная и даже похвальная. Но я не думаю, чтобы этот трибунал мог действовать таким образом, как если бы он имел перед собой настоящих военных. Национальная гвардия, по самой природе своей организации, требует, чтобы с нею обращались совсем иначе. Если трибунал думал, что, действуя со всей строгостью, он делает полезное дело, он ошибся... Уходя из залы заседаний суда, я слышал такие разговоры: «Если так обращаются с испытанными республиканцами, то как же поступят с реакционерами?»... Вот уже 60 лет, как армия организована таким образом, что заключает в себе одних холостяков, оторванных от своих семей и очагов; не так обстоит дело с национальной гвардией. Я уверен, что достаточно было бы четырех-пяти подобных приговоров, чтобы вам не удалось найти и одного национального гвардейца для защиты Парижа. Неужели вы решились бы заставить их против их воли защищать вас?.. Добавлю, что военный трибунал может существовать лишь при осадном положении; а ведь вы

[1]) «Procès-Verbaux de la Commune», t. I, p. 396, 397, 406, 407.

[2]) Она состояла в это время из двух бланкистов (Дерер и Ж. Дюран), одного якобинца (Гамбон), одного правого прудониста (Ланжевен) и одного левого прудониста (Клеманс).

сняли его. Итак, существование этого трибунала не имеет больше никаких оснований». Иначе — правильнее — подошел к вопросу другой интернационалист, Авриаль (левый прудонист): «Вы должны понять,—сказал он,—что ни один приговор военного трибунала не обойдется без протестов. Пусть будет с полной очевидностью доказано, что осужденный трибуналом офицер оставил свою роту,—вы, все равно, услышите протестующие против приговора голоса... Военный трибунал, поскольку он учрежден, призван налагать наказания и судить все проступки по-военному, не считаясь ни с какими смягчающими обстоятельствами, которых в этой области и не может быть. Если же вы хотите судить эти проступки по-граждански, тогда уничтожьте военный трибунал». «Военный трибунал упраздняется—вот решение, которое мы должны принять», заявил Алликс (якобинец). Брюнель указал на следующие обстоятельства, ослабляющие, по его мнению, приговор: 1) 105 батальон не имел снарядов, 2) начальник легиона не принял всех необходимых мер, 3) председатель военного трибунала, как сын бывшего командира этого батальона, из чувства деликатности должен был бы отказаться от участия в разборе этого дела. «В заключение, я скажу, что положение очень серьезно, настолько серьезно, что в VII округе царит полная растерянность». Член Комиссии Юстиции интернационалист Ланжевен отметил, что, не касаясь существа самого приговора, его следует признать недействительным с юридической точки зрения, поскольку трибунал, состоящий из 6 членов, при разборе дела 105 батальона насчитывал только 5; а «так как вопрос о количестве судей есть вопрос о большинстве за или против обвиняемого», то при постановке этого приговора имело место прямое «посягательство на гарантии, на которые в праве претендовать последний». Бланкист Шардон, защищая действия военного трибунала (членом коего он являлся), указал, что «если бы он судил по военным законам, все обвиняемые получили бы смертные приговоры»,—на что Урбен возразил, что единственный человек среди подсудимых, который заслуживал смертного приговора, это полковник Витт, пьяница, «который был таким скандальным образом взят под защиту председателем трибунала». «Беспартийный» Растуль среди сильнейшего шума потребовал немедленного роспуска трибунала и освобождения всех осужденных; он мотивировал свое требование тем, что фактически этот судебный орган был создан не Коммуной, а Клюзере, который сам же подобрал его членов; в заключение, он заявил, что при существующей в военном ведомстве анархии нельзя так строго взыскивать с одного батальона, и что «самый виновный здесь это, пожалуй, военный делегат». Интернационалист Клеманс (левый прудонист): «Вопрос исключительно труден, так как если, с одной стороны, следует принять во внимание, что мы имеем дело с национальной гвардией, с отцами семейств, в отношении которых нужно проявлять некоторое снисхождение, то, с другой стороны, надо подумать об укреплении военной дисциплины... Если вы распустите военный трибунал, вы нанесете этим серьезный ущерб военной власти... Создайте у себя в округах военные суды,—и через три дня военный трибунал перестанет существовать». Снова выступивший Урбен подчеркнул храбрость, проявленную 105 батальоном на фронте в дни 14, 15 и 16 апреля. Редактор «Официальной Газеты» Лонге жаловался на то, что поступающие к нему ежедневно от-

четы о заседаниях военного трибунала не могут быть помещены in extenso (последнее делают только реакционные газеты) из-за политически бестактных реплик председателя: «Россель,—сказал он,—по-моему честнейший человек, но он совершенно лишен политического чутья». Шардон,—заявивший о том, что при создавшихся условиях он не может продолжать исполнение своих обязанностей члена военного трибунала,—предостерегал своих товарищей, что если не будет принято никаких мер к тому, чтобы заставить национальную гвардию итти в бой, генерал Домбровский вынужден будет подать в отставку. В заключение была принята резолюция—Комиссии Юстиции, с поправкой Паризеля—об образовании «ревизионной комиссии» в составе пяти членов Коммуны «для немедленного рассмотрения приговоров, вынесенных военным трибуналом» (при чем Шардон предложил не включать в эту комиссию представителей VII округа). После нового обмена мнений, Виктор Клеман, Дерер, Лонге, Лео Мелье и Жюль Валлес были избраны членами ревизионной комиссии [1]).

25 апреля эта последняя—устами своего докладчика, Лео Мелье—представила Коммуне проект постановления, которым приговор, вынесенный военным трибуналом в ночь на 23 апреля, кассировался, и дело передавалось на вторичное рассмотрение в военный суд XV легиона [2]). Мотивировалось это решение, прежде всего, общими соображениями о том, что «если подсудимый всегда имеет право требовать от своих судей максимальных гарантий независимости и беспристрастия, то в революционную эпоху эти самые гарантии должны составлять предмет особой заботы»; далее указывалось, что трибунал в своем ночном заседании с 22 на 23 апреля не давал подсудимым достаточных гарантий беспристрастия и независимости, так как, во-первых, состоял лишь из трех действительных членов, к которым были присоединены два назначенных произвольно, а, во-вторых, председательское место занимал Россель, который, как начальник главного штаба (т.-е. ищущая сторона) и как сын бывшего командира 105 батальона (т.-е. лицо заинтересованное), должен был бы, в интересах беспристрастия, отказаться от участия в разборе этого дела. В дополнение к постановлению ревизионной комиссии,—не встретившему возражений со стороны собрания и опубликованному на следующий день в «Официальной Газете» [3]) вместе с отчетом об этом заседании,—Паризель предложил временно освободить осужденных по делу 105 батальона, мотивируя свое требование тем, что этот батальон только что, на его глазах, отправился на линию укреплений, а «с того момента, как батальон выступил, люди нуждаются в своих офицерах». «Сегодня утром,—добавил интернационалист Остен,—105 батальон вышел брататься с 19-ым; увидев члена Коммуны, они направились ко мне. Эти граждане исполнены патриотического пыла и стоят за Коммуну и республику; они были недооценены». Мелье, от лица ревизионной комиссии,

---

[1]) «Procès-Verbaux de la Commune de 1871», tome I, pp. 448—457, 460.— Из пяти членов ревизионной комиссии трое (В. Клеман, Лонг, Ж. Валлес) были правые прудонисты, один (Дерер)—бланкист, один (Л. Мелье)—якобинец.

[2]) Чем кончилось дело 105 батальона после того, как оно было передано в военный суд XV легиона,—нам неизвестно. Во всяком случае, полковник Витт не удержался на своем посту начальника VII легиона и должен был уступить место капитану Гаранти (Prolès, Le Colonel Rossel, p. 131).

[3]) «Journal officiel» 26/IV-1871 г.

указал, что, согласно решения последней, «приговор (военного трибунала. *А. М.*) должен быть немедленно отослан капитану-следователю при военном суде XV легиона, который и решит, оставить ли обвиняемых под стражей или освободить их». Вслед за тем собрание перешло к обсуждению мер борьбы с произвольными арестами лиц командного состава и своеволием комитетов, дезорганизующими национальную гвардию,—при чем Эд сообщил, что в связи с дискуссией о военном трибунале Домбровский заявил ему о необходимости самых решительных мер, в особенности «против офицеров, которые не хотят сражаться и препятствуют в этом своим людям»[1]).

Россель,—информированный Клюзере о нападках, которым он подвергся в заседании Коммуны 23 апреля[2]),—поспешил, не дожидаясь утверждения или неутверждения приговора по делу 105 батальона, заявить (в письме, зачитанном в заседании Коммуны 24-го) о своем отказе от дальнейшего исполнения обязанностей председателя военного трибунала. «Я считал, что этот трибунал есть чисто-военный суд,—заявил он Жоаннару (присланному к нему Коммуной для об'яснений по поводу ареста одного офицера): «С того момента, как он принимает политический характер, я ретируюсь»[3]). В том же заседании 24-го заявил о своей отставке Шардон (единственный член Коммуны в составе военного трибунала)[4]). 26-го подал в отставку Бурсье[5]), протестовавший в заседании Центрального Комитета против неуместного прекраснодушия Коммуны, которая «находит, что военный трибунал заходит слишком далеко в своих приговорах, между тем как, напротив, необходимы самые суровые кары в целях устрашения дезертиров»[6]). За Росселем, Шардоном и Бурсье последовали, повидимому, остальные члены трибунала, и последний р а с п а л с я (формально не будучи распущен Коммуной).

Восстановить его удалось не сразу (хотя уже очень скоро почувствовалась нужда в нем)[7]). «Я решительно не представляю себе, когда мы доведем до конца организацию карательного аппарата, — писал 7 мая Россель, исполнявший в этот момент (с 30 апреля) обязанности военного делегата, полковнику Эмилю Гуа, назначенному им «докладчиком» несуществующего трибунала.— Никто не хочет брать на себя ответственность в тот момент, когда необходимо примерное наказание, каждый пугается и начинает говорить о с м я г ч а ю щ и х о б с т о я т е л ь с т в а х... Если бы вы могли помочь нам выбраться из этого тупика, наше дело было бы в значительной степени спасено... Когда Дантон говорил, что лучше быть гильотинированным, чем самому гильотини-

---

1) «Procès-Verbaux de la Commune de 1871», tome I, pp. 467—469, 474.

2) «Mém. du général Cluseret», t. I, p. 268.

3) «Procès-Verbaux», tome I, pp. 431, 457.—Россель, в своих записках, ошибочно переносит свою отставку на 26 апреля — день опубликования в «Официальной Газете» постановления ревизионной комиссии, которое и побудило его якобы решиться на этот шаг («Mém. et corresp. де L. R o s s e l», p. 309).

4) «Procès-Verbaux d. l. Commune», t. I, p. 440, 453.

5) Ibidem, t. I, p. 491.

6) Enq. parl. sur l'Insur du 18 mars», p. 507 (протокол заседания 24/IV).

7) Уже на заседании Коммуны 26 апреля, при обсуждении вопроса о репрессиях в ответ на зверский расстрел версальцами четырех пленных федератов, бланкист Тридон выразил сожаление по поводу факта ликвидации военного трибунала («Procès-Verbaux d. l. Commune», t. I, p. 503).

ровать, он уже не верил в дело революции [1]). Если в вечернем заседании Коммуны 9 мая (вызванном падением форта Исси и отставкой Росселя) и было решено «создать военный трибунал, члены которого будут немедленно назначены Военной Комиссией» [2]), а в утреннем заседании 10 мая—предать суду этого трибунала бывшего военного делегата (Росселя) [3]),—то фактически трибунал восстановлен был лишь 12-го, декретом Комитета Общественного Спасения, установившем новый состав его [4]), а первое заседание трибунала нового состава состоялось только 15 мая.

В этот второй майский период своего существования (не более продолжительный, чем апрельский), протекавший под председательством уже не беспартийного кадрового офицера (каким был Россель), а старого революционера и соратника Бланки—Эмиля Гуа, военный трибунал успел рассмотреть только одно крупное дело—о преждевременной эвакуации монастыря Исси (на южном фронте), занявшее два заседания (15 и 17 мая) и закончившееся осуждением двух обер-офицеров к 10 и 15 годам тюремного заключения, как и разоружением и роспуском 115 батальона. Присутствовавшие при разборе этого дела национальные гвардейцы вели себя так неспокойно и позволяли себе такие страстные реплики (в пользу обвиняемых), что трибунал вынужден был принять особое постановление о том, что «в случае малейшего шума зала будет очищена (от публики. *А. М.*), а нарушители порядка будут преданы суду военного трибунала и судимы в том же заседании»; постановление это, принятое «не только в интересах правосудия, но и в интересах самих обвиняемых», оглашено было при открытии заседания 17 мая и тогда же впервые получило свое применение (один национальный гвардеец, позволивший себе прервать речь защитника, был тут же предан суду трибунала и приговорен к 1 году тюремного заключения) [5]).

По своему первоначальному заданию и по своей практической деятельности военный трибунал был и остался чисто-военным судом, увенчивавшим здание военной юстиции Коммуны [6]).

---

[1]) «Enq. parl. sur l'Insur. du 18 mars», p. 511.—Перерыв в работе военного трибунала привел к тому, что в тюрьме Шерш-Мидн к началу мая скопилось более 100 заключенных офицеров и гвардейцев (Dauban, Le fond de la société..., p. 220), число которых все возрастало («Enq. parl», p. 511). 19 мая член Коммуны Ж.-Ж. Пильо получил от К-та Общ. Спасения задание обследовать всех заключенных в этой тюрьме офицеров и представить доклад К-ту («Journ. off.», 20/V-1871).

[2]) «Journal officiel», 10/V—1871 г. А. Молок, op. cit, стр. 431.

[3]) «Journal officiel», 11/V—1871 г. А. Молок, op. cit., стр. 431. Росселю удалось однако скрыться (10 мая) и суд над ним так и не состоялся.

[4]) В состав его вошли девять обер-офицеров (председатель, четверо судей, трое помощников судей, докладчик суда), по большей части бланкисты; из членов трибунала апрельского состава в него включен был только один («Journal officiel», 13/V. А. Молок, op. cit., стр. 436).

[5]) «Journal officiel», 18 и 19 мая 1871 г.

[6]) В конце концов, военно-судебный аппарат Коммуны сложился в следующем виде (считая снизу вверх): а) дисциплинарные советы (при батальонах) б) военные суды при легионах), в) военные суды (при каждой из трех действующих армий), г) военный трибунал. Кроме этих постоянных военно-судебных органов (существовавших, впрочем, далеко не всюду), практика Коммуны знала и непостоянные, возникавшие, от случая к случаю: таков, напр., военный суд, образованный 12 мая комендантом форта Бисетр членом Коммуны Лео Мелье специально для суда над задержанным на фронте дезер-

Но мысль о расширении его компетенции, о придании ему в известной мере характера общеполитического трибунала, не была—как показывают документы—вовсе чужда коммунарам. Вот, например, как определял обязанности военного трибунала его «докладчик» (а впоследствии председатель) Эмиль Гуа, в докладной записке на имя членов Военной Комиссии Коммуны (от 5 мая): «Офицер, который отказывается итти против неприятеля, шпион, который пробрался в наше расположение, наглый газетчик, ежедневно оплевывающий Коммуну, капиталист, жертвующий на вербовку людей для неприятельской армии, наконец, все те, кто принципиально отрицает установившуюся в Париже власть, должны подлежать суду военного трибунала. Я хотел бы, чтобы на скамью подсудимых были посажены также и те бесстыдные люди, которые осмеливаются говорить о перемирии и компромиссе с Версалем»[1]).

26 апреля член Коммуны якобинец Везинье внес предложение предавать суду военного трибунала все те самочинные комитеты, «которые будут продолжать противиться выполнению декретов Коммуны»[2]); 28 апреля член Коммуны бланкист Жоаннар предложил предавать суду трибунала высшую администрацию железных дорог, виновную в саботаже[3]), изданные в последние дни Коммуны декреты против контр-революционной агитации в печати[4]), о борьбе с подкупом[5]), взяточничеством, растратами и хищениями[6]) делали подсудным военному трибуналу всех лиц, уличенных в названных преступлениях, равно как и их соучастников. Наконец, бланкистская газета «Отец-Дюшен», в громовой статье против прудонистско-бакунистского «меньшинства» Коммуны, потребовала предания суду военного трибунала всех членов оппозиции, подписавших раскольническую декларацию от 15 мая[7]). Если, однако, намечавшееся, таким образом, расширение круга подсудных военному трибуналу дел не осуществилось, то об'ясняется это как тем, что наступившая вскоре (21 мая) развязка прекратила его деятельность, так и тем, что во второй половине мая приступил к работе общегражданский, революционный трибунал—так называемое «обвинительное жюри» (juri d'accusation)[8]), которому, согласно декрета о заложниках (от 5/IV), должно было предаваться «всякое лицо, уличенное в сообщниче-

---

тиром и шпионом, который и был приговорен к смертной казни (это едва ли не единственная смертная казнь, произведенная Коммуной за все время ее существования) (см. отчет об этой казни, представленный Лео Мелье 12 мая «Journal officiel», 13/V).

[1]) Dauban. Le Fond de la société sous la Commune, p. 219 (разрядка моя. *А. М.*).

[2]) «Procès-Verbaux d. l. Commune», t. I, p. 498.

[3]) Jbidem, t. I, p. 532.

[4]) «Journal officiel», 18/V-1871 (декрет К. О. С. от 28 флорсаля 79 г.).

[5]) «Journal officiel», 22/V-1871 (декрет К. О. С. от 1 прериаля 79 г.).

[6]) «Journal officiel», 20/V—1871 (декрет Коммуны от 19 мая). Чиновникам и поставщикам, уличенным в этих преступлениях, грозила по этому декрету смертная казнь, каковой Делеклюз требовал для них еще 24 апреля («Procès-verbaux», t. I, p. 444—445).

[7]) «Le Père Duchêne», 28 floréal an 79 (17 мая 1871 г.).

[8]) «Journal officiel», 19 и 21 мая 1871 (об'явления прокурора Коммуны Р. Риго). «Gazette des Tribunaux», 1871, № 13722 (ст. «Les juridictions de la Commune»).

ство с версальским правительством»[1]), т.-е. все явные и полускрытые пособники контр-революции.

Подводя итоги деятельности военного трибунала Коммуны, мы должны констатировать, что лишенный действительной поддержки правительства революционного Парижа, как и выдвинувших последнее и разделявших его анархические предрассудки рабочих масс, лишенный необходимого дополнения в виде централизованного и регулярно-действующего военно-административного и военно-оперативного аппарата, он оказался бессилен разрешить поставленную ему задачу—рациональной постановкой карательного аппарата содействовать делу укрепления дисциплины, а значит и боевой мощи военных сил пролетарской революции 1871 года.

---

[1]) «Journal officiel», 6/IV—1871. А. Молок, op. cit., стр. 360.

Гибридизация как фактор эволюции.

Ф. Дучинский.

Под гибридизацией прежде понимали скрещивание таких особей, которые принадлежат к различным систематическим расам или видам. Но так как особи даже одной и той же систематической группы не являются вполне идентичными в отношении наследственного вещества, то в настоящее время к явлениям гибридизации относят все вообще случаи полового размножения индивидуумов, отличающихся друг от друга одним или многими наследственными признаками. Под гибридом или бастардом обычно разумеют продукт скрещивания двух биотипов, т.-е. двух таких особей, совокупность наследственных зачатков которых не тождественна. По распространенному представлению гибрид занимает промежуточное положение по отношению к особенностям обоих родителей. Известным примером гибрида является мул, происходящий от скрещивания лошади и осла.

Из всех бесчисленных возражений, выдвигавшихся раньше против дарвинизма, ни одно не признавалось Дарвином таким серьезным как утверждение, что скрещивание противодействует видообразованию, так как скрещивание является отрицанием естественного отбора—основного фактора эволюции в учении Дарвина. Указание на то, что скрещивание парализует действие естественного отбора, высказанное впервые Дженкинсом, повторялось многими другими критиками дарвинизма (Беннетом, Брока, Жане и др.). «Истинным открытием» Данилевского, основным возражением его против дарвинизма было указание па поглощающую роль скрещивания. По его мнению, не может происходить в природе при посредстве естественного отбора сохранение и накопление полезных особенностей, так как каждая новая, возникшая единично, особь путем скрещивания со старыми формами постепенно утратит свои особенности. Посредством скрещивания «новые формы тотчас же и совершенно сольются с прежними формами». Отсюда Данилевский заключал, что в природе не существует естественного отбора, что он выдуман. И Дарвин считал, что скрещивание измененной особи со старыми формами оказывают на первую нивелирующее действие, и вновь возникшая особенность постепенно теряется. Он думал, что скрещивание ограничивает роль естественного отбора.

На основании аналогичных представлений о роли скрещивания, в зоотехнии известностью пользовался «метод поглощения», заключающийся в том, что пытались кровью улучшающей породы «поглотить кровь» улучшаемой породы. Считали, что, скрещивая самцов первой породы с самками второй и с происшедшими от скрещивания гибридными самками в течение нескольких поколений, можно получить в первом поколении «полу-

крови», во втором—обладающих $^3/_4$ крови, в третьем $^7/_8$, в четвертом $^{15}/_{16}$ и т. д. Качества одной породы постепенно поглощают или вытесняют качества другой породы. Полагали, что подобный же процесс вытеснения вновь возникающей особенности происходит и в природных условиях в результате скрещивания измененной особи со старыми формами.

Переоткрытие законов Менделя коренным образом изменило господствовавшие воззрения на роль скрещивания. Менделизм пролил новый свет на явление скрещивания, он выяснил те закономерности, которые лежат в основе наследственности. Менделизм сорвал покрывало таинственности, облекавшее явления наследственности; опытным путем он доказал, «что в основе наследственности лежит простой механический процесс» (Морган). Установленные на основании точных методов опытного скрещивания «законы» Менделя сводятся к явлениям единообразия, расщепления и независимости признаков.

При скрещивании особей, различающихся одной или несколькими парами противоположных (аллеломорфных) признаков, все гибриды первого поколения (F_1) оказываются однообразными. Они обладают или промежуточными по отношению к родителям признаками, или же рядом с явлением единообразия выступает явление доминирования одних антагонистических признаков над другими. В случае скрещивания двух вариететов «ночной красавицы», садового растения, обладающего красными и белыми цветами, все гибриды первого поколения имеют розовые цветы (более редкий случай «промежуточной наследственности»). При скрещивании двух рас мухи дрозофилы, имеющих длинные и недоразвитые крылья, все мухи F_1 имеют длинные крылья. Длинные крылья—признак доминирующий, недоразвитые крылья—рецессивный признак.

При скрещивании гибридов F_1 между собою во втором поколении выступает явление расщепления. F_1 «ночной красавицы» с розовыми цветами в F_2 расщепляется на растения трех сортов: с красными, розовыми и белыми цветами в отношении 1:2:1, при этом растения с красными и белыми цветами оказываются наследственно чистыми (гомозиготными): при скрещивании красных с красными и белых с белыми расщепления не происходит, потомство их имеет однородные красные или однородные белые цветы. Растения же с розовыми цветами в третьем и в следующих поколениях так же расщепляются и в таком же числовом соотношении, как и во втором поколении. Растения с розовыми цветами оказываются наследственно нечистыми (гетерозиготными), так как содержат зачатки красного и белого цвета. Длиннокрылые гибриды F_1 мухи дрозофилы, скрещиваясь между собою, дают в F_2 длиннокрылых и с недоразвитыми крыльями в отношении 3:1. Мухи с недоразвитыми крыльями являются гомозиготными, из длиннокрылых же только $^1/_3$ оказывается гомозиготной, остальные $^2/_3$—гетерозиготны и расщепляются так же в F_3, как и во втором поколении. Правила Менделя распространяются на растения, на животных и на человека. Они распространяются на различные их признаки; нет таких групп признаков, которые не были бы подчинены им.

Для об'яснения наблюдающихся при скрещивании явлений была выдвинута гипотеза чистоты гамет (половых клеток), согласно которой заключенные в гибридах пары противоположных

признаков (красная-белая окраска цветов у «ночной красавицы», длиннокрылые и с недоразвитыми крыльями мухи) при процессах размножения раз'единяются путем образования двоякого рода половых клеток, содержащих фактор одного или другого признака. Половина зародышевых клеток будет содержать одни зачатки (красный цвет), другая половина—другие (белый цвет). Во время процесса оплодотворения возможны три комбинации гамет, которые дадут три вида зигот (оплодотворенных клеток); гамета с фактором красного цвета соединится с гаметой, содержащей фактор красного цвета, гамета с фактором белого цвета с гаметой белого цвета и гамета с красным фактором с гаметой с белым фактором. Последняя комбинация будет случаться, на основе теории вероятности, два раза чаще, чем две первые комбинации. На языке буквенных символов весь этот процесс можно выразить следующим образом.

Скрестим два растения гороха: одно с фактором красной окраски цветов, другое—с фактором белой окраски. Красная окраска доминирует над белой (рецессивной). Назовем их начальными латинскими буквами d и r. Гибридов F_1 обозначим dr. При скрещивании dr между собой возможны четыре комбинации: 1) d×d=dd, 2) d×r=dr, 3) r×d—rd, 4) r×r=rr. В первом и четвертом случае комбинируются однородные факторы, вследствие чего образуются константные гомозиготные формы. Во втором и третьем случаях при комбинации разнородных зачатков возникают гетерозиготные формы, которые в дальнейшем при скрещивании между собой будут расщепляться по формуле: d:2dr:r. В описанном простом случае моногибридного скрещивания новых константных форм не образуется, при расщеплении появляются исходные родительские формы.

Другие результаты получаются при дигибридном и полигибридном скрещивании, когда скрещиваются особи, обладающие двумя или многими парами противоположных признаков. Произведем скрещивание двух рас мухи дрозофилы: длиннокрылой темного цвета и с недоразвитыми крыльями серого цвета. Гибриды F_1 будут длиннокрылые серого цвета. Длинные крылья и серый цвет—доминантные признаки, недоразвитые крылья и темный цвет—рецессивные признаки. Так как каждая пара признаков в F_2 распределяется независимо от других признаков. согласно правилу независимости признаков, то при дигибридном скрещивании возможны следующие случаи: 1) встретятся оба доминантных признака. 2) или оба рецессивных признака. 3) или один доминантный и один рецессивный признак. В результате сочетаний четырех сортов гамет образуемых гибридами F_1 (1) длинные крылья и серый цвет, 2) длинные крылья и темный цвет, 3) недоразвитые крылья и серый цвет и 4) недоразвитые крылья и темный цвет) получится 16 комбинаций их: 9 случаев соединения обоих доминантных признаков (9 dd). 3 сочетания доминантного признака с рецессивным (3 dr), 3 соединения рецессивного признака с доминантным (3 rd) и 1 случай соединения обоих рецессивных признаков (rr). В F_2 получится 9 длиннокрылых серых мух, 3 длиннокрылых темных, 3 с недоразвитыми крыльями серых и 1 с недоразвитыми крыльями темная муха. Мы видим при гибридном скрещивании появление в F_2 двух новых форм мух: серых с длинными крыльями и темной с недоразвитыми крыльями, при чем последняя оказывается

гомозиготной, константно передающей свои признаки потомству в случае размножения с себе подобной.

При тригибридном, тетрагибридном и полигибридном скрещивании, когда особи различаются тремя, четырьмя или большим числом пар противоположных признаков, количество возможных комбинаций их у потомков быстро возрастает. Это явление можно об'яснить только тем, что каждый организм представляет сложное сочетание отдельных факторов, аггрегат наследственных единиц—генов, которые лежат в основе признаков, и что гены могут вступать в самые различные комбинации независимо друг от друга. .

Посмотрим, с какой необычайной быстротой возрастает число комбинаций отдельных признаков с увеличением количества последних. При тригибридном скрещивании получается в F_2 64 комбинации, которые образуют 8 различных фенотипов. Среди 64 индивидуумов находится: 27 ddd, 9 ddr, 9 drd, 9 rdd, 3 drr, 3 rdr, 3rrd, 1 rrr. Алгебраически этот результат получится при умножении числа комбинаций при дигибридном скрещивании (9 dd+3 dr+3 rd+1 rr) на (d+2d+r) на четыре возможных случая: 1 доминантный гомозиготный; 2 доминантных гетерозиготных и 1 рецессивный гетерозиготный. Если скрещивают особей с четырьмя парами признаков, то получают в F_2 256 различных генотипов: 81 dddd, 27 dddr, 27 ddrd, 27 drdd, 27 rddd, 9 ddrr, 9 drdr, 9 drrd, 9 rddr, 9 rdrd, 9 rrdd, 3 drrr, 3 rdrr, 3 rrdr, 3 rrrd, 1 rrrr. При 5 парах признаков возникает 1024 комбинации их, при 10 более 1 миллиона и т. д. При 10 различных, независимо расщепляющихся парах признаков появится уже 1024 внешне различных групп, при 20 парах признаков свыше 1 миллиона. Следующая таблица сделает более ясным числовые отношения:

Число признаков.	Число различн. гамет.	Число возможных комбинаций.	Число внешне различных групп.	Число представителей каждой из групп.
1	2	$(2^1)^2 = 4$	2	3 : 1
2	$2^2 = 4$	$(2^2)^2 = 16$	$2^2 = 4$	9 : 3 : 3 : 1
3	$2^3 = 8$	$(2^3)^2 = 64$	$2^3 = 8$	27 : 9 : 9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 1
4	$2^4 = 16$	$(2^4)^2 = 256$	$2^4 = 16$	81 : 27 : 27 : 27 : 27 : 9 : 9 : 9 : : 9 : 9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 3 : 1
.	.	.	.	
.	.	.	.	
.	.	.	.	
10	$2^{10} = 1024$	$(2^{10})^2 = 1046536$	$2^{10} = 1024$	. . . .
n	2^n	$(2^n)^2$	2^n	. . . .

Число комбинаций, как видим, так быстро нарастает, что когда скрещиваются особи, различающиеся даже немногими признаками, то и тогда во втором поколении выступает многообразие форм.

Следует оговориться, что в настоящее время правила Менделя значительно ограничивают в их значении. Благодаря новейшим достижениям генетики менделизм испытал значительное усложнение. Большую роль в этом отношении сыграли работы школы Моргана и созданная ею хромозомальная теория наследственности. Считают, что факторы, которых у дрозофилы, например, насчитывают не менее 7.500, локализованы в хромозомах и об'единены в 4 группы по числу пар хромозом у дрозофилы. Факторы каждой группы наследуются совместно и независимо от членов других групп. Тем самым правило независимого наследования признаков получает значительные ограничения. Не устанавливают теперь также той тесной зависимости между фактором и признаком, как это делали раньше. Допускают, что один фактор может влиять на несколько признаков, а отдельный признак может зависеть от нескольких генов, действующих в одинаковом направлении, но унаследываемых независимо друг от друга. Многие важные качества (устойчивость растений к холоду, к болезням, высокая яйценоскость кур, пигментация человеческой кожи, окраска волос и др.) обусловливаются одинаково действующими несколькими или многими генами. Цвет волос или кожи определяется, например, целым десятком генов. При наличности многих генов, влияющих на тот или другой признак, число различных возможных их комбинаций сильно возрастает. Если организмы отличаются двумя только признаками, из которых каждый зависит от 10 разных генов, число возможных комбинаций их может быть свыше биллиона. Факторы, влияющие на один и тот же признак, находятся во взаимодействии. В результате же из взаимодействия могут возникать совершенно новые признаки.

Если, с одной стороны, приведенные поправки ограничивают значение правил Менделя, то, с другой стороны, они свидетельствуют, что размах мыслимых комбинаций признаков может быть еще более широким и может вести к созданию еще большего разнообразия форм в F_2. Скрещивание в опытах Лотси двух форм львиного зева (Antirrhinum sempervivens и A. majus) привело во втором поколении к необычайно большому, «невероятному», по словам автора, разнообразию и богатству форм. Среди полученных 1.200 растений не было двух идентичных по форме и окраске цветов. При скрещивании двух рас «ночной красавицы» с белыми и светложелтыми цветами в F_2 выступает 8 различных окрасок цветов. Путем скрещивания двух рас дрозофил с более и менее темным цветом тела—«закоптелым» и «эбеновым»—в F_2 получается непрерывный ряд мух: закоптелых, промежуточных и эбеновых. От скрещивания кур с розовидным гребнем и гороховидным, помимо двух исходных форм, происходят куры с ореховидным и обыкновенным гребнем. Из приведенных немногих примеров видно, что вследствие скрещивания могут возникать не только новые комбинации существующих уже признаков, но могут появляться и совершенно новые признаки, «новообразования».

После сообщенных данных, становится понятной та громадная, первостепенно-важная роль, какую метод гибридизации играл и играет в происхождении различных пород домашних животных и сортов культурных растений. Многие породы домашних животных, поскольку позволяют судить имеющиеся све-

дения, произошли путем скрещивания двух или нескольких диких родоначальных форм. Многие породы собак ведут свое происхождение от скрещивания волка и шакала, некоторые породы крупного рогатого скота произошли как от европейского тура, так и от азиатского бантенга, некоторые породы свиней—как от дикаго кабана, так и от азиатской полосатой свиньи. При скрещивании дикого кабана с домашней свиньей уже в первом поколении часть поросят напоминает полосатых поросят дикого кабана, а другая часть—поросят домашней свиньи, что свидетельствует о том, что последняя—продукт скрещивания.

Если многие породы домашних животных произошли путем бессознательного скрещивания, то в новейшее время в выведении новых пород животных и сортов растений на передний план выступает метод сознательного скрещивания. С конца XVIII века этот метод получил широкое применение в Англии, значительно позднее—в Америке. Уже Дарвину удалось посредством скрещивания характерные признаки 5 рас голубей соединить в одной особи [1]). Посредством скрещивания и последующего отбора получены многие породы сельско-хозяйственных животных и растений. Наш, например, орловский рысак произошел от скрещивания трех пород лошадей (арабской, голландской и датской). Беркширские свиньи—от скрещивания местных свиней с тонкинской породой, лейчестерская—местных с неаполитанской и китайской породами и т. д. Несомненно, что многочисленные породы лошадей, крупного рогатого скота, свиней, собак, кур, голубей и других животных получены путем скрещивания немногих прирученных и одомашненных видов животных и тех сравнительно немногочисленных форм, которые возникли посредством мутации [2]). Кернер насчитал более 10.000 сортов культурных растений, которые возникли посредством гибридизации. Наиболее изученными примерами полученных методом гибридизации новых форм являются розы и хризантемы.

При беспорядочном скрещивании различных пород и отродий возникает чрезвычайная пестрота беспородного скота. Когда скрещивают животных различных пород или же животных одной и той же расы, но различающихся, положим, окраской шерсти или перьев, то часто потомство уже в первом поколении оказывается различным, а этот факт служит доказательством того, что родители его произошли посредством скрещивания различных форм.

Это явление постоянно в ясной форме наблюдается и среди людей. Чем дальше развивается социально-экономическая жизнь человеческого общества, чем сильнее прогрессирует лежащая в основе общественных отношений техника, тем все больше происходит смешение отдельных многочисленных генотипов народностей, наций, рас. Современное культурное человеческое общество представляет большую пестроту и разнообразие генотипических составных его элементов. Более или менее сильное различие детей одних и тех же родителей ясно свидетельствует о генетических различиях родителей. Фенотипически и генотипи-

---

[1]) Schallmayer, Vererbung und Auslese, S. 56.

[2]) «Скотоводческое искусство развивалось таким образом, что отыскивали иностранные расы или виды с желательными особенностями, скрещивали их с туземными и затем отбирали хорошие комбинации». Goldschmidt Einführung in die Vererbungswissenschaft, 4 Aufl., S. 342.

чески однородный состав населения можно найти только в тех группах и ячейках человеческого общества, которые продолжают вести в условиях натурального хозяйства замкнуто-изолированную жизнь.

Селекция сельско-хозяйственных растений пользуется методом гибридизации, как наиболее могучим средством получения новых ценных сортов культурных растений. Это вполне понятно, если вспомнить, что при скрещивании двух рас, например, пшеницы («компактум» и «квадратноголовой») во втором поколении получается несколько новых форм, при скрещивании двух рас ячменя в F_2 появляется 14 совершенно новых сортов и т. д.

Задолго до работ современных селекционных станций, стоящих на почве менделизма, методом гибридизации, как единственным методом, с последующим отбором широко пользовались великие практики-гибридизаторы—Бербенк и Мичурин. Они создали путем гибридизации большое количество новых ценных сортов культурных растений.

Бербенк создал массу сортов яблок, груш, персиков, абрикосов, слив, вишен. Он вывел более 60 новых сортов слив и чернослива, он получил много новых ягодных, огородных, декоративных и других растений. Некоторые из них по праву могут быть названы новыми видами. Он является творцом сливы и чернослива без косточек, слив, сходных с яблоками по виду и вкусу, огромных груш и крупной айвы, белой ежевики, кактуса без колючек и т. д.

Мичурин, пользуясь методом гибридизации, вывел более ста новых сортов плодовых, ягодных, огородных и декоративных растений. Скрещивая местные или дико растущие сорта, приспособленные к климату и устойчивые против заболеваний, с иноземными растениями, высоко урожайными, способными долго сохраняться и отличающимися высокими вкусовыми качествами, он соединял в полученных гибридах ценные качества одних и других. Многие выведенные им гибридные растения оказались хорошо приспособленными к более суровому климату. Таковы сорта винограда, миндаля, персики, абрикосы, грецкие орехи, айва, шелковица. Им выведены скороспелые сорта дыни, крупноплодные сорта смородины, новые сорта малины, ежевики, сливы, вишни, яблок, груш, табака и т. д. Интересен гибрид яблони, все части которого, начиная с корней и кончая листьями и мякотью плодов, окрашены в различные тона красного цвета. Он получил сорта растения «актинидия», дающие зеленые сладкие ягоды, по вкусу не уступающие лучшим сортам винограда.

Много новых культурных растений Бербенк и Мичурин получили посредством скрещивания не только близких разновидностей, но и далеко стоящих друг от друга видов и родов растений при помощи выработанных ими методов гибридизации.

Бербенк получил гибридов более чем от двухсот разных видов. Им получены гибриды от скрещивания яблони и груши и айвы, айвы и груши, сливы и абрикоса, персика и миндаля, апельсина и лимона, малины и ежевики, картофеля и красного помидора (на последнем гибриде растут одновременно клубни на корнях и плоды на стеблях). Мичурин скрещивал такие растения, как яблоня и груша, груша и рябина, черешня и вишня, дыня и тыква.

Опытные работы над получением гибридов от разных видов и родов имеют громадное принципиальное значение. Они показывают всю условность и относительность наших систематических группировок и делений на разновидности и виды. Они доказывают правильность положения Дарвина: «разновидность—только начинающийся вид». Опытным путем доказывается родство видов и родов. Работы Бербенка и Мичурина установили необычайную плодовитость некоторых гибридов, происшедших от разных видов. В настоящее время известны многочисленные гибриды разных видов, родов и даже семейств: таковы многие гибриды насекомых, рыб (лососевых, карповых), лягушек, жаб, птиц (куры и фазаны, фазаны и тетерева), млекопитающих (собаки с волком, лисицей, шакалом, тигра и льва, лошади и осла и др.). Многие гибриды оказываются бесплодными, другие гибриды (собаки и волка, собаки и шакала, зайца и кролика и др.) плодовиты между собой. С другой стороны, в некоторых случаях очень близкие между собой организмы не скрещиваются. Таким образом, положение, что легкость скрещивания и плодовитость потомства зависит от систематической близости скрещиваемых форм, нуждается в значительных ограничениях. Плодовитость одних гибридов и бесплодие других связаны таким рядом постепенных переходов, что это явление говорит об отсутствии резкой грани между плодовитыми и бесплодными формами.

Что же касается особенностей гибридов, происшедших от разных видов, то они могут быть не только промежуточными по отношению к признакам родителей, как думали раньше, но могут иметь разнообразный характер. Если признаки гибридов имеют преимущественно промежуточный характер, то в других случаях у них признаки родителей не так хорошо смешаны, а выступают, как камни в мозаике, рядом друг с другом. Нередко у них наблюдается правило доминирования одного признака над другим, в иных же случаях у гибридов появляются новые признаки, не существовавшие у родителей. Установлено, что между доминированием признаков у гибридов и промежуточным характером наследственности не существует резкой противоположности. Многие признаки гибридов, которые могут быть при поверхностном рассмотрении признаны вполне доминирующими признаками, при ближайшем анализе выявляют особенности другой родительской формы, смешанные с признаками первой. Связанные у гибридов признаки родительских особей расщепляются во втором поколении и при этом в более сложной и многообразной форме, чем в случае скрещивания близких разновидностей.

В опытах гибридизаторов достигалась путем вегетативного размножения плодовитость таких гибридов, которые в природных условиях, без применения сложных искусственных приемов скрещивания оставались бы бесплодными.

Но происходит ли вообще гибридизация между разными видами растений и животных в природе? Что в природных условиях среди диких растений и животных так же, как и среди культурных растений и животных, происходят многочисленные скрещивания между представителями различных сортов и разновидностей, в этом не может быть никаких сомнений. По подсчетам Кернера в Европе известно около 1.000 дикорастущих растений—продуктов скрещивания. В своей книге

«Pflanzenleben» (II Teil, 1898, S. 522) он приводит длинный список возникших путем гибридизации диких растений, об'единив их в основные группы. Каждый год несомненно возникают новые гибриды. В природе происходит не только процесс гибридизации близко-родственных разновидностей, но и более далеко стоящих видов и родов. Найдены были в природных условиях гибриды разных видов и родов насекомых, гибриды рыб, гибриды птиц (гибриды тетерева и глухаря, тетерева и белой куропатки, рябчика и белой куропатки и т. д.), гибриды других организмов.

Итак, в мире растений и животных широко наблюдается скрещивание и более отдаленных в родственном отношении организмов.

Что же касается близко-родственных организмов, принадлежащих к одной и той же расе или разновидности, то скрещивание двух особей, половое размножение оказывается, за исключением сравнительно немногих групп организмов, почти всеобщим явлением. Факт распространенности процесса полового размножения говорит о его важной биологической роли в жизни организмов. Существование растений и животных, размножающихся бесполым путем, показывает, что половой процесс не является необходимым условием размножения. Значение его другое. Размножение путем скрещивания, как и всякое другое биологическое явление, должно быть выгодным для возникающих таким путем организмов. В чем же может заключаться биологическая полезность полового размножения?

Общеизвестно, что размножение близких родственников между собою в течение ряда поколений приводит к вырождению: у них ослабляется сопротивляемость к заболеваниям, понижается плодовитость, уменьшается их величина. Поэтому чистые расы, культивируемые в небольшом числе, нуждаются в «освежении» посредством скрещивания с взятыми в другом месте особями. Впрочем, у некоторых организмов, как, например, у мухи дрозофилы, конституция настолько стойка, что скрещивание брата и сестры на протяжении 60 поколений не отразилось вредно. У гибридов же, напр., растений наблюдаются обратные явления: они обладают большей, чем у исходных форм, величиной, покрыты пышной листвой и производят много цветов и семян. Иногда мощность вегетативного развития сопровождается бесплодьем гибридов (таковы гибриды между редисом и капустой, рапсом и капустой, пшеницей и рожью и др.). Следует еще раз отметить, что скрещивание далеко отстоящих друг от друга организмов оказывается бесплодным или же сопровождается полным бесплодием их гибридов.

Важное значение скрещивания зависит от того, что во время процесса оплодотворения происходит сочетание двух более или менее наследственно различных зародышевых плазм. Это происходит не только в тех случаях, когда скрещиваемые особи принадлежат к разным разновидностям или даже видам, но и тогда, когда скрещиваются особи одной и той же расы. В пределах одной и той же расы находится большее или меньшее число генотипов или чистых линий, которые и вступают в скрещивание между собой. Но если мы возьмем даже несколько экземпляров растений или животных одной и той же «чистой» расы и подвергнем их тщательному анализу, то выясним, что

ми наследственно различаются между собой хотя бы второстепенными, несущественными особенностями. И теоретически трудно представить себе, чтобы два близких организма обладали абсолютно тождественными наследственными зачатками.

Явление изменчивости—всеобщее явление. Все организмы подчинены закону всеобщей изменчивости. Нет двух совершенно идентичных организмов. В явлении изменчивости—раскрытие тайны биологического значения полового размножения, скрещивания. Скрещивание—великий источник изменчивости организмов. Оно беспрерывно создает новые комбинации признаков, новые формы организмов. Возникновение различных комбинаций при размножении—одна из важных причин происхождения изменчивости организмов, служащей исходным пунктом процесса видообразования. Явление изменчивости позволяет организмам беспрерывно приспособляться к изменяющимся внешним условиям их существования. В борьбе за существование выживают только приспособленные, т.-е. те организмы, изменчивость которых гармонирует с условиями окружающей среды. При скрещиваниях близко-родственных организмов широта изменчивости бывает незначительной, при скрещиваниях же представителей разных видов и родов размах изменчивости может быть очень широкий, дающий богатый материал для работы естественного отбора.

Как выше было уже отмечено, человек пользуется гибридизацией, как основным методом выведения новых рас культурных растений и животных. Он выделяет среди гибридов гомозиготных особей с желательной комбинацией признаков и путем дальнейшей изоляции их создает новые константные породы и сорта. Но может ли посредством скрещивания происходить образование новых стойких форм в природе, где нет сознательно и планомерно регулирующей биологический процесс руки человека? Не правы ли те авторы, которые утверждали раньше, что гибридация в природных условиях не может создать новых стойких форм, так как гибриды путем расщепления возвращаются к исходным формам?

Посмотрим, что произойдет с гибридами, если их размножение никем и ничем не будет регулироваться. Предположим простой случай. Скрещивание произошло между самооплодотворяющимися растениями, положим, сортами гороха, различающимися парой признаков (желтыми и зелеными семенами). Подобные растения самой природой изолированы друг от друга при их размножении. В первом поколении будут желтые семена: желтая окраска доминирует над зеленой. Растения первого поколения гетерозиготны. Во втором поколении появится $^1/_4$ гомозиготных желтых, $^1/_4$ гомозиготных зеленых и $^2/_4$ желтых гетерозиготных. Числовые отношения в дальнейших поколениях будут следующие: в F_3 — $^3/_8$, $^2/_8$, $^3/_8$, в F_4 — $^7/_{16}$, $^2/_{16}$, $^7/_{16}$, в F_5 — $^{15}/_{32}$, $^2/_{32}$, $^{15}/_{32}$ и т. д. Число гетерозиготных форм с каждым новым поколением будет быстро убывать по сравнению с числом гетерозиготных особей. Через сравнительно короткий ряд поколений число гетерозиготов по отношению к общему количеству особей окажется совершенно ничтожным. Подобное же произойдет и со сложными гетерозиготными особями.

Если случится дигибридное или полигибридное скрещивание особей, размножающихся обычно путем самооплодотворения, то

число гетерозиготных форм в ряду поколений будет так же быстро уменьшаться, как и в случае моногибридного скрещивания, но уже в F_2 появятся новые константные гомозитные формы, соединяющие в себе признаки обеих исходных форм.

Проанализируем процесс скрещивания организмов, размножающихся половым путем. Предположим, что произойдет более простой случай скрещивания двух рас кроликов, различающихся парой признаков: черной и белой окраской шерсти. Черного кролика назовем AA, белого кролика aa. При скрещивании черного кролика с белым получаются гибриды Aa, которые, скрещиваясь между собою, дадут в F_2 черных и белых в отношении 3:1 (1AA:2Aa:1aa). Допустим, что известное число гетерозиготных особей F_1 попало на пустынный остров, где свободно могло произойти их размножение. Каково будет отношение черных и белых кроликов спустя длинный ряд поколений?

Для упрощения примера будем иметь в виду одну пару кроликов F_1, которая произведет 8 детенышей: 4 самца и 4 самки, из которых 3 самца и 3 самки будут черные и 1 самец и 1 самка — белые. При скрещивании особей F_2 возможны различные комбинации. Обозначим 4 самца и 4 самки такими знаками: одного гомозиготного черного самца (AA)—1, такую же самку (AA)—a; двух гетерозиготных черных самцов (Aa)—II и III, двух таких же самок (Aa)—b и c; одного гомозитного белого самца (aa)—IV, такую же самку (aa)—d.

Между означенными самцами и самками одинаково возможно 16 следующих скрещиваний (n обозначает среднее число детенышей при одном скрещивании):

1) $a \times I = \frac{4}{4}$ n AA
2) $a \times II = \frac{2}{4}$nAA + $\frac{2}{4}$nAa.
3) $a \times III = \frac{2}{4}$nAA + $\frac{2}{4}$nAa.
4) $a \times IV = \frac{4}{4}$nAa.
5) $b \times I = \frac{2}{4}$nAA + $\frac{2}{4}$nAa.
6) $b \times II = \frac{1}{4}$nAA + $\frac{2}{4}$nAa + $\frac{1}{4}$naa.
7) $b \times III = \frac{1}{4}$nAA + $\frac{2}{4}$nAa + $\frac{1}{4}$naa.
8) $b \times IV = \frac{2}{4}$nAa + $\frac{2}{4}$naa.
9) $c \times I = \frac{2}{4}$nAA + $\frac{2}{4}$nAa.
10) $c \times II = \frac{1}{4}$nAA + $\frac{2}{4}$nAa + $\frac{1}{4}$naa.
11) $c \times III = \frac{1}{4}$nAA + $\frac{2}{4}$nAa + $\frac{1}{4}$naa.
12) $c \times IV = \frac{2}{4}$nAa + $\frac{2}{4}$naa.
13) $d \times I = \frac{4}{4}$nAa.
14) $d \times II = \frac{2}{4}$nAa + $\frac{2}{4}$naa.
15) $d \times III = \frac{2}{4}$nAa + $\frac{2}{4}$naa.
16) $d \times IV = \frac{4}{4}$naa.

В результате 16 одинаково вероятных скрещиваний в F_3 получится следующее отношение между отдельными группами: $\frac{16}{4}$nAA + $\frac{32}{4}$nAa + $\frac{16}{4}$naa, т.-е. 4nAA + 8nAa + 4naa, или 1AA : 2Aa : 1aa. Мы видим, что количественное отношение между группами и в третьем поколении оказывается такое же, какое было во втором поколении: на 3 черных кролика будет 1 белый. Подобное же процентное отношение между группами сохранится и во всех следующих поколениях. Это будет наблюдаться не только в том случае, когда скрещиваются особи одного и того же поколения, но и когда происходит скрещивание особей различных поколений. То, что установлено по отношению к рассмо-

тренному нами случаю моногибридного скрещивания; относится одинаково и к случаям дигибридного, тригибридного и полигибридного скрещивания, когда во втором поколении происходит сложное расщепление на более или менее большое число групп. Во всех дальнейших поколениях сохранится приблизительно то же соотношение отдельных групп, какое было и во втором поколении.

Предположим, что на пустынный остров попала группа кроликов, состоящая из следующих особей: двух гомозиготных черных самцов (AA)—I и II, одного гетерозиготного черного самца (Aa)—III, двух гомозиготных черных самок (AA)—a и b, одной гетерозиготной черной самки (Aa)—c. При свободном скрещивании возможны следующие 9 комбинаций:

1) $a \times I = {}^4/_4 nAA$.
2) $a \times II = {}^4/_4 nAA$.
3) $a \times III = {}^2/_4 nAA + {}^2/_4 nAa$.
4) $b \times I = {}^4/_4 nAA$.
5) $b \times II = {}^4/_4 nAA$.
6) $b \times III = {}^2/_4 nAA + {}^2/_4 nAa$.
7) $c \times I = {}^2/_4 nAA + {}^2/_4 nAa$.
8) $c \times II = {}^2/_4 nAA + {}^2/_4 nAa$.
9) $c \times III = {}^1/_4 nAA + {}^2/_4 nAa + {}^1/_4 naa$.

В результате 9 скрещиваний будет ${}^{25}/_4 nAA + {}^{10}/_4 nAa + {}^1/_4 naa$. Отношение 25 : 10 : 1 останется и в дальнейших поколениях, т.е. на 25 гомозиготных черных кроликов будет 10 гетерозиготных черных и 1 гомозиготный белый кролик. Признаки, которые исчезают при скрещивании в F_1, упорно проявляются в следующих поколениях. Поэтому оказывается ошибочным, опровергнутым опытными исследованиями, взгляд, по которому появившаяся новая форма путем ряда скрещиваний с другими особями будет поглощена.

В приведенных выше гипотетических примерах и расчетах мы отвлекались от реальных природных условий существования организмов. Предполагалось, что все особи обладают одинаковой жизнеспособностью и плодовитостью и что не происходит новых скрещиваний их с другими особями. Кроме того, мы сознательно игнорировали такой важный фактор, как фактор борьбы за существование и естественного отбора, который часто играет решающую роль в судьбе отдельных групп организмов, возникающих путем скрещивания.

«Вопрос о действии отбора на менделирующую популяцию имеет очень важное значение для великой проблемы эволюции»[1],—говорит Баур. Отбор резко изменяет соотношение отдельных групп в пользу тех из них, которые наделены признаками, делающими их более приспособленными к условиям существования. Только приспособленные выживают в борьбе за существование, оказавшиеся же неприспособленными более или менее быстро вымирают.

На нескольких конкретных примерах кратко рассмотрим этот вопрос.

Предположим, что среди темно-окрашенных животных, обитающих в полярной области, возникло животное, наделенное

[1]) Baur, Einführung in die experimentelle Vererbungslehre, 5/6 Aufl., S. 347.

белым мехом. Белая окраска является в данном случае чрезвычайно выгодной приспособительной к окружающему фону особенностью. Так как белая окраска—признак рецессивный, то при скрещивании белого животного с темным в первом поколении все животные будут темные, но во втором поколении появится $^1/_4$ гомозитных белых особей. При действии острой борьбы за существование и естественного отбора белые животные быстро вытесняют темных благодаря тому, что белые животные при скрещивании между собою будут давать только белое потомство. Такой же процесс вытеснения животных, окраска которых не гармонирует с окружающей средой, произойдет и в различных других случаях, когда появятся покровительственно окрашенные животные и когда последняя окраска окажется рецессивным признаком. Аналогичное же явление будет наблюдаться, когда среди животных, попавших на вершину высокой горы, появятся животные, мех которых будет более длинный или густой, лучше защищающий их от холода. Вымирание неприспособленных пойдет быстро, если более длинная или густая шерсть—признак рецессивный.

Если же процессу отбора и выживания подлежат животные не с рецессивным, а с доминантным признаком, тогда вытеснение рецессивных форм будет происходить очень медленно; оно не приведет к образованию константных форм, так как и гетерозиготные формы фенотипически не отличаются от гомозиготных с доминантным признаком. Организмы, наделенные рецессивным признаком, будут неуклонно уничтожаться, число гомозиготных с доминантным признаком будет быстро расти, но существование гетерозиготов будет препятствовать выделению чистой расы. При редких скрещиваниях гетерозиготных форм будут появляться рецессивные формы, подлежащие уничтожению; при преобладающем же скрещивании гомозиготов с гетерозиготами будут возникать вновь гетерозиготы в том же числе, что и гомозиготы. Этим об'ясняется то явление, что и в далеких поколениях будут попадаться рецессивные формы. Таков, например, случай, когда среди диких кроликов появится белый кролик (белая окраска—рецессивный признак). Четвертая часть происшедшего от него потомства во втором поколении будет обладать белой окраской. Несмотря на то, что белое потомство будет систематически истребляться врагами, как обладающее заметно бросающейся в глаза окраской, все же белые формы изредка будут проявляться и в дальнейших поколениях.

В случае скрещивания особей, отличающихся несколькими или многими парами наследственных признаков, как мы знаем, во втором поколении возникает большее или меньшее разнообразие форм, из которых многие являются гетерозиготными. Действие отбора уничтожает все появившиеся неприспособленные гомозиготные рецессивные формы, но сказывается чрезвычайно медленно по отношению к увеличению числа гомозиготных форм с доминантными признаками. Соотношение отдельных групп меняется очень медленно. Уничтоженные в данном поколении группы форм появляются в следующих, так как скрещивание гетерозиготов, внешне не отличающихся от гомозиготов, вновь и вновь порождает их. Но медленное видоизменяющее действие естественного отбора через длинный ряд поколений дает существенно иные соотношения отдельных групп. Искореняемые

формы появляются все реже, те же группы, которым отбор благоприятствует, начинают превалировать.

Отбор проявляет свое действие и в тех случаях, когда какой-нибудь признак зависит от нескольких, в одинаковом направлении действующих, факторов. В этом случае во втором поколении появляется целый ряд переходных форм, связывающих обе крайние формы, что наблюдается при модификационной изменчивости. Если мы, предположим, скрестим форму, у которого длина какого-либо органа покоится на 6 факторах и равняется 10 см., с формой, орган которого имеет 16 см. длины, то в F_1 появятся особи с промежуточной длиной органа в 10—16 см. Отбор окажет заметное действие на данный ряд форм, сдвигая его в определенном направлении. Наиболее частыми окажутся те формы, которые окажутся более приспособленными в связи с длиной органа к окружающим условиям в борьбе за существование. Группы особей с самой малой или с самой большой длиной органа будут уничтожаться, новая кривая ряда появившихся форм по сравнению с исходной будет сдвинута вправо или влево, смотря по тому, какую селекционную ценность будет представлять большая или меньшая длина органа.

Мы ограничимся общим кратким рассмотрением интересного вопроса о влиянии естественного отбора на соотношение отдельных групп в ряду протекающих процессов. Но уже на основании приведенных примеров можно сделать вполне определенные выводы.

Естественный отбор оказывает более или менее значительное действие на состав и соотношение образующихся при скрещивании форм организма, более или менее быстро уничтожая одни группы и благоприятствуя другим группам. Можно было бы словами Плате сказать: что «великая ошибка думать, что теория отбора благодаря правилам Менделя в каком-либо отношении теряет свое значение»[1]). Значение и действительность отбора ни в малой степени не ограничивается менделизмом. Наоборот. Менделистические законы наследственности прочно обосновывают учение Дарвина о естественном отборе. Они показывают, что если появляется новая форма даже с рецессивным признаком, то она не проявляется только в F_1; начиная же со второго поколения, она вновь появляется. И если новая форма обладает выгодным для организмов приспособлением в борьбе за существование, то она имеет все шансы вытеснить основную массу организмов. «Поэтому нельзя думать,—говорит Циглер,—что результаты новейшего учения о наследственности могут быть использованы для опровержения учения Дарвина[2]). Таким образом, одно из наиболее значительных возражений против дарвинизма превратилось в свою противоположность: в подтверждение правильности его основного положения.

Возникающее при полигибридном скрещивании многообразие и богатство форм представляет широкое поле для работы естественного отбора. Комбинационная изменчивость дает богатый материал для отбора. Естественный отбор содействует выделению и сохранению новых форм, возникших посредством скрещивания

---

[1]) Plate, Vererbungslehe und Deszendenztheorie.

[2]) Ziegler, Die Vererbungslehre in der Biologie und in der Soziologie, S.151.

и наделенных полезными приспособлениями. Гибридизация при содействии естественного отбора является крупным фактором процесса видообразования. Но можем ли мы считать гибридизацию не только крупным, но и единственным и основным источником происхождения новых видов?

Начиная с Линнея, ряд биологов пытался свести эволюцию органического мира к перекомбинации наследственных зачатков при скрещивании. А. Вейсман считал, что зародышевая плазма каждого организма состоит из массы самостоятельных наследственных единиц (детерминат), которые при процессах размножения могут вступать в самые разнообразные сочетания, являясь почти единственным источником наследственной изменчивости организма. Кернер в своей книге пришел к заключению, «что новые виды могут возникать только путем полового размножения». Де-Фриз также находил, что гибридизация посредством комбинации различных качеств играет очень важную роль в образовании видов.

Но наиболее последовательно на почве признания гибридизации не только основным, но и единственным фактором эволюции стоял голландский ботаник Лотси. Он соглашается с Кернером, что «не требуется никакого развития, но только преобразование существующего. Это преобразование происходит таким образом, что через смешение существующих уже видов возникают новые виды»[1]). Он стоял на той точке зрения, что «раз образовавшиеся виды постоянны». «Новые виды возникают лишь путем скрещивания, так как при этом образуются новые комбинации уже имеющихся у родительских форм зачатков»[2]). Возникающие путем скрещивания новые формы, по мнению Лотси, представляют богатый материал для деятельности естественного отбора. В этом последнем вопросе Лотси стоит на точке зрения учения Дарвина.

Изложенный взгляд Лотси на формообразовательный процесс противоречит нашим современным представлениям, основанным на экспериментальных достижениях. Если мы будем считать гибридизацию основным и единственным фактором эволюции, то неизбежно мы должны будем стать на тот логический путь развития воззрения, который привел Лотси к признанию существования изначальных простых организмов, наделенных уже всеми наследственными зачатками, выявившимися в дальнейшем ходе эволюции. Перекомбинация заложенных в первоначальных организмах наследственных единиц повела к образованию разнообразных и высокоорганизованных существ. Вся эволюция организмов в истолковании Лотси сводится, таким образом, только к разнообразным сочетаниям уже существующих зачатков. Ничего нового не образуется, новообразование в эволюционном процессе не играет никакой роли.

С этим положением мы ни в коем случае не можем согласиться. Опытные исследования в области изучения явления мутаций вполне определенно говорят о существовании иного основного пути эволюции. Возникновение новых форм путем мутаций— факт, прочно установленный многими точными исследованиями.

---

[1]) L o t s y, Vorlesungen über Deszendenztheorien, Zw. Teil, S. 734.

[2]) Нов. идеи в биологии. Наследственность. П. Л о т с и. Опыты с видовыми гибридами, стр. 123.

При более или менее продолжительном и тщательном исследовании массы самых разнообразных организмов доказано возникновение новых рас и разновидностей посредством мутационной изменчивости. Мутации появляются гораздо чаще, чем думали раньше. Они возникают не только среди культивируемых человеком растений и животных, поставленных часто в необычные условия опыта (муха дрозофила и др.). но и среди организмов, обитающих в природных условиях. В настоящее время всякое внезапное наследственное изменение признаков организма, не вызываемое скрещиванием, относят к явлениям мутаций, независимо от величины уклонения новой формы от старого типа. Раньше считали, что мутации отличаются всегда дегрессивным, а не прогрессивным характером, т.-е. что они вызываются исчезновением того или другого наследственного гена. Это положение теперь опровергнуто: установлены не только рецессивные мутации, но и доминантные, связанные с изменением прежних или появлением новых генов. Итак, мутации, каков бы ни был их характер, вызываются геновариациями, изменениями наследственного вещества, но не перекомбинациями его.

Встает вопрос: не могут ли перекомбинации наследственных зачатков, которые происходят при скрещиваниях, оказывать настолько сильное воздействие на гены, так сильно видоизменять их, что последние могут подвергаться изменениям и являться источником мутаций? Не может ли происходить при этом настолько сильное взаимодействие генов, что оно приводит к изменению того или другого из них?

Обычно считают, что такое представление противоречит основным воззрениям менделизма. В моих опытах с мухами-дрозофилами (Drosophila melanogaster) наблюдался случай, когда новая мутация возникла непосредственно в связи со скрещиванием двух различных рас. Что в данном случае было новообразование, появление новой особенности, отсутствовавшей у скрещиваемых форм, а не следствие перекомбинации существовавших зачатков, доказывалось тем фактом, что при повторных скрещиваниях подобная мутация больше не возникала. На основании отдельного случая никаких определенных выводов строить, конечно, не приходится. Возможно, что между двумя моментами было только совпадение во времени, но не причинная зависимость.

По современным воззрениям, мы не можем об'яснить процесс органической эволюции, стоя только на почве явлений менделистической наследственности. Мы не можем признавать, подобно Лотси, перекомбинации генов основным и единственным фактором эволюции. Основным источником эволюционного процесса являются не комбинации, а мутации. Мутации играют в процессе эволюции первостепенно важную роль, они являются исходным пунктом эволюции. Каждый новый решительный шаг в эволюции видов вызывается возникновением новых мутаций. Поскольку виды часто различаются многими мелкими особенностями, то появление мутаций, и их суммирование ведет к образованию новых разновидностей и видов. Подобное же понимание эволюции, говорит Гольдшмидт, ведет назад к представлениям Дарвина.

Но если бы эволюция покоилась на одной только мутационной изменчивости, то темп видообразования был бы значительно

более медленный и линии эволюционного развития не столь разнообразными, как это установлено в действительности. Первичному и основному фактору—мутационной изменчивости—содействует фактор вторичного порядка—комбинационная изменчивость, являющаяся в результате скрещивания. «Несомненно,—скажем словами Филипченко,—что в природе мутационная и комбинационная изменчивость действуют совместно, переплетаясь самым тесным образом друг с другом»[1]). Как только возникает новая мутация, происходит скрещивание ее с основной формой и, вследствие комбинации признаков, образуются новые формы. Число новых форм таким путем, как мы видели, быстро растет. «Что гибридизация и перекомбинация способствуют повышению многообразия форм и изменчивости организмов, это стоит вне сомнения», говорит Леман[2]). В этом создании богатства и разнообразия форм, в сильном повышении изменчивости организмов и заключается основная роль гибридизации, как фактора эволюции. На почве вызванной первично мутациями и вторично комбинациями всесторонней, беспредельной изменчивости органических форм проявляет свое действие естественный отбор, регулирующий ход и направление эволюционного процесса.

---

¹) Филипченко, Изменчивость и методы ее изучения, с. 189.

²) Lehmann, Experimentelle Abstammungs und Vererbungslehre, S. 98.

КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ.

Бенедикт Спиноза и его юбилейные комментаторы (1677—1927)

Двухсотпятидесятилетний юбилей Бенедикта Спинозы, умершего 21 февраля 1677 года, естественно привлек как у нас в СССР, так и за границей усиленное внимание к проблемам спинозизма, которым был посвящен ряд заседаний научных обществ, публичных докладов и специальных работ; в феврале месяце с. г. в Гааге состоялся юбилейный «спинозовский конгресс» [1]).

Спиноза, этот виднейший атеист и материалист XVII века, вот уже третье столетье продолжает возбуждать философские дискуссии, подавая повод к самым разнообразным истолкованиям; его значение для диалектического материализма в коренном вопросе о взаимоотношении бытия и сознания было указано уже Плехановым, опиравшимся на Фейербаха и доказавшим, что спинозовское учение об атрибутах мышления и протяжения должно быть понято как учение об единстве (а не тождестве) сознания и бытия; что же касается идеалистов и теологов, то их отношение к Спинозе было двойственным: если для одних из них он, как атеист и материалист, представлялся «воплощенным сатаной», по выражению аугсбургского теолога Шпитцеля, то другие из них, в особенности в последнее время, старались истолковать его в духе мировоззрения господствовавших классов, т. е. в духе идеализма.

В иностранной периодической философской печати двухсотпятидесятилетний юбилей Спинозы был отмечен рядом статей, главнейшие из которых представляют значительный интерес не только для специалиста-исследователя его учения, но и для более широкого круга читателей, для всех, кто занимается вопросами философии, кто помнит, что в известном смысле и марксизм является «родом спинозизма».

Спиноза в кантианском истолковании.

«При нынешнем повсеместном господстве идеализма весьма естественно, что история философии излагается теперь с идеалистической точки зрения. Вследствие этого Спинозу давно уже причислили к идеалистам. Поэтому иной читатель, вероятно, очень удивится, что я понимаю спинозизм в материалистическом смысле. Но это—единственно правильное его понимание». Эти слова Плеханова вполне сохраняют

---

[1]) О юбилейных торжествах в Гааге см. Raoul Lantzenberg, Au Congrès Spinosiste de la Haye,—„La Nouvelle Revue" 1927, LXXXIX, № 354.

свое значение и для юбилейной спинозовской литературы, вышедшей в этом году за границей.

Весьма многие немецкие идеалисты до самого последнего времени продолжают оставаться в счастливом убеждении, что венцом всякой возможной философии является критический идеализм Иммануила Канта; с этой точки зрения, материалистическое мировоззрение характеризуется ими как догматическое; вполне понятно, что и Спиноза не избежал многочисленных обвинений в «догматизме».

Так, Либерт считает, что, принимая во внимание историческую роль Канта, в настоящее время можно совершенно не считаться с догматической системой Спинозы; Коген называет Спинозу схоластиком, исходящим из онтологического понятия о боге,—схоластиком с новыми формулами природы, необходимости и закона; Кассирер обвиняет Спинозу в дуализме, считая, что он не согласовал схоластического ens realissimum с учением о необходимой связи всего действительного; Келлерман особенно резко говорит о догматизме Спинозы.

Истинная причина всех этих и им подобных обвинений Спинозы в догматизме заключается в материалистическом характере его философии; в этом отношении знаменательно юбилейное выступление Теодора Цигена, поставившего перед собой задачу оправдания Спинозы от этих традиционных обвинений в догматизме—путем истолкования его учения в духе суб'ективного идеализма Канта [1]).

Нельзя не согласиться с мнением Цигена, что спинозизм отнюдь не потерял своего значения для современной философии, но попытка его окантиазировать Спинозу должна быть признана совершенно неудачной: историческое значение Спинозы заключается именно в тех особенностях его философии, которые целиком исключаются критическим идеализмом Канта,—т.-е. в материализме и атеизме.

Сам Циген оговаривается, что различие между кантианством и спинозизмом весьма велико и что Спиноза далек от критической точки зрения Канта; он указывает даже, что пропасть между «Этикой» и «Критиками» непроходима, и все же, следуя в этом отношении за Паульсеном, Циген утверждает, что известные мысли Спинозы приближаются к кантовским; основание для этого смелого, но, как мы покажем, неправильного утверждения он пытается найти в отдельных выражениях спинозовского «Трактата об очищении интеллекта».

Трактат этот, говорит Циген, нельзя обвинять в полном догматизме и наивности; спрашивается, однако, неужели почтенный автор полагает, что «Этика» и другие сочинения Спинозы действительно являются образцом «полного догматизма и наивности»?

Обращаемся к рассмотрению аргументации Цигена: по его мнению, Спиноза приближается к критицизму Канта в таких выражениях, как: «прирожденная сила интеллекта», которая создает себе «интеллектуальные орудия» и т. п.

Остановимся на соответствующем месте «Трактата об очищении интеллекта» с тем, чтобы выяснить, нет ли в нем, действительно, чего-либо «кантианского». Вот это место:

«... так же как люди вначале, с помощью врожденных им [естественных] орудий (innatis instrumentis) сумели создать нечто весьма легкое, хотя с большим трудом и мало совершенным образом, а выполнив это, выполнили следующее более трудное, уже с меньшей затратой труда и с большим совершенством, и так, переходя постепенно от

[1]) Theodor Ziehen, Benedictus de Spinosa,—„Kant-Studien“ 1927, Bd. XXXII, H. 1.

самых примитивных творений к орудиям труда, и от орудий к следующим творениям и следующим орудиям, достигли того, чтобы выполнять весьма многое и в высокой степени трудное, с незначительной затратой работы, точно так же и интеллект, путем прирожденной ему силы (vi sua nativa) создает себе интеллектуальные орудия (instrumenta intellectualia), с помощью которых приобретает новые силы для новых интеллектуальных творений, а путем этих последних—новые орудия или возможность к дальнейшим изысканиям, и таким образом постепенно идет вперед, пока не достигнет наивысшей точки мудрости» [1]).

Метод познания рассматривается здесь Спинозой с диалектической точки зрения—в его развитии, преодолевающем противоречия; сравнение с орудиями труда подчеркивает все бесплодие абстрактного рассмотрения метода познания, который, по мысли Спинозы, есть «путь к тому, чтобы должным порядком отыскивать (quaerere) самую истину» [2]).

Спиноза возражает против такого рассмотрения метода познания, когда он берется вне исторического процесса его развития; как бы предвосхищая возможность попытки кантианского истолкования своего учения, он прямо говорит, что в его книге «не будет иметь места исследование до бесконечности; другими словами, для того, чтобы был найден наилучший метод для исследования истины, не надобно другого метода, чтобы им исследовать метод исследования истины, и, чтобы исследовать второй метод, не надобно некоторого третьего метода, и так далее, до бесконечности; так как таким путем никогда не удалось бы прийти к познанию истины, да и вообще ни к какому познанию» [3]).

Основная мысль Спинозы здесь сводится к тому, что исследование метода познания не может быть мыслимо без самой познавательной деятельности при помощи этого метода; если уже задаться целью найти аналогию этой глубокой, диалектической мысли, то таковая может быть обнаружена не у Канта, но в гегелевской критике кантианства: «хотеть знать, прежде чем приступать к познанию, это так же нелепо, как и умное намерение того схоластика, который хотел выучиться плавать, прежде чем итти в воду» [4]).

Аналогично этому и Спиноза, продолжая вышеприведенное свое рассуждение о методе, заявляет, что «с методом познания дело обстоит так же, как с естественными орудиями труда (instrumenta corporea), где было бы возможно подобное же рассуждение: действительно, чтобы выковать железо, надобен молот; чтобы иметь молот, необходимо, чтобы он был сделан; для этого нужно опять иметь молот и другие орудия, чтобы иметь эти орудия, опять-таки понадобились бы еще другие орудия и т. д. до бесконечности; на этом основании кто-нибудь мог бы бесплодно пытаться доказывать, что люди не имели никакой возможности выковать железо»

Таким образом, при более подробном рассмотрении, чем это делает Циген, такие выражения Спинозы, как «vis nativa intellectus», «instrumenta intellectualia», взятые в контексте, ничуть не подтверждают цигеновского предположения об их идеологическом родстве с кантианством, но только подкрепляют ту мысль, что, на ряду с общим материалистическим направлением философии Спинозы, в ней можно усмотреть известные диалектические моменты.

---

[1]) Спиноза, Трактат об очищении интеллекта и о пути, наилучшим образом ведущем к истинному познанию вещей, Москва 1914, стр. 82—84.
[2]) Ibid., стр. 88.
[3]) Ibid., стр. 81—82.
[4]) Гегель, Энциклопедия, русский перевод Чижова, 1861, стр. 13.

Совершенно неприемлемо утверждение Цигена, что Спиноза «не так уже далек от феноменалистической точки зрения Канта»; цигеновское указание, что спинозовское время, число и мера, как модусы мышления, приближаются к кантовскому учению об априорности и суб'ективности времени и категории количества, не учитывает коренного различия между спинозовской субстанцией с ее аттрибутами, едиными, но не тождественными, и кантовской системой, приходящей в конечном итоге к дуализму суб'екта познания и оторванных от него вещей в себе.

Для спасения своей позиции Циген вынужден выставить такое невероятное предположение, что спинозовские аттрибуты должны быть поняты как суб'ективные состояния человеческого мышления, не присущие субстанции об'ективно. Таким образом, попытка окантиазировать Спинозу на основании произвольного толкования выхваченных из контекста отдельных выражений «Трактата об очищении интеллекта», приводит Цигена к искажению основных положений «Этики».

Увлекшись поставленной задачей идеализировать спинозизм, Циген забыл про такие «пустяки», как первая и вторая теорема второй части «Этики»: (1) «Мышление составляет аттрибут бога, иными словами; бог есть вещь мыслящая (res cogitans)» [1] и (2) «Протяжение составляет аттрибут бога, иными словами, бог есть вещь протяженная (res extensa)» [2].

Конечные выводы, к которым приходит Циген, в его собственной формулировке оказываются достаточно скромными; он говорит, что система Спинозы, с точки зрения критицизма, ни в коем случае не может считаться превзойденной, так как в ней встречаются критические положения, которые, впрочем, в главных его произведениях часто совершенно оттесняются на задний план догматическими утверждениями.

Отсюда логически следует, что главные произведения Спинозы, в том числе и его «Этика», по мысли самого Цигена, должны быть признаны в основе «догматичными», а следовательно, кантианское истолкование спинозизма, как это вынужден признать сам Циген, относится к второстепенным произведениям Спинозы. По существу же, как мы это видели при разборе цигеновских утверждений, его сближения Спинозы с Кантом слишком натянуты и необоснованы. Если Спиноза не потерял своего значения и для нашей эпохи, то это обстоятельство об'ясняется общим материалистическим направлением его философии, т.-е. именно тем, что не сближает его, но противополагает кантианству и вообще идеализму.

Спиноза и религия.

Учение Спинозы, этот «катехизис атеизма», по характерному выражению теолога XVII века Пьера Пуарэ, идеалистами нашего времени тщательно истолковывается в пантеистическом духе; если другой теолог XVII века—утрехтский профессор Мансфельт утверждал, что Спиноза «с дьявольским искусством обосновывает атеизм», то в наши дни Бруннер считает Спинозу величайшим религиозным основоположником и ставит его выше Моисея и Христа.

Марксистской критикой уже с достаточной убедительностью указано, что «теологический привесок» в системе Спинозы должен рассматриваться в плоскости терминологической проблемы, в связи с историческими условиями жизни и творчества великого материалиста; юбилей-

[1]) Бенедикт Спиноза, Этика, Москва 1911, стр. 65.
[2]) Ibid, стр. 66.

ные комментаторы Спинозы за границей занимают в этом вопросе, как и следовало ожидать, прямо противоположную позицию.

Так, Альберт Левкович в двух юбилейных статьях упорно проводит мысль, что основной, наиболее характерной чертой Спинозы является его религиозно-философское учение [1]).

«Героизм религиозного и метафизического сознания» определяет, по мысли Левковича, значение Спинозы для нашего времени; великая заслуга Спинозы состоит в указании, что без бога ничто не может существовать; бесконечность бога раскрывается в бесконечности его аттрибутов; в боге получает об'яснение все конечное.

Выставив эти совершенно бездоказательные утверждения, Левкович вспоминает о спинозовском учении о субстанции, как о «боге, или природе»; он вынужден признать, что спинозизм есть «устранение всякой теологии», но пытается выйти из затруднения путем заявления, что сила и необходимость природы тождественна силе и необходимости бога, что идея бога только выигрывает от сведения к нему всех естественных явлений природы.

Комментируя понятие «бога-природы», Левкович окончательно запутывается в противоречиях: спинозовская метафизика, говорит он, есть последовательное натурализирование (Naturalisierung) понятия бога, так как для Спинозы не дано никакого другого познания, кроме познания природы, а бог интерпретируется Спинозой в физическом смысле, с исключением нравственно-религиозных мотивов.

Казалось бы, что признание природы единственным предметом познания в учении Спинозы должно было бы привести Левковича к материалистическому истолкованию спинозизма, но, сославшись на теоретико-познавательные и религиозно-философские затруднения, связанные с пониманием спинозовского выражения «deus sive natura», он все же остается при своем первоначальном мнении о громадном религиозном значении спинозизма и заявляет, что вечной задачей философии остается приведение к научному единству естественно-научных, нравственных и религиозных мотивов спинозизма.

Если бы Левкович умел мыслить последовательно, то он бы пришел к выводу, что те противоречия, какие он находит в учении Спинозы о субстанции, внесены в это учение... самим Левковичем, как и теми многочисленными комментаторами спинозизма, которые, наперекор самому Спинозе, истолковывают его учение в духе пантеизма, не учитывая того обстоятельства, что истина спинозизма заключается в его материализме и атеизме, что следует различать между действительным его философским содержанием и той терминологической оболочкой, в какую он был облечен. Для понимания же, почему Спиноза в своем материалистическом учении на ряду с термином «природа» (natura) употребляет также термин «бог», не обладающий по сравнению с первым никакими новыми признаками, т. е. относящийся единственно лишь к способу выражения, необходимо твердо помнить первое из «правил жизни», им сформулированное достаточно ясно: «Выражаться соответственно развитию массы (ad captum vulgi loqui) и выполнять все то, что не несет препятствий к достижению нашей цели. Действительно, мы можем достичь не мало выгоды, если будем, насколько это возможно, считаться с разумением толпы; добавим, что в результате такого спо-

[1]) Albert Lewkowitz. Die religions philosophische Bedeutung des Spinosismus,—„Kant-Studien“ 1927, Bd. XXXII, H. 1.

Idem, Der Spinosismus in der Philosophie der Gegenwart,—„Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums“ 1927, H. 1—2.

соба действия люди охотно будут склонять свой слух к принятию истины (amicas praebebunt aures ad veritatem audiendam)» [1]).

Эзопов язык, к которому был вынужден прибегать изгнанный из синагоги Спиноза, предохранил его от участи Джордано Бруно и Лучилио Ванини, но, вместе с тем, значительно затруднил истинное понимание его философии и неоднократно служил причиной (не всегда, впрочем, главной) идеалистически-богословского ее искажения.

Современный буржуа-спинозист.

«Спинозисты ли мы?»—так озаглавлена статья Леона Брюншвига, представляющего Францию в юбилейном номере «Chronicon Spinosanum» [2]).

Быть спинозистом—это значит, прежде всего, быть материалистом, стоять на монистической точке зрения, признавать единство «аттрибута мышления» и «аттрибута протяжения», т.-е. рассматривать сознание как внутреннее свойство материи, наконец, быть атеистом;—именно в этом смысле спинозистами были Маркс, Энгельс, Плеханов, Ленин, именно в этом смысле марксисты могут сказать: «Да, мы—спинозисты».

Но ведь Леон Брюншвиг говорит не от лица диалектических материалистов, ведь он представляет собой буржуазную идеалистическую философию современной Франции, и на его вопрос: «Спинозисты ли мы?» уже a priori решительно можно ответить: нет, вы не спинозисты, не спинозисты потому, что вам чужд и враждебен атеизм и материализм Спинозы не в меньшей мере, чем современный диалектический материализм, чем все мировоззрение вашего классового антагониста-пролетариата.

Однако Л. Брюншвиг не менее решительно заявляет: «Мы—спинозисты» («Nous sommes spinosistes»), хотя, конечно, не назовет себя и своих единомышленников ни атеистами, ни материалистами; очевидно, под самим спинозизмом он понимает нечто иное, чем мы; очевидно, дело идет о новой попытке идеалистического истолкования системы Спинозы.

Действительно, стремясь определить, в чем он видит «актуальность спинозизма» (l'actualité du spinosisme), Л. Брюншвиг целиком солидаризируется с мнением Артура Ганнекэна, который считал, что лучшими книгами о боге за последние столетия были сочинения Канта и Спинозы; по мнению Брюншвига, «для того, чтобы быть спинозистом, вовсе не нужно подчиниться языку субстанциального реализма или аппаратуре евклидовского доказательства», истинный смысл спинозизма состоит в натуралистическом обосновании религиозных и нравственных ценностей.

«Продолжив до конца устремления картезианской критики,—говорит Брюншвиг,—Спиноза, более свободно и более радикально, чем это сделали Монтэнь и Гоббс, вскрыл биологический и социальный механизм, лежащий в основе ценностей, пленявших воображение первобытных народов (des peuples enfants) и дававших им иллюзию участия в высшей жизни путем способности свободной воли, совершающей свой выбор между добром и злом—этой альтернативой, полагаемой их сознанию потусторонней волей... Но ясно, что, если всякое трансцендентное воображение оказывается иллюзорной мечтой, то спинозизм

[1]) Спиноза, Трактат об очищении интеллекта, Москва 1914, стр. 70.
[2]) Léon Brunschwieg, Sommes-nous spinosistes?—„Chronicon Spinosanum". MCMXXVII. Tomus quintus.

ставит новую проблему и на этот раз против самого себя. Кажется, в самом деле, что реставрация религиозных ценностей, в последней части Этики, необ'яснима: свобода души и ее вечность, бог и блаженство теряют всякое действительное значение». Разрешение этой проблеме Брюншвиг находит в том, что Спиноза построил религиозное мировоззрение на основе натурализма.

Детерминизм Спинозы, отрицание метафизической свободы воли и трансцендентных сил, управляющих миром, стремление об'яснить мир из него самого—все эти научные тенденции его учения, тесно связанные с основной его материалистической позицией, достаточно ясно определяют иррелигиозный характер его философии.

Идея свободы Спинозой рассматривается диалектически в связи с идеей необходимости; свободным он называет то, что существует в силу своей необходимости; таким образом, Спиноза до известной степени предвосхищает марксистское определение свободы как познанной необходимости.

Между тем, Брюншвиг пытается истолковать спинозизм с точки зрения модернизированной религии современного буржуа; конкретное знание природы, по его мысли, обогащает наше существо, возвращая нам «интимного бога» (Dieu intime); истинная религия нашла себе опору в натурализме. «Вот почему,—заканчивает он свою юбилейную статью,—до тех пор, пока мы будем способны переходить от науки к религии, как от одной истины к другой истине, не разрушая неразделъного единства разума, не отказываясь от полного света сознания, мы будем иметь право утверждать, что мы—спинозисты».

Юбилейные торжества послужили поводом для своеобразного спора о праве на спинозовское наследство между пролетариатом и буржуазией; современные материалисты и идеалисты с одинаковой решительностью заявили: «Мы—спинозисты»; но если первые подчеркивают свою историко-философскую связь с действительным содержанием учения Спинозы, с его материализмом и атеизмом, то для вторых наиболее ценным оказывается «теологический привесок» его философии; отмирающий класс находит для себя духовную пищу на мусорной куче отживших идеологий,—такова ирония общественной диалектики, но всякая попытка позднейшего извращения великих философских систем прошлого времени должна встретить достойный отпор.

Спинозизм как орудие буржуазной пропаганды.

В то время, как народы СССР об'единили свои силы в дружной работе по созданию культуры социализма, развитие господствующей идеологии «малых держав», возникших на послевоенной карте Европы, проходит по культурным путям, проторенным крупными капиталистическими государствами. Эта общая тенденция, «как солнце в малой капле вод», отразилась и в частном вопросе о современном значении спинозизма.

Польский профессор Игнатий Мыслицкий поставил своей задачей указать те основные мысли Спинозы, которые способны усилить «тенденции, всеми рассматриваемые в наше время как здравые и полезные для современного общества» [1]).

Заранее отмечая, что в классовом обществе едва ли могут быть найдены такие тенденции, которые бы всем представлялись здравыми

---

[1]) Ignacy Myślicki, Snaczenie filozofji Spinozy dla naszego czasu,—«Chronicon Spinosanum». MCMXXVII. Tomus quintus.

и полезными, обращаемся к рассмотрению дальнейших соображений Мыслицкого.

Для современной европейской культуры,—говорит он,—громадное значение имеют три мысли Спинозы: 1) признание разума творческим фактором цивилизации, 2) обоснование об'ективизма в социальных науках и 3) пантеизм.

Что касается первых двух пунктов, отмеченных Мыслицким, то не следует забывать, что спинозовское учение о человеке, преодолевшее традиционную нравственно-религиозную установку и тем самым исторически бывшее громадным шагом вперед, все же не выходило из рамок натурализма и рационализма и ставило человека в непосредственную связь с природой, минуя общественные категории и не учитывая диалектического взаимоотношения между природой и обществом. В этом смысле материализм Спинозы разделял с французским материализмом XVIII века его недостатки в деле понимания процесса социального развития, и только марксизм дал законченную и последовательную картину материалистического об'яснения развития природы и общества. По мысли Спинозы, человека делает свободным разум; из среды людей, по природе подверженных влиянию страстей, возвышаются немногие мудрецы, следующие предписаниям разума.

Именно эту сторону спинозизма Мыслицкий выдвигает на первый план и, рассматривая ее в полной оторванности от обще-философского материализма Спинозы, а следовательно, искажая его учение, связывает ее с идеалистическим мировоззрением современной буржуазии, с учением о разуме и личности как о движущих факторах цивилизации:

«Здесь мы можем итти по двум путям: теоретическому и практическому. Первый привел бы нас к созданию философии человеческой цивилизации и культуры, к выяснению значения разума как организующего фактора... Здесь изучение Спинозы может быть нам очень полезным. На практическом пути представляется удобная возможность пропагандировать культ великих изобретателей, новаторов и организаторов, людей, одаренных величайшей мудростью, как теоретиков, так и практиков. Школьное обучение, просвещение широких масс и общественная жизнь должны были бы поддерживать этот культ в гораздо большей мере, чем это обычно делается. Это было бы выполнением совета Спинозы о следовании образцу совершенного человека».

Что касается вопроса об об'ективности в социальных науках, то здесь Мыслицкий выставляет положение, что, если Декарт обосновал об'ективное изучение природы, то Спиноза применил этот принцип к общественным явлениям; чисто научный характер имеет его исследование священного писания, учения о государстве и этики. По этому поводу мы уже указали, что именно вопросы общественной жизни не получили достаточно солидного, научного освещения в системе Спинозы; общественные науки за последнее время далеко ушли от спинозовского рационализма и натурализма, но именно спинозовское требование научного, об'ективного изучения природы и человека при дальнейшем историческом развитии социологии привело к преодолению того учения о разуме и о великих людях как о движущих социальных факторах, с которым Мыслицкий старается связать значение спинозизма для современного общества.

Не ограничиваясь призывом к использованию спинозизма в качестве идеологической базы для распространения среди широких масс культа разума и великих личностей, Мыслицкий выдвигает предложение о пропаганде пантеизма Спинозы (а в пантеистическом характере его учения

он не сомневается) для укрепления религиозных настроений среди интеллигенции.

Всех людей,—говорит он,—можно разделить на три категории, с точки зрения их отношения к религии: 1) сторонники церковного вероисповедания, 2) люди, не примыкающие ни к какому вероисповеданию и не чувствующие потребности в религии, и 3) те, кто отрицательно относится к церковным вероисповеданиям, считая их ложными, полными предрассудков и безнравственными, но кто, вместе с тем, чувствует потребность в какой-нибудь религии и стремится к ней. Эта последняя категория наиболее многочисленна среди людей интеллигентных и получивших профессиональное образование; им-то и нужно оказать поддержку в их устремлениях.

Нельзя не признать, что известная доля практической мудрости заключается в этом предложении Мыслицкого: именно интеллигенция, при капиталистическом строе в громадном своем большинстве состоящая на службе у буржуазии, является благодарной почвой для распространения модернизированных религиозных настроений, враждебных официальной религии, но вместе с тем чуждых материалистическому мировоззрению пролетариата; именно среди этой интеллигенции пантеистическое истолкование спинозизма имеет шансы на наибольший успех, в то время как для католической церкви и в наши дни учение нидерландского материалиста представляется «смертью науки и могилою нравственности».

Пантеизм Спинозы,—говорит Мыслицкий,—наиболее отвечает требованиям нашего времени; так как наша интеллигенция нуждается в религии, которая бы соответствовала 1) научному знанию, 2) потребностям жизни крупной буржуазии (życia wielkomieszczańskiego) и 3) тенденциям современного практического человека периода индустриализма.

Эти соображения, раскрывающие социальные корни современного пантеистического толкования спинозизма, не нуждаются в дальнейших комментариях; необходимо только добавить, что на следующих страницах своей статьи Мыслицкий развертывает целый план религиозной пропаганды среди интеллигенции на основе пантеистического истолкования системы Спинозы, и что во всем этом деле идейным вдохновителем польского профессора является Эрнест Ренан, еще пятьдесят лет тому назад, на гаагском празднестве в честь двухсотлетнего юбилея Спинозы произнесший речь, в которой он указал, что господствующие классы, упорно придерживаясь устаревших религиозных форм, рискуют потерять свой авторитет в глазах «некультивированных классов», и это в дни кризиса, когда важно, чтобы народ верил еще в разум и добродетель кого-нибудь; для спасения авторитета и власти господствующих классов, по мысли Ренана, необходима пропаганда модернизированной религии в духе пантеистически понятого Спинозы.

Материализм Спинозы и современный реализм.

В известной степени в противовес традиционному идеалистическому истолкованию спинозизма «натуралистический реалист» С. Александер подчеркивает его реалистический смысл и с этой точки зрения расценивает его значение для философского мышления нашего времени[1]).

---

[1]) S. Alexander, Lessons from Spinosa, — „Chronicon Spinosanum". MCMXXVII. Tomus quintus.

Современный англо-американский реализм, в различных своих течениях («нео-реализм», «натуралистический реализм», «критический реализм»), разрабатывает теорию познания, приближающуюся к материалистической точке зрения; вместе с тем, его учение о «ценностях», его религиозные устремления определяют его родство с идеализмом. Две души живут в его груди: одна из них—материалистическая, другая—идеалистическая; эта особенность должна быть принята во внимание для правильного понимания той оценки, какую дает философии Спинозы английский реалист С. Александер.

По мысли С. Александера, дуализм материи и духа, антагонизм между природой и мыслью, исторически существовавший в философии, об'ясняется абстрактным пониманием как материи, так и духа. Между тем, в мире не существует ничего механического, в популярном смысле этого слова. «Во всяком материальном явлении имеется элемент конгениальный духу и во всяком духовном явлении—элемент конгениальный материи» («There is in all material existence an element congenial to mind and in all mind an element congenial to matter»).

Аналогичное положение формулирует и Ллойд-Морган, по мнению которого нужно говорить не о теле (body), но о теле-духе (body-mind): то, что с одной точки зрения он называет субстанциальным единством жизни, то с другой точки зрения характеризуется им как субстанциальное единство духа.

В этом пункте английский реализм довольно близко приближается к материалистическому монизму, и вполне понятно, что учение Спинозы не могло не получить у С. Александера иной оценки, чем у представителей классического идеализма.

Александер указывает, что Спинозе чужды ошибки отвлеченно-механистического миропонимания, владевшего умами в XVIII и XIX веках; с этой точки зрения он и сближает спинозизм с новейшим англо-американским реализмом.

Для Спинозы материальное тело,—говорит С. Александер,—является комплексом движения и покоя, но оно также в известной степени одухотворено; его механический и его духовный характер—два аспекта: протяжения и мышления; только человеческое тело обладает духом (mind) в точном значении этого слова, но и вообще всякому телу свойственен известный род духа, который есть то же тело, но выраженное под другим аттрибутом.

Борьба, об'явленная современным англо-американским реализмом—картезианскому и кантианскому дуализму, естественно должна была привести к сближению со спинозизмом, и Александер, устанавливающий идеологическое родство между учением Спинозы и реализмом оказывается глубоко правым [1]).

В истолковании спинозизма современный реализм ушел далеко вперед по сравнению не только с нео-кантианцами, но и эмпириокритиками, чему прекрасным доказательством служит полемика Г. Плеханова с И. Петцольдом по поводу спинозовских аттрибутов мышления и протяжения.

Петцольд, как известно, считал, что Спиноза не раз'яснил, «каким образом материальные мозговые процессы вызывают нематериальные душевные и обратно, или каким образом устанавливаются между обоими, не имеющими также и по признанию Спинозы, ничего между собой общего, моментами закономерные отношения, и для раз'яснения

---

[1]) Об этом см. также L. Roth, Spinosa in Recent English Thought,—«Mind». 1927. XXXVI, № 142.

всего этого совершенно безразлично, называть ли эти моменты субстанциями или лишь аттрибутами».

Плеханов вполне резонно возразил, что это далеко не безразлично и что, «устранив учение о двух субстанциях, Спиноза изгнал из области философии тот анимизм, которому заплатил такую богатую дань Декарт, которому платит столь же богатую дань всякий идеализм» [1]).

Как мы видели, именно в этом видит заслугу Спинозы и С. Александер; представитель современного реализма истолковывает спинозовское учение об аттрибутах гораздо основательнее и глубже, чем эпигоны классического идеализма. В этом отношении значительный интерес представляет следующее место из юбилейной статьи Александера, где он говорит о взаимоотношении кантианства и спинозизма: «Дух учения Спинозы не оказывает поддержки тем, кто склонен трактовать пространство и время по образцу Канта, как духовные методы рассмотрения мира, который не существует реально. Для Спинозы аттрибуты—не духовные конструкции, но пути, по которым интеллект приходит к познанию реальности бога; они имеют свой источник в боге, а не в нашем интеллекте».

Значение этого утверждения С. Александера проступает особенно ярко, если вспомнить разобранную нами выше попытку Цигена истолковать спинозовское учение именно в духе Канта, чтобы оправдать Спинозу от обвинений в «догматизме», т.-е. материализме. Конечно, и Александер не дает последовательного материалистического истолкования Спинозы, но его преимущество перед Цигеном очевидно.

Взаимоотношение между аттрибутами и субстанцией у Спинозы вполне отчетливо было установлено Плехановым в полемике с Петцольдом: «Странно упрекать Спинозу в том, что он не об'яснил, каким образом материальные мозговые процессы вызывают нематериальные душевные; ведь автор «Этики» именно утверждал, что процессы этого второго рода не вызываются процессами первого рода, а только сопровождают их... Аттрибут мышления не вызывается аттрибутом протяжения, а представляет собой лишь обратную сторону «одной и той же вещи», одного и того же процесса» [2]).

Для выяснения родства спинозизма и английского реализма эту формулировку Плеханова полезно сравнить с позицией Ллойд-Моргана: «Моя гипотеза,—говорит он,—заключается в том, что все физиологические процессы сопровождаются духовными и что все духовные явления сопровождаются физическими. Между жизнью в физическом смысле слова и духом не существует причинной связи, но такое отношение sui generis, для которого термин «сопровождение» (concomitance) представляется наиболее подходящим названием [3]).

Если принять во внимание эту спинозистскую тенденцию современного англо-американского реализма, то нет ничего удивительного в том, что Александеру удалось преодолеть традиционное искажение Спинозы идеалистами. Очень метко он подчеркивает тесную связь между спинозизмом и проблемами, стоящими перед бихевиоризмом, и проводит различие между учением Спинозы об аттрибутах и теорией психо-физического параллелизма. «Спинозовское приравнение человеческого тела и человеческого духа,—говорит он,—позволяет ему одновременно и предвосхитить теорию психофизического параллелизма и превзойти ее. В дей-

[1]) Г. Плеханов, Сочинения. Т. XVII: «Трусливый идеализм».

[2]) Г. Плеханов, там же.

[3]) Lloyd Morgan, Influence and Reference. A. Biologicae Approach to Philosophical Problems,—„The Monist" 1926, v. XXXVI, № 4.

ствительности он соглашается с ней лишь в том смысле, что как для него, так и для современной теории психофизического параллелизма физический и психический ряды не действуют друг на друга... Но действительная проблема психологии, которую психофизический параллелизм только пытается разрешить или уклоняется от этого, разрешена Спинозою путем отрицания раздельности двух рядов. Они суть лицевая и обратная сторона одной и той же вещи... Ряд идей, образующий духовную связь, не является новым родом явлений. Существование идей характеризуется тем, что она суть обратная сторона протяженного ряда. Явления происходят (occur) в пространстве и времени, а идеи происходят (occur) лишь постольку, поскольку они суть (are) телесные аффекты, которым они соответствуют (correspond)».

Как видно из этого отрывка, С. Александер довольно удачно характеризует спинозовское учение об единстве аттрибутов мышления и протяжения, а вместе с тем, и высоко оценивает его; то, что оставалось непонятным и чуждым идеалистам разнообразнейших толков, оказалось приемлемым для реалистически ориентирующегося мыслителя.

Но не следует забывать, что у современных реалистов, на ряду с материалистической тенденцией, не менее ярко проявляется и тенденция идеалистическая; так, тот же реалист С. Александер придерживается взгляда, что развивающийся мир, порождая новые качества, самовозвышается до божества (deity). Очевидно, что эта особенность мировоззрения С. Александера должна была сказаться и в понимании спинозизма; действительно, вместе с идеалистами он истолковывает учение Спинозы как пантеизм; большое значение Спинозы для нашего времени, по его мнению, об'ясняется соединением в его философии метода и учения натурализма с глубоким чувством религии и так называемых ценностей. Важной для современности особенностью спинозизма он считает рассмотрение божества в связи с миром как целым (to look for God in the Whole); теологические шоры мешают Александеру понять материалистическую позицию Спинозы, которого он характеризирует как пантеиста, сам же отдает предпочтение деизму.

Подобная точка зрения должна привести к искажению спинозовского учения о субстанции, — так оно и оказывается на деле: вступая в противоречие с выводами собственного анализа взаимоотношения аттрибутов мышления и протяжения, С. Александер заявляет, что «целое», т.-е. субстанция, для Спинозы отличается от модусов новым качеством; в этом качестве Александер и усматривает спинозовское божество, что совершенно неверно, так как «целое» для Спинозы является природой, отличной, конечно, как таковая, от каждого в отдельности из составляющих ее модусов, но это отнюдь не значит, что спинозовская субстанция должна быть раздвоена на природу и божество; искомый пантеизм Спинозы целиком относится к терминологическим особенностям его учения.

Как бы то ни было, позиция С. Александера, при всех ее недостатках, во многих отношениях выгодно отличается от обычных идеалистических истолкований Спинозы.

В заключение необходимо отметить, что марксистское понимание Спинозы в иностранной юбилейной печати было представлено на страницах пятого тома «Chronicon Spinosanum» статьей А. М. Деборина «Спинозизм и марксизм», в которой выясняется натуралистический, материалистический и атеистический характер учения Спинозы, его связь с диалектическим материализмом и значение для рабочего класса.

Празднование двухсотпятидесятилетнего юбилея Спинозы послужило, таким образом, поводом к тому, чтобы на международном идеологическом фронте, в конкретном случае анализа и оценки спинозизма, снова скрестилось оружие непримиримых противников—идеалистов и материалистов; но если первые цепляются за «теологический привесок» учения Спинозы, то вторые видят в нем «великого мыслителя, заложившего основы научно-философского мировоззрения, сохраняющего в основном все свое значение и для нашего времени».

Михаил Дынник.

Иностранная философская периодическая печать (1926 г.)

Окончание [1]).

II.

Kant-Studien. Philosophische Zeitschrift.

Кант-Студии. Философский журнал. 1926. Том XXXI; 1, 2-3, 4.

Для исследователя и критика современного немецкого идеализма, журнал «Kant-Studien» является ценнейшим сборником материалов, великолепно характеризующих тот идеологический тупик, в который зашла послевоенная буржуазная философия в Германии.

Вопросы теории познания рассматривает Мориц Шлик в статье «Переживание, познание, метафизика» [2]); основная его гносеологическая позиция сводится к утверждению—уже не новому в истории критицизма,—что онтологический идеализм и материализм в равной мере должны быть названы построениями метафизическими. Всякое познание, по мнению Шлика, состоит в том, что познаваемый предмет сводится к тем предметам, при помощи которых он должен быть познан, а это происходит таким образом, что познаваемый предмет обозначается при помощи тех же понятий, которые применялись к обозначению других предметов. Сущность познания—в этом символическом соотношении обозначений.

Поэтому Горгий, утверждавший, что если бы даже мы что-либо познавали, то не могли бы передать наше знание, ошибался: передаваемо (mitteilbar) все, что может быть выражено в каких-либо символах, будь это слова или другие знаки, а следовательно, и «познание» (Erkenntnis) передаваемо.

Иначе обстоит дело с переживанием (Erlebnis), благодаря которому мы получаем непосредственное «знание» (Kennen) всех качеств, составляющих содержание потока сознания; «знание» (Kennen) невыразимо в словах и непередаваемо. Противоположность знания и познания (Der Gegensatz von Kennen und Erkennen) должна быть особенно подчеркнута.

Не существует способа, при помощи которого можно было бы сравнить красный цвет, мною переживаемый, и красный цвет, переживаемый другим индивидуумом. Нельзя даже пояснить, что мы собственно полагаем, утверждая, что два индивидуума имеют качественно подобные пере-

---

1) См. № 5 «Под Знаменем Марксизма».

2) Moritz Schlick, Erleben, Erkennen, Metaphysik,—«Kant-Studien». 1926, Bd. XXXI, H. 2—3.

живания. Нецелесообразно даже ставить подобную проблему в науке или философии.

Столь же нецелесообразно задаваться вопросом о существовании чужого *я*, а также о существовании внешнего мира. Нет возможности сформулировать в понятиях, выразить в словах, что собственно представляет собою существование, действительность. Конечно, имеются критерии, при помощи которых мы в науке и жизни отличаем «действительно существующее» от простого «явления» (Schein), но философский вопрос о реальности внешнего мира подразумевает нечто большее. В чем же собственно состоит это «большее», что именно мы подразумеваем, приписывая существование внешнему миру,—во всяком случае, совершенно невыразимо (unaussprechbar).

Однако философы постоянно занимаются проблемами подобного рода; наше утверждение состоит в том, что содержание этих проблем относится к метафизике.

При самой постановке этих вопросов то, что должно быть содержанием знания (Kennen), ложно принимается за содержание познания (Erkennen), т.-е. делается попытка выразить невыразимое, передать непередаваемое. Так как никакое содержание наших многообразных переживаний не может быть сделано предметом «высказывания» (Aussage), то последнее может выражать только формальные соотношения. Все качественное содержание переживаний должно вечно оставаться частным делом (ewig privatim bleiben muss) и никоим образом не может быть познаваемым сообща различными суб'ектами. Часто говорят о физиках, что они оставляют без рассмотрения качественную сторону мироздания, оперируя пустыми, абстрактными формулами и понятиями, но «высказывания» теоретической физики в этом отношении ничем не отличаются от «высказываний» обыденной жизни и наук о духе. Всякое познание по существу своему есть познание форм, отношений и ничего более; всякое содержание принадлежит только суб'екту.

Таким образом, гносеологическая теория Морица Шлика принципиально исключает возможность даже постановки вопроса о предметном содержании познания, которое целиком сводится к формальным соотношениям; вместе с тем, противопоставляя познанию (Erkennen)—знание (Kennen), он отождествляет последнее с индивидуальными, суб'ективными переживаниями. Рассматривая «познание», он приходит к агносцицизму, анализ «знания» приводит его к суб'ективному идеализму; об'ективная реальность оказывается недостижимой ни на первом, ни на втором пути. Основной методологической ошибкой его критицизма оказывается наивное смешение гносеологической и психологической точки зрения, ибо исходный пункт всех его построений—различение «познания» и «знания» за principium divisionis принимает психологическую категорию—непосредственное переживание (Erlebnis), между тем, как поставленная проблема относится к теории познания. Благодаря этому обстоятельству выставленный Шликом тезис, утверждающий, что проблема познания об'ективной реальности невыразима в понятиях, имеет только тот смысл, что эта проблема действительно не была выражена в понятиях, но не в истории философии, а в разбираемой нами статье.

Все дальнейшие рассуждения Шлика, в результате которых он зачисляет в разряд метафизических построений, на ряду с идеализмом, и материализм, страдают той же болезнью «психологизма».

Обратимся к выяснению, что же он понимает под метафизикой.

Обозначение метафизики,—говорит он,—как учения о трансцендентном, неприемлемо на том основании, что всякое наше «высказывание» имеет смысл, превышающий границы непосредственно переживаемого, т.-е. ка-

дается трансцендентности; следовательно, при подобном определении метафизики мы должны были бы назвать метафизичными все наши «высказывания», в том числе и науку, т. к. истинное познание трансцендентного мира вполне возможно и должно быть признано всяким, кто только не стоит на точке зрения мгновенного солипсизма (Instantan solipsismus). Определять метафизику как учение о трансцендентном нецелесообразно, ибо в таком случае она ничем не будет отличаться от наук и познания, имеющего место в обыденной жизни.

История философии отчетливо показывает, что метафизику следует понимать не просто как познание трансцендентного, но как интуитивное познание трансцендентного; особенно ясно это значение метафизики выступает в философии Шопенгауера и Бергсона.

Метафизическая интуиция,—продолжает Шлик,—по мысли ее защитников, состоит в том, что сознание становится единым с познаваемым предметом, отождествляется с ним, или, выражаясь образно, проникает в его внутреннюю сущность. Метафизик стремится не познать вещи, но пережить их, обозначая переживание как познание; другими словами, он хочет познать их, делая их содержанием своего сознания.

Наиболее типичным и распространенным родом метафизики является идеализм в различных своих видоизменениях; основным для него оказывается утверждение, что трансцендентная действительность относится к роду идей, представлений,—как типичного содержания сознания. Так, по Платону мы познаем трансцендентное, созерцая идеи; волюнтаризм предполагает, что трансцендентная вещь, вступая в наше сознание, вызывает в нем волевое переживание; в этом же смысле следует понимать «жизненный порыв» Бергсона; наконец, метафизическая субстанция Спинозы есть то, что «per se concipitur». Но и материализм, который с первого взгляда прямо противоположен идеализму, в действительности идет по тому же пути, ибо при ближайшем рассмотрении оказывается, что материя, принимаемая им за метафизическую субстанцию, мыслится им чувственно представимой (sinnlich vorstellbar); содержание понятия «материя» для него—последнее, непосредственно данное. В основе материалистического воззрения лежит смутная вера в то, что посредством переживания, возникающего при рассматривании и ощупывании тела, мы проникаем непосредственно внутрь «действительной сущности» субстанции.

Все эти построения показывают, что метафизическое устремление заключается в попытке интуиции трансцендентности. Как же обстоит дело с осуществлением этого устремления? Так как интуиция—переживание и так как содержание всякого переживания есть содержание сознания, то-есть нечто имманентное, то «интуитивное познание трансцендентного»—бессмыслица, внутренне противоречивое соединение понятий. Интуиция по своей сущности ограничена областью имманентного и, следовательно, не может быть познанием (Erkennen); трансцендентная же действительность по своему определению не может быть пережита, так как она постольку трансцендентна, поскольку непереживаема.

Кто утверждает, например, вместе с волюнтаристами: метафизическая природа трансцендентного бытия есть воля, в действительности говорит: если бы то, что непереживаемо, было бы пережито, то оно было бы волей, т.-е. говорит бессмыслицу.

Если мы, наконец, предположим невозможное, согласимся на минуту, что метафизик увидел невидимое, то, спрашивается, каким образом он выразит свои переживания в словах и понятиях (ибо иначе зачем он пишет свои книги?); при формулировке в словах-символах было бы потеряно все специфическое содержание переживаний и остались бы только формальные отношения, которые великолепно можно получить

живания. Нецелесообразно даже ставить подобную проблему в науке или философии.

Столь же нецелесообразно задаваться вопросом о существовании чужого *я*, а также о существовании внешнего мира. Нет возможности сформулировать в понятиях, выразить в словах, что собственно представляет собою существование, действительность. Конечно, имеются критерии, при помощи которых мы в науке и жизни отличаем «действительно существующее» от простого «явления» (Schein), но философский вопрос о реальности внешнего мира подразумевает нечто большее. В чем же собственно состоит это «большее», что именно мы подразумеваем, приписывая существование внешнему миру,—во всяком случае, совершенно невыразимо (unaussprechbar).

Однако философы постоянно занимаются проблемами подобного рода; наше утверждение состоит в том, что содержание этих проблем относится к метафизике.

При самой постановке этих вопросов то, что должно быть содержанием знания (Kennen), ложно принимается за содержание познания (Erkennen), т.-е. делается попытка выразить невыразимое, передать непередаваемое. Так как никакое содержание наших многообразных переживаний не может быть сделано предметом «высказывания» (Aussage), то последнее может выражать только формальные соотношения. Все качественное содержание переживаний должно вечно оставаться частным делом (ewig privatim bleiben muss) и никоим образом не может быть познаваемым сообща различными суб'ектами. Часто говорят о физиках, что они оставляют без рассмотрения качественную сторону мироздания, оперируя пустыми, абстрактными формулами и понятиями, но «высказывания» теоретической физики в этом отношении ничем не отличаются от «высказываний» обыденной жизни и наук о духе. Всякое познание по существу своему есть познание форм, отношений и ничего более; всякое содержание принадлежит только суб'екту.

Таким образом, гносеологическая теория Морица Шлика принципиально исключает возможность даже постановки вопроса о предметном содержании познания, которое целиком сводится к формальным соотношениям; вместе с тем, противопоставляя познанию (Erkennen)—знание (Kennen), он отождествляет последнее с индивидуальными, суб'ективными переживаниями. Рассматривая «познание», он приходит к агносцицизму, анализ «знания» приводит его к суб'ективному идеализму; об'ективная реальность оказывается недостижимой ни на первом, ни на втором пути. Основной методологической ошибкой его критицизма оказывается наивное смешение гносеологической и психологической точки зрения, ибо исходный пункт всех его построений—различение «познания» и «знания» за principium divisionis принимает психологическую категорию—непосредственное переживание (Erlebnis), между тем, как поставленная проблема относится к теории познания. Благодаря этому обстоятельству выставленный Шликом тезис, утверждающий, что проблема познания об'ективной реальности невыразима в понятиях, имеет только тот смысл, что эта проблема действительно не была выражена в понятиях, но не в истории философии, а в разбираемой нами статье.

Все дальнейшие рассуждения Шлика, в результате которых он зачисляет в разряд метафизических построений, на ряду с идеализмом, и материализм, страдают той же болезнью «психологизма».

Обратимся к выяснению, что же он понимает под метафизикой.

Обозначение метафизики,—говорит он,—как учения о трансцендентном, неприемлемо на том основании, что всякое наше «высказывание» имеет смысл, превышающий границы непосредственно переживаемого, т.-е. ка-

сается трансцендентности; следовательно, при подобном определении метафизики мы должны были бы назвать метафизичными все наши «высказывания», в том числе и науку, т. к. истинное познание трансцендентного мира вполне возможно и должно быть признано всяким, кто только не стоит на точке зрения мгновенного солипсизма (Instantan solipsismus). Определять метафизику как учение о трансцендентном нецелесообразно, ибо в таком случае она ничем не будет отличаться от наук и познания, имеющего место в обыденной жизни.

История философии отчетливо показывает, что метафизику следует понимать не просто как познание трансцендентного, но как интуитивное познание трансцендентного; особенно ясно это значение метафизики выступает в философии Шопенгауера и Бергсона.

Метафизическая интуиция,—продолжает Шлик,—по мысли ее защитников, состоит в том, что сознание становится единым с познаваемым предметом, отождествляется с ним, или, выражаясь образно, проникает в его внутреннюю сущность. Метафизик стремится не познать вещи, но пережить их, обозначая переживание как познание; другими словами, он хочет познать их, делая их содержанием своего сознания.

Наиболее типичным и распространенным родом метафизики является идеализм в различных своих видоизменениях; основным для него оказывается утверждение, что трансцендентная действительность относится к роду идей, представлений,—как типичного содержания сознания. Так, по Платону мы познаем трансцендентное, созерцая идеи; волюнтаризм предполагает, что трансцендентная вещь, вступая в наше сознание, вызывает в нем волевое переживание; в этом же смысле следует понимать и «жизненный порыв» Бергсона; наконец, метафизическая субстанция Спинозы есть то, что «per se concipitur». Но и материализм, который с первого взгляда прямо противоположен идеализму, в действительности идет по тому же пути, ибо при ближайшем рассмотрении оказывается, что материя, принимаемая им за метафизическую субстанцию, мыслится им чувственно представимой (sinnlich vorstellbar); содержание понятия «материя» для него—последнее, непосредственно данное. В основе материалистического воззрения лежит смутная вера в то, что посредством переживания, возникающего при рассматривании и ощупывании тела, мы проникаем непосредственно внутрь «действительной сущности» субстанции.

Все эти построения показывают, что метафизическое устремление заключается в попытке интуиции трансцендентности. Как же обстоит дело с осуществлением этого устремления? Так как интуиция—переживание и так как содержание всякого переживания есть содержание сознания, то-есть нечто имманентное, то «интуитивное познание трансцендентного»—бессмыслица, внутренне противоречивое соединение понятий. Интуиция по своей сущности ограничена областью имманентного и, следовательно, не может быть познанием (Erkennen); трансцендентная же действительность по своему определению не может быть пережита, так как она постольку трансцендентна, поскольку непереживаема.

Кто утверждает, например, вместе с волюнтаристами: метафизическая природа трансцендентного бытия есть воля, в действительности говорит: если бы то, что непереживаемо, было бы пережито, то оно было бы волей, т.-е. говорит бессмыслицу.

Если мы, наконец, предположим невозможное, согласимся на минуту, что метафизик увидел невидимое, то, спрашивается, каким образом он выразит свои переживания в словах и понятиях (ибо иначе зачем он пишет свои книги?); при формулировке в словах-символах было бы потеряно все специфическое содержание переживаний и остались бы только формальные отношения, которые великолепно можно получить

живания. Нецелесообразно даже ставить подобную проблему в науке или философии.

Столь же нецелесообразно задаваться вопросом о существовании чужого *я*, а также о существовании внешнего мира. Нет возможности сформулировать в понятиях, выразить в словах, что собственно представляет собою существование, действительность. Конечно, имеются критерии, при помощи которых мы в науке и жизни отличаем «действительно существующее» от простого «явления» (Schein), но философский вопрос о реальности внешнего мира подразумевает нечто большее. В чем же собственно состоит это «большее», что именно мы подразумеваем, приписывая существование внешнему миру,—во всяком случае, совершенно невыразимо (unaussprechbar).

Однако философы постоянно занимаются проблемами подобного рода; наше утверждение состоит в том, что содержание этих проблем относится к метафизике.

При самой постановке этих вопросов то, что должно быть содержанием знания (Kennen), ложно принимается за содержание познания (Erkennen), т.-е. делается попытка выразить невыразимое, передать непередаваемое. Так как никакое содержание наших многообразных переживаний не может быть сделано предметом «высказывания» (Aussage), то последнее может выражать только формальные соотношения. Все качественное содержание переживаний должно вечно оставаться частным делом (ewig privatim bleiben muss) и никоим образом не может быть познаваемым сообща различными суб'ектами. Часто говорят о физиках, что они оставляют без рассмотрения качественную сторону мироздания, оперируя пустыми, абстрактными формулами и понятиями, но «высказывания» теоретической физики в этом отношении ничем не отличаются от «высказываний» обыденной жизни и наук о духе. Всякое познание по существу своему есть познание форм, отношений и ничего более; всякое содержание принадлежит только суб'екту.

Таким образом, гносеологическая теория Морица Шлика принципиально исключает возможность даже постановки вопроса о предметном содержании познания, которое целиком сводится к формальным соотношениям; вместе с тем, противопоставляя познанию (Erkennen)—знание (Kennen), он отождествляет последнее с индивидуальными, суб'ективными переживаниями. Рассматривая «познание», он приходит к агносицизму, анализ «знания» приводит его к суб'ективному идеализму; об'ективная реальность оказывается недостижимой ни на первом, ни на втором пути. Основной методологической ошибкой его критицизма оказывается наивное смешение гносеологической и психологической точки зрения, ибо исходный пункт всех его построений—различение «познания» и «знания» за principium divisionis принимает психологическую категорию—непосредственное переживание (Erlebnis), между тем, как поставленная проблема относится к теории познания. Благодаря этому обстоятельству выставленный Шликом тезис, утверждающий, что проблема познания об'ективной реальности невыразима в понятиях, имеет только тот смысл, что эта проблема действительно не была выражена в понятиях, но не в истории философии, а в разбираемой нами статье.

Все дальнейшие рассуждения Шлика, в результате которых он зачисляет в разряд метафизических построений, на ряду с идеализмом, и материализм, страдают той же болезнью «психологизма».

Обратимся к выяснению, что же он понимает под метафизикой.

Обозначение метафизики,—говорит он,—как учения о трансцендентном, неприемлемо на том основании, что всякое наше «высказывание» имеет смысл, превышающий границы непосредственно переживаемого, т.-е. ка-

ется трансцендентности; следовательно, при подобном определении метафизики мы должны были бы назвать метафизичными все наши «высказывания», в том числе и науку, т. к. истинное познание трансцендентного мира вполне возможно и должно быть признано всяким, кто только не стоит на точке зрения мгновенного солипсизма (Instantan solipsismus). Определять метафизику как учение о трансцендентном нецелесообразно, ибо в таком случае она ничем не будет отличаться от наук и познания, имеющего место в обыденной жизни.

История философии отчетливо показывает, что метафизику следует понимать не просто как познание трансцендентного, но как интуитивное познание трансцендентного; особенно ясно это значение метафизики выступает в философии Шопенгауера и Бергсона.

Метафизическая интуиция,—продолжает Шлик,—по мысли ее защитников, состоит в том, что сознание становится единым с познаваемым предметом, отождествляется с ним, или, выражаясь образно, проникает в его внутреннюю сущность. Метафизик стремится не познать вещи, но пережить их, обозначая переживание как познание; другими словами, он хочет познать их, делая их содержанием своего сознания.

Наиболее типичным и распространенным родом метафизики является идеализм в различных своих видоизменениях; основным для него оказывается утверждение, что трансцендентная действительность относится к роду идей, представлений,—как типичного содержания сознания. Так, по Платону мы познаем трансцендентное, созерцая идеи; волюнтаризм предполагает, что трансцендентная вещь, вступая в наше сознание, вызывает в нем волевое переживание; в этом же смысле следует понимать и «жизненный порыв» Бергсона; наконец, метафизическая субстанция Спинозы есть то, что «per se concipitur». Но и материализм, который с первого взгляда прямо противоположен идеализму, в действительности идет по тому же пути, ибо при ближайшем рассмотрении оказывается, что материя, принимаемая им за метафизическую субстанцию, мыслится им чувственно представимой (sinnlich vorstellbar); содержание понятия «материя» для него—последнее, непосредственно данное. В основе материалистического воззрения лежит смутная вера в то, что посредством переживания, возникающего при рассматривании и ощупывании тела, мы проникаем непосредственно внутрь «действительной сущности» субстанции.

Все эти построения показывают, что метафизическое устремление заключается в попытке интуиции трансцендентности. Как же обстоит дело с осуществлением этого устремления? Так как интуиция—переживание и так как содержание всякого переживания есть содержание сознания, то-есть нечто имманентное, то «интуитивное познание трансцендентного»—бессмыслица, внутренне противоречивое соединение понятий. Интуиция по своей сущности ограничена областью имманентного и, следовательно, не может быть познанием (Erkennen); трансцендентная же действительность по своему определению не может быть пережита, так как она постольку трансцендентна, поскольку непереживаема.

Кто утверждает, например, вместе с волюнтаристами: метафизическая природа трансцендентного бытия есть воля, в действительности говорит: если бы то, что непереживаемо, было бы пережито, то оно было бы волей, т.-е. говорит бессмыслицу.

Если мы, наконец, предположим невозможное, согласимся на минуту, что метафизик увидел невидимое, то, спрашивается, каким образом он выразит свои переживания в словах и понятиях (ибо иначе зачем он пишет свои книги?); при формулировке в словах-символах было бы потеряно все специфическое содержание переживаний и остались бы только формальные отношения, которые великолепно можно получить

без всякой интуиции, путем обычного дискурсивного познания эмпирических наук. Методами отдельных наук получается все возможное познание сущего, всякая другая онтология—пустая болтовня (leeres Geschwätz).

Философ может искать слов для выражения своего переживания, но при их помощи он формулирует только формальные отношения; никакое содержание в них не укладывается и ускользает от выражения. Если бы даже кто-нибудь осуществил «интуитивное познание», то ему оставалось бы только молчать.

Метафизические построения играют ту же роль, как и поэзия: они служат обогащению жизни, но не познания. Системы метафизиков содержат в себе много знаний и много поэзии, но в них нет ни доли метафизики.

Исходя из понимания всякого познания, в том числе и научного, как системы слов-символов, лишенных всякого содержания, которое, по его мнению, присуще лишь суб'ективному переживанию; амальгамируя, таким образом, агностизицм с суб'ективным идеализмом, т.-е.: упрощая критическую философию до уровня вульгарного психологизма,—Мориц Шлик считает себя в праве заявить, что проблема познания принципиально не может быть даже поставлена, т. к. она невыразима в словах. Неудивительно, что Платон и Бергсон попадают у него в один разряд с материалистами,—впрочем, какими именно, он не считает нужным пояснить; судя по тому, что материалистам он приписывает учение об интуиции в духе Бергсона и принимая во внимание, что Спиноза у него фигурирует как идеалист, остается предположить, что под материализмом он подразумевает нечто в роде учения Плотина.

Нет спора, что при теперешнем пышном расцвете метафизики в Германии борьба с ней—дело весьма почтенное, но не по плечу она идеалистам, даже самым «критическим». Само определение метафизики, данное Шликом, после Гегеля следует считать устаревшим; противопоставляя ее диалектике, с полным правом можно сказать, что в шликовском учении о беспредметной науке и единственно содержательном суб'ективном переживании—и знание и поэзия целиком потонули в метафизике.

Вопросам теории познания посвящена также статья Курта Штернберга—«О различии аналитических и синтетических суждений. Материал к разрешению проблемы модальности суждений»[1]).

По мнению Штернберга, учение Канта о синтетических и аналитических суждениях путем критического пересмотра должно быть освобождено от догматически-онтологических тенденций, возникших у Канта под влиянием английской школы и Лейбница. Всякий онтологический догматизм должен быть уничтожен, чтобы из пепла мог возродиться феникс критической значимости проблемы; аналитическое суждение и синтетические суждения a priori и a posteriori—это существенные познавательные ступени (Geltungsstufen der Erkenntnis), внутри-логические ценности. Подобный взгляд преодолевает учение самого Канта, но, с другой стороны, только благодаря ему он сделался возможным. То понимание синтетического суждения a priori, которое дано в «Критике Разума», вызывает ряд обоснованных сомнений, но, вместе с тем, именно Кантом была осознана впервые вся принципиальная важность проблемы, благодаря чему он сделался основоположником критицизма.

[1]) Kurt Sternberg. Ueber die Unterscheidung von analytischen und synthetischen Urteilen. Ein Beitrag zur Lösung des Problems der Urteilsmodalität,—«Kant-Studien». 1926, Bd. XXXI, H. 2—3.

Задача современности,—говорит Штериберг,—состоит в том, чтобы окончательно очистить от догматических примесей кантовский критический идеализм—это солнце всей философии нового времени.

Далеко не все нынешние немецкие идеалисты согласятся с этим призывом Штернберга к осторожному продвижению по заново подчищенным путям критицизма; в этом отношении интересна позиция Георга Миша (Идея философии жизни в теории наук о духе») [1].

Анализируя философское учение Вильгельма Дильтея, он рассматривает его как реакцию против того формализирования, которое нашло себе выражение в новейшей германской философии, исходившей из идеализма Канта, Фихте и Лотце. Вильгельм Дильтей,—говорит он,—сочетавший занятия философией с конкретной научной работой, в чем состояло его преимущество перед другими идеалистами современной Германии,—противопоставил чистому разуму Канта исторический разум и в основу наук о духе положил рассмотрение человеческого сознания в его историческом развитии. С другой стороны аналогично таким мыслителям, как Ницше, Шопенгауэр, Бергсон, а также Паскаль, Дильтей противополагал научному мышлению иррациональность жизни. Стремясь понять жизнь из нее самой, он хотел создать иррациональную философию жизни путем об'единения истории и социологии.

Благодаря Дильтею, «жизнь», как основное философское понятие, занимает место, принадлежавшее со времени Парменида «сущему»—τὸ ὄν.

В заключение Георг Миш выражает надежду, что именно философия жизни поможет мыслителям будущего преодолеть противоречие между науками о природе и науками о духе.

Для характеристики разногласий среди нынешних немецких идеалистов еще более показательно выступление Фрица Гейнемана (История философии как история человека») [2], указывающего, что современная история философия в Германии переживает острый кризис, который угрожает ей полным разложением на специальные исследования, не стоящие в связи с общей историей культуры,—на сборники, составленные из работ отдельных лиц, не об'единенных единым мировоззрением. Слабые отзвуки гегелевского и дильтеевского синтеза мало изменяют это печальное положение истории философии.

Преодолеть атомизирование истории философии, по мнению Гейнеманна, можно только путем нового, жизненного, органического ее построения, для чего необходим коренной пересмотр ее основных проблем. История философии,—говорит он,—не может иметь только интеллектуальный характер, она должна охватывать меня во всем моем существе, давать импульс моим поступкам, вызывать эстетические переживания, приводить в движение мой разум, говорить мне о воззрениях, которых я не нахожу у теперешних людей. Вопрос должен быть поставлен следующим образом: как может история философии, как органическое, жизненное построение на строго научной основе, как нечто целое, цельное и жизненное, отвечать моим потребностям цельного человека и возвышать мое бытие, мою жизнь?

Если история философии не есть история отдельных мыслителей на подобие древних жизнеописаний, то не прав ли Гегель, понимавший ее, как историю понятий, как развитие идей? Однако в гегельянстве история логифицируется, а логика историзируется; только двусмысленность

---

[1] Georg Misch, Die Idee der Lebensphilosophie in der Theorie der Geisteswissenschaften,—«Kant-Studien». 1926. Bd. XXXI, H. 4.

[2] Fritz Heinemann, Die Geschichte der Philosophie als Geschichte des Menschen, ibid., H. 2—3.

термина «развитие» (Entwicklung) делает возможным подобное отождествление. То, что Гегель называет «развитием», есть нечто совсем иное, чем историческое развитие, а именно—логическая, но не временная последовательность. Гегель превращает историю в единую, по имманентной необходимости развивающуюся систему понятий; предметом рассмотрения оказывается саморазвивающаяся идея, которая в неудержимом процессе движения устремляется сквозь мыслителей как сквозь переходные пункты (Durchgangspunkte). Благодаря этому, не учитывается иррациональность всего индивидуального и действительное многообразие отклонений, напластований и отдельных людей сжато в произвольное единство. Гегелевская концепция истории понятий и систем не согласуется с опытом и поэтому неприемлема.

Замечательно, что почти все новейшие концепции истории философии суть продукт разложения гегелевского взгляда; это справедливо относительно Эдуарда Целлера, Иоганна Эрдманна и Куно Фишера; Марбургская школа также принципиально не идет дальше. Правда, все они устранили тождество исторического и логического процесса, все они освободились от диалектического метода, а тем самым от априорных конструкций, но для них история философии осталась историей систем, которая то сводилась к последовательному рассмотрению исторического материала (Целлер), то извлекала из ряда данностей части «вечной философии» (Коген), то ставилась в связь с историей культуры (Фишер, Виндельбанд).

Нечто новое впервые внесла духовно-историческая установка (die geistesgeschichtliche Einstellung) Дильтея, по мысли которого историю философии следует рассматривать, в противовес Гегелю, не как взаимоотношение понятий абстрактного мышления, но как изменение в полноте жизни и действительности человека. Дильтей стремится установить причинную зависимость между философией и всей культурой в целом, выяснить историческое место отдельных явлений, литературы, теологии и науки. Великое значение дильтеевского понимания истории философии (что, впрочем, было намечено уже Гегелем) состоит в уничтожении ее изоляции, во включении ее в общий процесс человеческой культуры; однако требуется дальнейшее уточнение поставленной Дильтеем проблемы. Если Гегель придавал слишком большое значение форме, то Дильтей переоценил роль материала; ему не была дана гегелевская энергия оформления идеи; его историческая концепция, несмотря на отдельные блестящие места, не превысила уровня антикварного описания, так как у него отсутствовало стремление к абсолютному, не-историческому, над-историческому.

В настоящее время сохраняет значение только его требование уничтожения истории философии (Philosophiegeschichte) и перехода к истории духа (Geistesgeschichte), к чему можно добавить новое требование преодоления истории духа при помощи истории человека (Geschichte des Menschen).

История философии должна быть историей понятий, как это требовал Гегель, так как философская работа находит себе выражение в понятиях, но, поскольку в понятиях дается разрешение проблем, история философии должна быть также историей проблем. Не следует понимать проблемы—в виндельбандовском смысле, ибо они связаны друг с другом органически, а не как мертвые системы, рассматривать их необходимо не в статике, но в динамике. Во всей истории философии в бесконечных вариациях встречаются те же проблемы: человек, мир, бог; все они связаны единым философствующим человеческим духом и существуют только для человека; по ту сторону человека их нет: для зверя, потому что он

ничего не знает, для бога, потому что он знает все. Наш жребий—жить в тайне, и в тайне пребывает наше знание жизни. Неизменной величиной в истории философии является живой, целостный человек, поскольку он философствует.

Философствующий человек, для которого мир, бог и он сам—проблема и который ищет ее разрешения в понятиях,—таков конечный предмет истории философии. Так связываются неразрывно друг с другом проблема, понятие, человек, но высшее—это человек.

Определив таким образом предмет истории философии, Гейнеманн тем самым выразил свое понимание предмета самой философии; нельзя, однако, сказать, чтобы подобное определение было достаточно ясным и точным. В самом деле, что же следует понимать под философствующим целостным человеком, под тою полнотою жизни, о которой главным образом идет речь. О том разнообразии пониманий, какое характеризует в этом отношении «модное мышление о жизни», весьма выразительно говорит Генрих Риккерт: «Картина современной философии жизни достаточно пестра, чтобы быть односторонней. В ее рамки входят самые разнообразные стремления. Творческое напряжение жизненных сил и святая пассивность тиши переживания, отрицающего всякую деятельности, французский élan и русская мистика, сознательно бездеятельная в своей созерцательности, полный радостных надежд жизненный оптимизм, захваченный эволюцией сверхчеловечности, и сумрачное отчаянье в дальнейшем развитии западной культурной жизни, антинаучные пророчества о жизни и строгая научность взгляда на жизнь, метафизическая погруженность в потусторонность мировой сущности и до конца по сю сторону находящийся прагматический утилитаризм—все это сталкивается в той западно-восточной структуре жизни, которая протягивается над Европой» [1]).

Гейнемановский человек, пребывающий в тайне между зверем и богом,—прекрасный символ современного философствующего буржуа, потерявшего опору в разлагающемся классическом идеализме, жаждущего целостного мировоззрения и целостной жизни и не находящего действенной «духовно-исторической установки» перед лицом надвигающейся гибели всей буржуазной культуры.

Обращаясь к рассмотрению метода истории философии, Гейнеманн говорит, что ее основной задачей является преодоление гегельянства, сознательное оживление (Verlebendigung) рассматриваемых фактов; ее метод заключается в тройственном и в то же время едином анализе проблем, понятий и индивидуальных форм (Gestalt), в которых выражаются формы сверх-индивидуальные, идеальные. Заслуга Гегеля—в установлении диалектического значения синтеза, но нельзя подчинять этой схеме каждый отдельный шаг духовной жизни. Включение философии в культуру в целом подразумевает исследование каузальных связей; экономические, государственные, социальные и религиозные изменения имеют громадное значение и для философии, однако многообразие взаимоотношений здесь так велико, что легко впасть в ошибку, сделав «propter hoc» из «post hoc»; кроме того, следует учесть то обстоятельство, что и духовные явления, в свою очередь, влияют на экономические, государственные и социальные.

Ограничившись этими, слишком общими, а потому не имеющими принципиально методологического значения соображениями о взаимоотношении «базиса» и «надстроек», Гейнеманн указывает, что перед историком философии стоят три основных задачи: (1) анализ проблем, понятий

[1]) Генрих Риккерт, Философия жизни,—«Akademia», 1922, стр. 35.

и форм; (2) об'ясиение, имеющее три возможности: отнесение к цели, установление причинных взаимоотношений и указание функциональных зависимостей; наконец, (3) критика, не только имманентная, но и транцендентная, т.-е. творческая, создающая новые ценности.

То понимание предмета и метода истории философии, какое дано Гейнеманном, целиком отвечает современным устремлениям германской «философии жизни», и все значение разбираемой статьи не столько в постановке общих проблем философского мышления, сколь в применении «жизненных принципов» к специальной проблеме истории философии; следует, однако, признать, что результаты, к которым пришел Гейнеманн, весьма плачевны: если уже в определении предмета истории философии им была проявлена неясность и неточность мысли, то еще печальнее обстоит дело в области методологических вопросов: требование анализа проблем и понятий отнюдь не является чем-то новым для историков философии; анализ форм (Gestalt), в интерпретации Гейнеманна тесно связанных с индивидуальностями «философствующих людей», а вместе с тем, с над-индивидуальными, идеальными формами, также не может в этой формулировке послужить специфическим признаком «философии жизни» как таковой, в отличие от других видов идеализма, ибо по этому пункту идеалистам различных направлений не так уже трудно установить полное согласие, не даром Генрих Риккерт, анализируя «философию жизни», говорит, что «Ницше, Дильтей и Зиммель... дали старой проблеме об отношении общего к частному новое интересное освещение. С ними нам придется согласиться, в особенности там, где они отстаивают незаменимость личности или единичной души с ее «индивидуальным законом», равно как и там, где они подчеркивают наглядность и непосредственность содержаний переживания. И то и другое мы находим уже у Гёте эпохи бури и натиска» [1]).

Об'яснение (Erclären), или понимание (Verstehen), по мысли Гейнеманна, включает на равных основаниях рассмотрение целей, причин и функциональных зависимостей; подобное эклектическое требование способно только затемнить методологические задачи истории философии и, во всяком случае, нуждается в дальнейшей подробнейшей разработке по существу; наконец, совершенно не разработан у Гейнеманна и вопрос о творческой критике в истории философии.

Следует остановиться также на его отношении к диалектическому методу Гегеля и к учению об эволюции.

Современной истории философии,—говорит Гейнеманн,—необходимо отказаться от признания исключительного господства принципа эволюции, хотя для поколения второй половины XIX века он казался разрешением всех загадок. Положительное значение Гегеля—в признании диалектического развития в истории; его ошибка—в утверждении, что эта форма движения есть форма исторической жизни вообще. Вместо эволюции, развития, следует говорить о метаморфозах, об изменении «форм» (Gestaltwechsel).

Это изменение «форм», в отличие от развития (Entwicklung), есть качественное изменение всего человека и всей культуры, изменение как формы, так и содержания, благодаря чему образуется новый центр жизни (Lebenszentrum), а следовательно, новое распределение сил в области хозяйственной, государственной, социальной и духовной жизни; при этом не только создается нечто новое, но и сохраняется старое, собирающееся вокруг нового центра.

---

[1]) Генрих Риккерт, Философия жизни. «Akademia», 1922, стр. 158.

Подобные метаморфозы не следует понимать как диалектику; Гегель полагал, что всякое действие вызывает противодействие; об'яснение это применимо к таким явлениям, как переход от гегельянства к марксизму, от кантианства к нео-кантианству, но ни в коем случае не может быть всеобщей формой исторического развития, в котором реакции наступают и через продолжительное время; следует также учесть влияние одной культуры на другую.

Такое решительное, хотя и не подкрепленное никакими доказательствами, отрицание диалектики общественного развития заставляет подозревать, что здесь, выражаясь словами поэта, «под измененным именем басня рассказывается» о марксизме; так это или нет, необходимо признать, что даже гегелевская идеалистическая диалектика оказывается содержательней, чем эта не продуманная до конца попытка обоснования новой, «жизненной» истории философии.

Проблема жизни и смерти ставится виталистом Иоганном Рейнке («Безжизненный и живой») [1]), начинающим свой анализ с рассмотрения современного состояния физики; электрические силы и сила тяжести,—говорит он,—вот к чему сведена в настоящее время материя, которая поэтому должна пониматься динамически или, иначе говоря, электрические силы и сила тяжести суть материальные силы, которые следует называть энергией, поскольку они способны выполнять механическую работу. Наше тело так же, как и весь мир,—состоит из электронов; материя внутри человеческого тела подчиняется тем же законам, что и вне его; вместе с тем живой человек и остальные организмы должны быть противопоставлены царству безжизненного в природе, при этом материалы, образующие наше тело, сами по себе безжизненны, и принцип жизни заключается не в них.

По вопросу о взаимоотношении живого и безжизненного можно сформулировать три основных положения:

(1) Первое из этих положений лучше всего выразить словами Канта: «Всякая материя, как таковая, безжизненна».

(2) Жизнь не может быть материальным явлением, но только—сверхматериальным принципом (ein Supramaterielles Princip). Если над безжизненным господствуют материальные силы, то жизнь управляется силами сверхматериальными.

(3) Естественные науки имеют дело с организмами, в которых жизнь прикована (gekettet ist) к безжизненной материи. Разница между человеком и трупом—жизнь; труп—это система безжизненной материи, из которой исчезла жизнь.

Исходя из этих трех тезисов, Рейнке приходит к выводу, что физические и химические процессы в человеческом теле происходят в особых элементарных механизмах, скрытых в протоплазме и еще эмпирически неизвестных; только особый порядок организации, лежащий вне пределов химии, связывает эти процессы в целесообразное целое—живой организм, который управляется новыми, диа-физическими силами—«доминантами». Это взаимоотношение между телом и жизнью,—оговаривается Рейнке,—устанавливается провизорно, но зато для духовной жизни сверхматериальные силы обладают категорической значимостью.

Статья заканчивается характерным лозунгом: безжизненный или живой; материя или душа; сила—это все (leblos oder lebendig; Materie oder Seele; Kraft ist alles).

---

[1]) Johannes Reinke, Leblos und lebendig,—«Kant-Studien». 1926, Bd. XXXI, H. 2—3.

Если в своем анализе понятия материи Рейнке допускает грубое смешение физической и гносеологической точки зрения, как это уже не в первый раз случается при идеалистическом истолковании результатов, достигнутых современной физикой, то, с другой стороны, составив арифметическое уравнение: живой организм минус жизнь равен трупу, он свел проблему возникновения жизни к пустой игре словами, благодаря чему сверхматериальные силы, как провизорно, так и категорически им устанавливаемые, следует отнести к разряду бэконовских «idola theatri».

В статье «Основные вопросы к проблеме об'ективных ценностей»[1]) Иоганн Гейде указывает, что для разрешения вопроса о существовании об'ективных ценностей прежде всего необходимо точно определить само понятие «ценность».

Можно, например, сказать: (прекрасная) ваза имеет ценность; или же: (прекрасная) ваза есть ценность; или же, наконец, красота (вазы) есть ценность.

Если мы обозначим присущую вазе ценность (Wert) через W_1, то вторая из приведенных формулировок примет вид: ваза есть нечто, имеющее W_1; обозначив, далее, вазу через V, а ценность в том смысле, как этот термин был употреблен при второй формулировке, через W_2, получим:

$$W_2 = V + W_1.$$

Несмотря на всю очевидность этого различия, оба понятия часто смешиваются новейшими теориями ценности.

В конечном итоге получим:

$$W_1 = W_2 - V; \quad W_2 = V + W_1; \quad V = W_2 - W_1.$$

Так как красота сама есть ценность, то очевидно, что в третьей из вышеприведенных формулировок мы имеем дело с W_1.

Гейде полагает, что предложенное им уточнение термина «ценность» должно способствовать разрешению вопроса о различии между суб'ективными и об'ективными ценностями, с чем трудно согласиться, так как производимое ими вычитание «ценности» из «вазы»—столь же формально, как и вычитание «жизни» из «живого организма», предложенное Рейнке.

Из статей, рассматривающих вопросы теории права, следует отметить: Альберт Гёрланд—«О понятии роскоши»[2]) и Цу-Дона—«Рудольф Штаммлер. К семидесятилетию со дня рождения»[3]).

Ряд статей посвящен отдельным мыслителям: Беркли, Лейбницу, Наторпу, Рилю, Эйкену и др.; привлекает внимание обзор С. Франка—«Русская философия за последние пятнадцать лет»[4])—аннотированный перечень идеалистических работ по философии.

Мих. Дынник.

---

[1]) Joh. Erich Heyde, Grundfragen zum Problem der objektiven Werte,—«Kant-Studien». 1926, XXXI, H. 1.

[2]) A. Görland, Uber den Begriff des Luxus,—«Kant-Studien». 1926, Bd. XXXI, H. 1.

[3]) Zu Dohna, Rudolf Stammler. Zum 70. Geburtstag, ibid., H. 1.

[4]) S. Frank, Die russische Philosophie deetzten fünfzehn Jahre, ibid., H. 1.

Марксизм и естествознание.

По мысли Маркса и Энгельса, материалистическая диалектика, в качестве единой научной методологии, не может ограничить своего внимания одними лишь проблемами обществознания, но должна также охватить своим критическим взором и область естествознания.

Ставя такие широкие научно-методологические задачи перед диалектическим материализмом, Маркс и Энгельс, будучи одинаково в курсе всех достижений современного им естествознания, тем не менее, в силу целого ряда исторических обстоятельств, не смогли ему уделить столько же теоретического внимания, сколько они уделяли проблемам общественно-историческим. И, тем не менее, открытая и опубликованная т. Рязановым «Диалектика природы» Энгельса является поистине великолепным марксистским исследованием в области естествознания не только для своего времени, но сохранившим, несмотря на частичную устарелость фактического материала, всю свою исключительную методологическую ценность и для наших дней. Вместе с тем «Диалектика природы» снова напомнила марксистским кругам о той стоящей перед ними задаче внедрения диалектико-материалистической методологии в сферу естественных наук, всю важность которой неоднократно подчеркивали основоположники научного коммунизма. Справедливость требует отметить, что, за исключением Плеханова и Ленина, эта задача западно-европейскими марксистами даже не осознавалась. Об этом говорит исключительная скудость иностранных марксистских работ по вопросам естествознания вообще и, что особенно важно, в области методологии. Преобладающее большинство писавших на эту тему обнаружили лишь «позитивистический» эклектизм и поверхностное понимание самой методологической основы марксизма (стоит вспомнить писания Отто Бауэра, Ф. Адлера и К°). И лишь Плеханов и Ленин пошли твердой дорогой по стопам Маркса и Энгельса. И если Ленина, показавшего в своих работах («Материализм и эмпириокритицизм», «О значении воинствующего материализма», «Фрагменты о диалектике Гегеля») весь тот реакционный тупик, в который попадает «современное естествознание», если оно не желает базироваться на материалистической диалектике, никто не посмел взять под подозрение в отношении его верности традициям марксизма, то этого нельзя сказать относительно Плеханова. В последние 2—3 года мы являемся наблюдателями поистине комических атак на философское наследие Плеханова, при чем в вину основоположнику русского марксизма ставится, между прочим, игнорирование им данных естествознания, вообще беззаботность по отношению к достижениям современных естественных наук, и соскальзывание на рельсы какого-то абстрактного философского мудрствования (словом, Плеханов был чем-то вроде «схоластического выученика» деборинского семинария). Любопытно, что на это замечательное «открытие» претендуют сразу несколько новоявленных Колумбов. Но любопытнее еще и то, что никчемность этой «теории» опрокидывает никто иной, как философская соратница одного из этих Колумбов—Л. И. Аксельрод, хотя бы в этом вопросе не позабывшая, что ее старый псевдоним—Ортодокс—к чему-то обязывает и в наше время. Так, в последней своей статье [1]) «Ответ на «Наши разногласия» А. Де-

---

[1]) Л. Аксельрод, «Красная Новь», 1927 г., № 5, стр. 15?.

борина» она прямо так и заявляет: «Плеханов был серьезный ученый и тщательно следил за результатами современного ему естествознания». Таким образом, попытка вырвать имя старого Плеханова из рядов продолжателей традиций Маркса и Энгельса благополучно кончилась семейной неразберихой в рядах новой «ортодоксии».

Однако работы Ленина и Плеханова не могли охватить всех проблем, выдвигаемых современностью. Особенно остро эти вопросы выплыли в наши дни, когда реконструктивный процесс нашего социалистического строительства начал охватывать все новые сферы бытия и сознания. Мы наблюдаем бурный рост влияния материалистической диалектики на все области естествознания. Не обходится и без упрощенческих «болезней», просто искажений и непонимания, в результате чего марксистская литература обогатилась разного рода «полемиками» вокруг таких проблем, как взаимоотношение между диалектическим и механическим материализмом, теория относительности, фрейдизм, дарвинизм и марксизм, проблемы рефлексологии и т. п. Если сопоставить нашу литературу в этой области с иностранной за этот же промежуток времени, особенно с немецкой, которая всегда претендовала на гегемонию, то сравнение это поистине становится симптоматичным. У нас богатейший расцвет литературы по этому вопросу — чего стоит одна только «Диалектика природы» Энгельса—на Западе же тщедушный сборничек Иенссена, изданный к 30-летию смерти Энгельса из случайного и неряшливо подобранного старого материала [1]).

Библиографически подытожить эту стремительно разросшуюся литературу и ставит себе задачей настоящая работа.

* * *

---

1. Методология естествознания в свете диалектического и механического материализма.

Баммель, Г.— Диалектика природы Энгельса и судьбы философии естествознания («Архив К. Маркса и Ф. Энгельса». Под ред. Д. Рязанова. Том II). «Вестник Ком. Академии». 1926, № 15, стр. 309—325.

Б., Гр.—Рец. на первый сборник «Диалектика в природе». «Под Знаменем Марксизма». 1926, № 6, стр. 235—240.

Вагаиян, В.—На самом ли деле диалектическое понимание природы—механическое понимание—«Диалектика природы Энгельса и наши споры» (против Степанова). См. «По боевым вопросам марксизма». ГИЗ. 1926, стр. 147—202.

Васильев, С.—К характеристике механического материализма. См. «Диалектика в природе». Сб. 2-й. Вологда. Изд. «Северный Печатник». 1927, стр. 7—48.

---

[1]) Marxismus und Naturwissenschaft. Gedenkschrift zum 30 Todestage des Naturwissenschaftlers F. Engels, 5 August 1925. Herausg. O. Jenssen. B.

Вишневский, А.—В защиту материалистической диалектики (ответ тов. Степанову). «Под Знаменем Марксизма». 1925, № 8—9, 245—287.

Выропаев, Б.—Еще об эмпиризме в современном естествознании. «Под Знаменем Марксизма». 1926, № 11, стр. 110—141.

Деборин, А.—Ленин как мыслитель. Издание 2-е, дополнительное. ГИЗ. 1925, стр. 22—30, 47—51, 57—59.

Деборин, А.—Материалистическая диалектика и естествознание. «Воинствующий Материалист». М. 1925, сборн. № 5, стр. 3—38 (Энгельс.—Диалектика природы).

Деборин, А.—Энгельс и диалектическое понимание природы. «Под Знаменем Марксизма». 1925, № 10—11, 5—47.

Деборин, А.—Энгельс и диалектика в биологии. «Под Знаменем Марксизма». 1926, № 1—2, 55—89, № 3, 5—28.

Деборин, А.—Очерки по теории материалистической диалектики. «Под Знаменем Марксизма». 1926, № 11, 5—23.

Деборин, А.—Наши разногласия. «Летописи Марксизма». 1927, № 2, стр. 3—42.

Деборин, А.—Механисты в борьбе с диалектикой. «Вестник Ком. Академии». 1927, книга XIX, 21—61.

Карев, Н.—О наших естествоиспытателях, «путешествующих в диалектическом». «Под Знаменем Марксизма». 1926, № 11, стр. 24—58.

К., Н.—Несколько замечаний по поводу ст. А. Самойлова («Диалектика природы и естествознания»). «Под Знам. Марк.». 1926. № 4—5. Стр. 82—87.

Каценбоген, С. З.—Диалектический материализм и механистическое мировоззрение. «Труды Белорусского гос. унив.». 1926, № 11, стр. 1—18.

Ленин, Н.—Материализм и эмпириокритицизм. Собрание сочинений. ГИЗ. Т. Х., стр. 306 и ряд отд. изданий.

Ленин, Н.—Карл Маркс. Собр. соч., т. XX, ч. I. ГИЗ. 1926, гл. «Философский материализм» и «Диалектика», стр. 472—475. То же в XII т. ч. II. ГИЗ. 1924 (с некоторыми сокращениями).

Ленин, Н.—Три источника и три составные части марксизма. Собр. соч. ГИЗ. 1924, том XII, ч. II, стр. 55—56.

Ленин, Н.—О значении воинствующего материализма. «Под Знаменем Марксизма». 1922. № 3, стр. 9—10.

Ленин, Н.—Конспект «Науки Логики» Гегеля. «Под Знаменем Марксизма». 1925, № 1, стр. 8—33.

Ленин, Н.—К вопросу о диалектике. «Под Знаменем Марксизма». 1925, № 5—6, стр. 14—18.

Луппол, И.—Диалектика диалектики. «Воинствующий Материалист». Сб. № 5. М. 1925, стр. 39—59 (по поводу статьи Степанова.—Диалектическое понимание природы—механическое понимание).

Луппол, И.—Диалектика диалектики. «Воинствующий Материалист». Сб. № 4. М. 1925, стр. 39—47.

Максимов, А.—Об источниках и результатах упрощенства в естествознании. «Под Знаменем Марксизма». 1926, № 1—2, стр. 189—212 (о Боссэ).

Маркс, К.—Капитал. Т. I. ГИЗ. 1923. Изд. Института Маркса и Энгельса. Стр. 284, 349.

Маркс, К.—Различие между натурфилософией Демокрита и Эпикура. См. Маркс и Энгельс. Литературное наследство. Пер. с нем. Е. Гурвич и М. Лунц. Изд. «Мир». М. 1907, т. I, стр. 69—108.

Маркс, К.—Отрывок о французском материализме XVIII в. (Из «Святого семейства»). См. Маркс и Энгельс. Литературное Наследство, I. II. Под ред. Л. Аксельрод, В. Засулич и Д. Кольцова. Изд. «Освобождение Труда». 1908, стр. 265—273.

Механистическое естествознание и диалектический материализм. Дискуссионный сборник под ред. Г. Боссэ. № 1. Изд. «Северный Печатник». Вологда. 1925, стр. 82. Речи: Скворцова - Степанова: 9—25; Левина 26—47; Боричевского 48—55; Боссэ. 56—65; Перова, 66—71; Тер-Оганесян 72—75; Понятовского, Местергази. Рец. 1) В. Егоршина. — «Молодая Гвардия». 1926, № 3, стр. 216—217. 2) «Книгоноша». 1925, № 17.

Милонов, К.—Диалектика и философия (споры с механистами вокруг «Диалектики природы» Энгельса). «Молодая Гвардия». 1926, № 6, стр. 168—182.

Милонов, К.—Против механического миропонимания. «Вестн. Ком. Академии». 1926, № 16, стр. 140—183, № 18, стр. 146—188.

Орлов, И.—Механика и диалектика в естествознании. «Диалектика в природе». Сб. № 2. Вологда. 1927. Изд. «Северный Печатник», стр. 109—125.

Перельман, Ф., Рубановский, Л., Великанов, И.—Два уклона в марксистской философии. «Диалектика в природе». Сб. 2. Изд. «Северный Печатник». Вологда. 1927, стр. 265—300.

Плеханов, Г.—Предисловие к «Л. Фейербаху» Ф. Энгельса. Сочинения. Т. XVIII, стр. 267—270.

Плеханов, Г.—Примечания к «Л. Фейербаху» Ф. Энгельса. Сочинения. Т. VIII, стр. 396—397.

Плеханов, Г.—Новый защитник самодержавия или горе г. Л. Тихомирова. Сочинения. Том III, стр. 48—50.

Рязанов, Д.—Предисловие к «Диалектике природы» Ф. Энгельса. «Архив Маркса и Энгельса». ГИЗ. 1925, т. II, стр. IX—XXIII.

Самойлов, А.—Диалектика природы и естествознание. «Под Знам. Маркс», № 4—5, 61—81. См. там же отв. Н. К., стр. 82—87.

Сапожников, П.—Новая победа диалектического материализма. «Большевик». 1925, № 16, 83—99 («Диалектика природы» Энгельса).

Стэн, Я.—Об ошибках Гортера и Степанова. «Большевик». 1924, № 11, стр. 82—89.

Стэн, Я.—О том, как т. Степанов заблудился среди нескольких цитат из Маркса и Энгельса. «Большевик». 1924, № 15—16, стр. 115—127.

Степанов, И.—Исторический материализм и современное естествознание. Приложение к книге Гортера: «Исторический материализм». 2-е издание. Пер. Степанова. Изд. «Красная Новь». 1924, стр. 133—170. То же. Отдельное переработанное изд.: «Исторический материализм и современное естествознание». ГИЗ. 1924, стр. 84. См. рец. 1) «Книгоноша». 1924, № 48—49. 2) А. Вишневский.—«Под Знаменем Марксизма». 1924, № 12, стр. 307—314; 3) Н. Семашко. «Известия». 1924, № 286.

Степанов, И.—О моих ошибках, «открытых» и «исправленных» тов. Стэном. «Большевик». 1924, № 14, стр. 82—90.

Степанов, И.—Диалектическое понимание природы—механическое понимание. «Под Знаменем Марксизма». 1925, № 3, стр. 205—238.

Степанов, И.—Энгельс и механическое понимание природы («Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», т. II.—«Диалектика природы»» Энгельса). «Под Знаменем Марксизма». 1925, № 8—9, стр. 44—72.

Степанов, Тимирязев, Левин, Боричевский, Боссэ, Перов, Тер-Оганесян, Понятовский, Местергази.—«Механическое естествознание и диалектический материализм». Дискуссии о кн. Степанова: «Современное естествознание и исторический материализм» в Совете НИТ'а 8 февраля 1925 г. Изд. «Северный Печатник». 1925, стр. 82.

Тимирязев, А.—Диалектика природы Энгельса и современная физика. «Воинствующий Материалист». Сборн. № 5. М. 1925, стр. 235—250.

Тимирязев, А.—Диалектика природы Энгельса и современная физика. «Диалектика в природе». Сб. № 2. Изд. «Северный Печатник». 1927, стр. 177—217.

Тимирязев, А.—Воскрешает ли современное естествознание механический материализм XVIII столетия. «Вестник Ком. Академии». 1926, № 17, стр. 116—168. См. критику: Н. Карев.—О наших естествоиспытателях, «путешествующих в диалектическом».—«Под Знаменем Марксизма». 1926, № 11, стр. 59—87.

Деборин.—Механисты в борьбе с диалектикой. «Вестн. Ком. Акад.». 1927, № 19, стр. 21—61.

Энгельс, Ф.—Анти-Дюринг. Пер. с нем. 3-е исправ. изд. М. Е. Ландау. Изд. «Моск. Рабочий». М. 1923. стр. 19—25, 45—97, 102, 106—107, 137—143, 145—148, 156—159.

Энгельс, Ф.—Развитие социализма от утопии к науке. Библиотека марксиста, под ред. Д. Рязанова. ГИЗ. 1926, см. предисловие к англ. изд. стр. 17—25, 29 и 52—59 (переработанное извлечение из «Анти-Дюринга»).

Энгельс, Ф.—Диалектика природы. Пер. под ред. и с пред. Д. Рязанова. «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса». Кн. 2-я. ГИЗ. 1925, стр. 5—389.

Энгельс, Ф.—Письма Марксу от 14 июля 1858 г. и 30 мая 1873 г. См. Маркс и Энгельс. Письма, пер. под ред. Адоратского. 2-е изд. «Моск. Рабочий». М. 1923, стр. 87—89, 254—256.

Энгельс, Ф.—Фейербах. Пер. с пред. Г. Плеханова. Изд. «Красная Новь». 1923, стр. 45—17, 62—65.

2. Марксизм и дарвинизм.

Бауэр, О.—Эволюционизм в биологии и социологии («Марксизм и дарвинизм»). «Антей». П., стр. 8 (год не указан).

Бебель, А.—Женщина и социализм. Перевод с нем. Под ред. В. Поссэ. ГИЗ. М.—П. 1923. См. предисловие к 25-му изд., стр. 18—33, и главу «Дарвинизм и состояние общества», стр. 261—266.

Блашко, А.—Естественный отбор и классовая дифференциация. В сб. «Дарвинизм и марксизм». 2-е изд., дополненное. ГИУ. 1925, стр. 113—126.

Боголепова, А.—Роль труда в изменяемости организма. К вопросу о диалектическом методе в биологии. «Спутник Коммуниста». 1923, № 22 (по поводу работы Ф. Энгельса: Роль труда в развитии обезьяны в человека).

Бройдо, Л.—Рец. на сборник «Дарвинизм и марксизм». Составленный М. Равич-Черкасским. «Печать и Революция». 1923, № 3.

Бубликов, М.—Борьба за существование и общественность. Дарвинизм и марксизм. «Сеятель». 1926, стр. 240. Рец. 1) Слепков, В.—«Под Знаменем Марксизма». 1926, № 1—2, стр. 273—276. 2) «Летописи Марксизма» № 2. ГИЗ. 1927, стр. 142—145.

Бюхнер, Л.—Дарвинизм и социализм или борьба за существование и современное общество. Перевод со 2-го нем. издания А. Коварской. Изд. «Пульс Жизни». М. 1907. То же. Пер. Ю. Бем. СПБ. 1907.

Вольтман, Л.—Исторический материализм. Перевод с немецкого, под ред. Филиппова. Изд. Зябицкого и Пятина. СПБ. 1901, стр. 235. См. «Естественно-научные биологические элементы в Капитале», стр. 142—151. «Отношение Энгельса к дарвинизму и марксизму», стр. 161—163; «Биологический и экономический материализм», стр. 242—249; последние два отрывка перепечатаны в сборн. «Дарвинизм и марксизм». ГИУ. 1923.

Вольтман, Л. Система морального сознания в связи с отношением критической философии к дарвинизму и социализму. Перевод под ред. М. Филиппова. Изд. Зябицкого и Пятина. СПБ. 1900, стр. 325.

Вольтман, Л.—Теория Дарвина и социализм. Пер. с нем. П. Энгельгардта. Изд. Ф. Павленкова. СПБ. 1900. То же. Под ред. М. Филиппова. Изд. Зябицкого и Пятина. СПБ. 1900, стр. 325. См. рецензию Н. Рожкова. «Жизнь». 1900. X.

Вольтман, Л.—Политическая антропология. Исследование о влиянии эволюционной теории на учение о политическом развитии народов. Перевод с нем. Оршанского. Изд. Поповой. СПБ. 1905, стр. 334.

Выдра, Р.—Новое «коммунистическое откровение». «Под Знаменем Марксизма». 1925, № 10—11, стр. 170—182 (по поводу книги Гредескула: «Происхождение и развитие общественной жизни». Том I).

Гартман, Л.—Об историческом развитии. Пер. под ред. проф. Петрушевского. Изд. Сытина. М. 1911, стр. 122.

Геркнер, Г.—Дарвинизм и социальная политика. См. сборн. «Дарвинизм и марксизм». ГИУ. 1923, стр. 177—192. Статья эта представляет XIX главу из книги автора «Рабочий труд в Западной Европе». Перевод с нем. Изд. 3-е журнала «Русская Мысль». СПБ. 1913, и первое изд. СПБ. 1899.

Гульбе, Д.—Дарвинизм и теория мутаций с точки зрения диалектического материализма. «Под Знаменем Марксизма». 1924, № 8—9, стр. 157—168.

Гурев, Г. А. (Гуревич).—Взаимоотношение марксизма и дарвинизма. Приложение к брошюре Ф. Энгельса: «От обезьяны к человеку». Изд. «Гомельский Рабочий». 1922, см. стр. 31—79.

Гурев, Г.—Дарвинизм в свете марксизма. См. Ф. Энгельс.—«От обезьяны к человеку». 3-е издание. «Гомельский Рабочий». 1924, стр. 61.

Гурев, Г. А.—Чему учит дарвинизм. Изд. «Гомельский Рабочий». Гомель 1924, стр. 77.

Гурев, Г. А. (Гуревич).—Дарвинизм и марксизм. Популярные очерки. Изд. «Гомельский Рабочий». 1924, стр. 264.

Гурев, Г. А.—Дарвинизм и марксизм. Изд. 2-е, значительно дополненное. «Гомельский Рабочий». 1925, стр. 420. См. Рец. И. Бугаев. «Под Знаменем Марксизма». 1926, № 9—10. стр. 229—234.

Гредескул, Н. А.—Происхождение и развитие общественной жизни. Том I. Биологические основы социологии. Коммунизм в биологии. Его роль, как фактор эволюции. Изд. «Сеятель». 1925. Рец. 1) Слепков, В.—«Под Знаменем Марксизма». 1925. 3, стр. 252—256. 2) Выдра, Р. «Под Знаменем Марксизма». 1925. № 10—11, стр. 170—182.

Гредескул, Н.—От обезьяны к человеку. «Под Знаменем Марксизма». 1927, № 2—3, стр. 145—177.

Даян, Г.—Рец. на сборн. «Дарвинизм и марксизм», составленный М. Равич-Черкасским. «Спутник Коммуниста». 1923, № 21.

Дицген, И.—Дарвин и Гегель. См. главу IV его очерка: «Экскурсия социалиста в область теории познания». Изд. П. Дауге. СПБ. 1907.

То же под загл. «Теория познания в свете марксизма». Киев. 1907.
То же. В сборн. его статей: «Философия социал-демократии». Пер. под ред. П. Когана. Изд. Скирмунта. М. 1907. Названная глава перепечатана также в сборнике: «Дарвинизм и марксизм». ГИУ. 1923. Стр. 256—278, и 2-е издание ГИУ, стр. 256—277.
То же. В его сборн. «Против идеализма и поповщины», сост. А. Шифриным. ГИЗ. 1926, стр. 130—145. См. рец. Баммеля. «Печ. и Рев.». 1926. № 6, стр. 170—171.
Дине-Днес, И.—Марксизм и новые веяния в естествознании. См. сборн. «Дарвинизм и марксизм». ГИУ. Х. 1923, стр. 169—176.
Дучинский, Ф.—Является ли дарвинизм тихогенезом. «Под Знаменем Марксизма». 1925. № 8—9, стр. 116—125.
Дучинский, Ф.—Дарвинизм и теория мутаций. «Под Знаменем Марксизма». 1925, № 3, стр. 128—139.
Завадовский, Б.—Дарвинизм и марксизм (Доклад и прения). «Вестник Ком. Академии». 1926, № 16, стр. 226—274. (В прениях участвовали: Троповский, В. Слепков, А. Серебровский, Ральцевич, Баммель, В. Рахметов).
Завадовский, Б.—Дарвинизм и ламаркизм и проблема наследования приобретенных признаков. «Под Знаменем Марксизма». 1925, № 10—11, стр. 78—114.
Завадовский, Б.—Дарвинизм и марксизм. ГИЗ. 1926, стр. 112.
Рец. 1) Дучинский, Ф.—«Под Знаменем Марксизма». 1926. № 7—8 стр. 232—235. 2) Васильев, С.—«Печ. и Рев.». 1926. VIII, стр. 175.
Рец. на Б. Завадовский.—Дарвинизм и марксизм. «Летописи марксизма». 1927, № 3, стр. 108—111.
Иванцов, Н.—Новый поход против Дарвина (О Л. Берге). «Красная Новь». 1923. № 3.
Каутский, К.—Этика дарвинизма. См. гл. IV его книги «Этика и материалистическое понимание истории». Пер. Постман. ГИЗ. М. Стр. 43—63. Названная глава вошла также в сборн. «Дарвинизм и марксизм». ГИУ. 1923.
Каутский, К.—Общественные инстинкты в мире животных. «Северный Вестник». 1891. IX. Последние две статьи вошли в его «Очерки и этюды». Изд. Г. Львовича. (1-е изд. СПБ. 1895 и 4-е издание СПБ. 1907). Также выпущены отд. изд. под названием «Общественные инстинкты в мире животных и у людей». Изд. Ком. У-та им. Зиновьева. М. 1922, стр. 90. Об «Очерках и этюдах». См. рец. в «Новом Слове». 1895, стр. 11.
Каутский, К.—Размножение и развитие в природе и обществе. Пер. с рукописи, под ред. Д. Рязанова. ГИЗ. 1921, стр. 193.
То же исправленное и дополн. изд. в виде XII тома Собран. соч. Каутского. ГИЗ. М. 1923, стр. 280.
То же. Пер. под ред. Д. Рязанова. Изд. «Труд». Киев 1910. См. рец. Роз—ова. «Совр. Мир». 1911.
Каутский, К.—Дарвинизм и марксизм. В сборн. «Дарвинизм и марксизм». 2-е доп. изд. ГИУ. 1925, стр. 134—149.
Кидд, Б.—Социальная эволюция. Перевод с пред. Н. Михайловского и проф. Вейсмана. Изд. В. Поповой. СПБ. 1897, стр. 320.
То же. Изд. Ф. Павленкова. СПБ. 1897. Критику см. в статье Кунова «Социальное развитие в биологическом освещении».
Козо-Полянский, Б.—Дарвинизм. Гос. Тимирязевский Научно-Исслед. Институт. Изд. «Северный Печатник». Вологда, 1925, стр. 133.
Рец. в 1) «Печать и Революция». 1926. II. Стр. 209 (С. Васильев); 2) «Под Знаменем Марксизма». 1925, № 12, стр. 199—202 (Ф. Дучинский); 3) «Правда». 1925. 19/XII (Слепков); 4) «Известия ВЦИК» от 5 января 1925 г. (Стар).
Козо-Полянский, Б.—Последнее слово антидарвинизма. «Буревестник». Краснодар 1923, стр. VIII—129. Рец. Иванцов, А. «Печать и Революция». 1924. № 3, стр. 325—326.
Козо-Полянский, Б.—Диалектика в биологии. Пробный очерк контакта эволюционной теории и материалистической диалектики. (По поводу ст. Б. Рожицына.—Дарвинизм и современный марксизм; В. Сарабьянова «Назревший вопрос». Его же «Исторический материализм»). «Буревестник». Ростов/Д.—Краснодар. 1925, стр. 93. Рец. Завадовский, Б.—«Под Знаменем Марксизма». 1925, № 3, стр. 260—262.
Козо-Полянский, Б.—К выяснению некоторых наших позиций в дарвинизме (По поводу рецензий на его книжку: «Дарвинизм». Изд. «Северн. Печ.». 1925). «Диалектика природы». Сб. 2-й, Вологда. 1927. Изд. «Северн. Печатник». Стр. 233—264.

Кунов, Г.—Социальная эволюция в биологическом освещении. В сб. «Дарвинизм и марксизм». 2-е доп. изд. ГИУ. 1925, стр. 97—112.
Кунов, Г.—Дарвинизм против социализма. В сб. «Дарвинизм и марксизм». 2-е доп. издание. ГИУ. 1925. Стр. 207—233.
Кунов, Г.—О книге Л. Бюхнера: «Дарвинизм и социализм». В сб. «Дарвинизм и марксизм». 2-е доп. издание. ГИУ. 1925. Стр. 314—316.
Ланге, Ф.—Рабочий вопрос и его значение в настоящем и будущем. Изд. 2-е. Изд. Павленкова. СПБ. 1907. См. гл. I. «Борьба за существование». Гл. II. «Борьба за привиллегированное положение». Стр. 3—15.
Лафарг, П.—Экономический детерминизм К. Маркса. Под ред. и с пред. Шевердина. Пер. с франц. П. Давыдовой. М. 1923. См. гл. «Естественная и искусственная или социальная среда». Стр. 63—74. Этот отрывок помещен также в сборнике «Исторический материализм». Под ред. Семковского. ГИЗ. М. См. стр. 211—216 по 5-му изд. 1924 г.
Лафарг, П.—Экономика, естествознание и математика. В сборн. «Исторический материализм». Под ред. С. Семковского. См. стр. 113—118 по 5-му изд. ГИЗ. М. 1924.
То же. В журнале «Вестник Знания». 1909. № 5, под назв. «Материалистическ. понимание истории и математика».
То же. Отд. изд. 1906.
Лафарг, П.—Дарвинизм с французской кафедры. В сб. «Дарвинизм и марксизм». 2-е доп. изд. ГИУ. 1925, стр. 234—241.
Левит, С.—Эволюционные теории в биологии и марксизм. «Вестн. Соврем. Медицины». 1925. IX. 15—24.
Лориа, А.—Социальный дарвинизм. «Просвещение». СПБ. 1907.
То же. В сборнике «Дарвинизм и марксизм» под ред. Равич-Черкасского. ГИУ. 1925.
Маркс, К.—Капитал. Том I. Стр. 349 (89-е прим. к XIII главе), 149, 155, 319 (31 примеч. к XII главе), 334—339. Издание Института Маркса и Энгельса, под общей ред. Рязанова и И. Степанова. ГИЗ. М.—П. 1923.
Маркс, К.—Письмо к Лассалю от 16/I—1861 г. См. «Письма Маркса и Энгельса». Изд. 2-е. «Московский Рабочий». М. 1923, стр. 99, и письмо Энгельсу от 22/VI—1867 г. там же, стр. 167.
Маркс, К.—Письмо к Энгельсу (от 18/VI—1862). См. «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса». Том II, стр. 12—15.
Маркс, К.—Письма к Кугельману. Пер. под ред. Ленина. П. ГИЗ. 1920. Стр. 33. (Письмо от 9.X—1866 г., стр. 101 (от 27/VI—1870 г.).
Маркс, К.—Теории прибавочной ценности. Вып. II. 2-е исправ. изд. под ред. М. В. Бернацкого. П. 1923. Изд. Ком. Ун. Зиновьева. Стр. 225—226.
Массарик, Ф.—Философские и социологические основы марксизма. Пер. с немец. П. Николаева. Изд. К. Солдатенкова. М. 1900. Стр. 536. См. стр. 119, 270—271.
Мачинский, В.—О человеческой культуре. Эскиз социологии. Изд. автора. СПБ. Стр. 220.
Некрасов, А.—Борьба за дарвинизм. ГИЗ. 1926. Стр. 163. Рец. М. Гремяцкий. «Печ. и Рев.». 1926. № 4.
Панекук, А.—Марксизм и дарвинизм. В сборн. «Дарвинизм и марксизм». Под ред. Равич-Черкасского. М. ГИУ. 1923. Стр. 55—70.
Паперный, Л.—Проблемы народонаселения с точки зрения марксистской социологии. С приложением ст. проф. М. Гремяцкого «Вопрос о формах борьбы за существование в новой биологической литературе. ГИЗ. 1926. Стр. 181.
Пильчевский, А.—Бессмертное в дарвинизме. «Молодая Гвардия». 1926. № 1, стр. 175—180.
Пинкевич, А.—Дарвинизм и марксизм. «Молодая Гвардия». 1924. № 4.
Плотников, И.—Марксизм и дарвинизм. «Народный университет на дому». 1925. № 1.
Плеханов, Г.—Очерки по истории материализма. Сочинения. Том VIII, стр. 148—157.
Плеханов, Г.—К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. См. том VII, Сочинений ГИЗ. 1923. Стр. 162—167; 316—317.
Плеханов, Г.—Основные вопросы марксизма. Сочинения. ГИЗ. 1925. Том XVIII, стр. 201—202.
Плеханов, Г.—Письма без адреса. Сочинения. Том XIV, стр. 5—11.
Плеханов, Г.—Чернышевский. См. сборн. соч. ГИЗ. Том V, глава «Благотворность борьбы за жизнь». Стр. 240—250.
Попов-Подольский, М.—Современный антидарвинизм и марксизм. «Коммунистическая Мысль». (Киев). 1923. № 6—7.

Ревизия дарвинизма. «Бюллетень литературы и жизни». 1923, № 12 (рецензии книг Л. Берга «Гомогенез», Козо-Полянского—«Последнее слово антидарвинизма» и др.).

Рожицын, В.—Дарвинизм и современный марксизм. См. 1-е изд. сборн. «Дарвинизм и марксизм». Под ред. Равич-Черкасского. ГИУ. 1923. Стр. 231—252. (Во 2-м изд. опущена).

Розанов, Я.—Дарвинизм и марксизм. (Библиография на русском и иностранном языках). См. сборн. «Дарвинизм и марксизм», 2-е доп. изд. ГИУ. 1925. Стр. 317—322.

Сарабьянов. В.—Назревший вопрос. «Спутник Коммуниста». 1923. № 20. См. стр. 215—234.

Семковский, С.—Марксистская хрестоматия. Том I. Изд. 4-е дополненное. ГИУ. 1924. См. стр. 143—175. (Отрывки из Энгельса, Маркса, Плеханова, Лафарга, Тимирязева).

Семковский, С.—Что такое марксизм (Дарвин и Маркс). Изд. «Труд». Харьков 1922. Стр. 48.

То же. 3-е доп. изд. «Путь Просвещения». Х. 1923. Стр. 56. См. рец. А. А.—«Под Знаменем Марксизма». 1922. № 7—8.

Слепков, В.—Марксизм и биология. «Молодая Гвардия». 1927, № 1, стр. 160—178.

Тимирязев, К.—Дарвин и Маркс. См. его сборник статей «Наука и демократия». М. ГИЗ. 1920. Стр. 465—473. Впервые напечатано в журнале «Пролетарская Культура». 1919. № 19. Перепечатано также в сборн. «Карл Маркс—революционер, мыслитель, человек». Изд. «Моск. Рабочий». М. 1923.

То же. В сборн. «Дарвинизм и марксизм». ГИУ. 1923.

Тимирязев, К.—Исторический метод в биологии. Изд. «Русск. Библиогр. Ин-та бр. А. и И. Гранат». 1922. М. Стр. 163. Рец. Кривцов, С.—«Под Знаменем Марксизма». 1922. № 11—12.

Троцкий, Л.—Дарвинизм и марксизм. См. его сборн. статей «Поколение Октября». Изд. «Молодая Гвардия». М. Стр. 55—57. Впервые напечатано в виде письма Всероссийскому с'езду научных работников в «Правде» за 1923 г., № 267 и в «Известиях» за № 269.

Унтерман, Э.—Диалектические этюды. Пер. с нем. под ред. П. Дауге. Изд. П. Дауге. М. 1907, стр. 147. Отрывки из «Диалектических этюдов» под названием «Биологическое и экономическое разделение труда» и «Марксизм, дарвинизм и диалектический монизм», напечат. в сб. «Дарвинизм и марксизм». ГИУ. 1923. См. стр. 98—106.

Унтерман, Э.—Диалектические этюды. Пер. с нем. под ред. П. Дауге. М. 1907. Гл. III (Марксизм, дарвинизм и диалектика).

Ферри, Э.—Коллективизм и позитивная наука (Дарвин, Спенсер, Маркс). Перевод с французского. Изд. «Молот». СПБ. 1905. Стр. 110.

То же. Изд. Корчагиной. М. 1906. (Отрывки напечатаны в сборн. «Дарвинизм и марксизм». ГИУ. Стр. 129—154).

Филиппов, М.—Рец. на книгу Л. Вольтмана: Система морального сознания в связи с отношением критической философии к дарвинизму и социализму. «Научное Обозрение». 1901. № 12.

Шаксель, Ю.—Биологические теории и общественная жизнь. Перевод с нем. Д. Рубинштейна. ГИЗ. 1926. Стр. 89. Рец. М. Левин. «Правда». 1926, № 270, от 21—XI.

Эвелинг, Э.—Дарвин и Маркс. Перевод с нем. Изд. Горской. Киев 1905. Стр. 27. (Впервые напечатано в «Научном Обозрении». 1897. № 10).

То же. Перепечатано в сборнике «Дарвинизм и марксизм». ГИЗ. 1923.

То же. В журнале «Спутник Коммуниста». 1923. № 20.

Энгель, Е. А.—Очерки материалистической социологии. Изд. Л. Френкель. М. 1923. См. очерк первый. «Материалистическая биология и материалистическая социология». Глава «Соотношение дарвинизма и марксизма». Стр. 51—60.

Энгельс, Ф.—Письмо Ланге. 29 III—1866 г. См. Маркс и Энгельс. Письма. 2-е издание «Моск. Рабочий». М. 1923. Стр. 139—141 и письмо Марксу от 16/VI—1867. Там же, стр. 165.

Энгельс, Ф.—Анти-Дюринг. Изд. 3-е, исправл. М. Е. Ландау. Изд. «Моск. Рабочий». М. 1923. См. стр. 40, 80—89.

Энгельс, Ф.—Речь над могилой К. Маркса в Гайгете 17 марта 1883 г. Напечатано в сборн. «Карл Маркс революционер, мыслитель, человек». Изд. «Моск. Рабочий». М. 1923. См. стр. 37—40.

Энгельс, Ф.—Предисловие к нем. изданию «Коммунистического манифеста» 1883 года. См. «Коммунистический манифест». Изд. Ин-та К. Маркса и Ф. Энгельса. ГИЗ, 1923. См. стр. 49.

Энгельс, Ф.—Л. Фейербах. Перевод и предисловие Г. Плеханова. Изд. «Красная Новь». 1923. Стр. 64—65.

Энгельс, Ф.—Труд, как фактор эволюции в процессе развития от обезьяны к человеку. См. приложение к его «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Пер. Цедербаума, под ред. Рязанова. Изд. «Московский Рабочий». М. 1923. См. стр. 169—180. Вошло также в «Диалектику природы» Энгельса. Архив Маркса и Энгельса. Том II. ГИЗ. 1925. См. также стр. 41, 47, 63, 89, 91, 99, 109, 147, 165, 171, 195, 219, 379.

3. Теория мутаций Гуго де-Фриз и марксизм.

Великанов, И. М.—Теория мутаций в биологии. См. сб. «Медицина и диалектический материализм». Изд. 1. Московск. госуд. унив. М. 1926. Стр. 33—40.

Иванцов, Н. А.—Дарвинизм и менделизм. Изд. «Северный Печатник». Вологда 1926. Стр. 46. (О мутационной теории Де-Фриза).

Гульбе, Д.—Дарвинизм и теория мутаций с точки зрения диалектического материализма. «Под Знаменем Марксизма». 1924. № 8—9, 157—168.

Дучинский, Ф.—Дарвинизм и теория мутаций. «Под Знаменем Марксизма». 1925. № 3, 128—139.

Коршиков, А. А.—Эволюционные теории в историческом изложении. Изд. «Путь Просвещения». 1924. Стр. 187.

Козо-Полянский, Б. М.—Новый принцип биологии. Изд. «Пучина». Л. 1924. Стр. 147.

Левит, С. Г.—Эволюционные теории в биологии и марксизм. См. сб. «Медицина и диалектический материализм». Издание 1 Московск. госуд. унив. М. 1926. Стр. 15—32.

Плеханов, Г.—К вопросам о превращении видов. Год на родине. Полное собрание статей и речей. 1917—18. В двух томах. Том II, стр. 86—88. (Впервые «Единство»), № 112 от 10/VIII—1917 г. (О теории Гуго де-Фриза).

Плеханов, Г.—Основные вопросы марксизма. Соч. т. XVIII. ГИЗ. 1925. Стр. 202.

Сарабьянов, В.—Назревший вопрос. «Спутник Коммуниста». 1923. № 20. Стр. 215—234.

Сухов, А.—Революция и эволюция в естествознании. ГИЗ. Одесса. 1922. Стр. 108 и 2-е изд ГИЗ. 1924.

4. Рефлексология и марксизм.

Бехтерев, В. М., академик.—Психология, рефлексология и марксизм. Изд. Гос. Рефлексолог. ин-та по изучению мозга. 1925, стр. 80. Рец. в «Книгоноше». 1926. № 8.

Бехтерев, В. М., академик и д-р Дубровский.—Диалектический материализм и рефлексология. «Под Знаменем Марксизма». 1926, № 7—8, Стр. 69—94.

Бирман, Б.—Гипнотизм в свете учения об условных рефлексах. «Вест. Ком. Акад.». 1926. № 15. Стр. 135—154.

Васильев, С.—К характеристике механического материализма «Диалектика природы». Сб. 2-й. Стр. 32—48 (Гольбах и Бехтерев), изд. «Северный Печатник». Вологда, 1927.

Беликовский, М.—Победа материализма. (О работах академика Пав-
Марр, Н.—К вопросу о первобытном мышлении в связи с языком в
лова). «Спутник Коммуниста». 1923. № 23.
освещении А. А. Богданова. «Вестник Ком. Академии». 1926. № 16. 133—139 (По поводу статьи А. Богданова «Учение о рефлексах и загадки первобытного мышления» в «Вестнике Ком. Акад.». 1925, № 10).

Невский, В.—Современное естествознание и материализм Маркса и Энгельса («Философия науки» под ред. А. К. Тимирязева и его же «Кинетическая теория материи»; акад. И. М. Павлова «Двадцатилетний опыт об'ективного изучения высшей нервной деятельности животных»). «Под Знаменем Марксизма». 1923. № 2—3, стр. 133—152.

Невский, В.—Хорошие работы естественников и нехорошие выводы из них. «Воинствующий Материалист». 1925. Сборн. № 3, стр. 19—30 (О сборнике, посвященном 75-летию академика И. Павлова).

Рахман, Д.—Джон Локк. С пред. Л. Аксельрод (Ортодокс). Изд. «Червоний Шлях». 1924. Стр. 182.

Рейснер, М.—Рефлексы Павлова и идеология Маркса. «Октябрь Мысли». 1924. № 5—6.

Ревизия дарвинизма. «Бюллетень литературы и жизни». 1923, № 12 (рецензии книг Л. Берга «Гомогенез», Козо-Полянского—«Последнее слово антидарвинизма» и др.).

Рожицын, В.—Дарвинизм и современный марксизм. См. 1-е изд. сборн. «Дарвинизм и марксизм». Под ред. Равич-Черкасского. ГИУ. 1923. Стр. 231—252. (Во 2-м изд. опущена).

Розанов, Я.—Дарвинизм и марксизм. (Библиография на русском и иностранном языках). См. сборн. «Дарвинизм и марксизм». 2-е доп. изд. ГИУ. 1925. Стр. 317—322.

Сарабьянов, В.—Назревший вопрос. «Спутник Коммуниста». 1923. № 20. См. стр. 215—234.

Семковский, С.—Марксистская хрестоматия. Том I. Изд. 4-е дополненное. ГИУ. 1924. См. стр. 143—175. (Отрывки из Энгельса, Маркса, Плеханова, Лафарга, Тимирязева).

Семковский, С.—Что такое марксизм (Дарвин и Маркс). Изд. «Труд». Харьков 1922. Стр. 48.

То же. 3-е доп. изд. «Путь Просвещения». X. 1923, Стр. 56. См. рец. А. А.—«Под Знаменем Марксизма». 1922. № 7—8.

Слепков, В.—Марксизм и биология. «Молодая Гвардия». 1927, № 1, стр. 160—178.

Тимирязев, К.—Дарвин и Маркс. См. его сборник статей «Наука и демократия». М. ГИЗ. 1920. Стр. 465—473. Впервые напечатано в журнале «Пролетарская Культура». 1919. № 19. Перепечатано также в сборн. «Карл Маркс—революционер, мыслитель, человек». Изд. «Моск. Рабочий». М. 1923.

То же. В сборн. «Дарвинизм и марксизм». ГИУ. 1923.

Тимирязев, К.—Исторический метод в биологии. Изд. «Русск. Библиогр. Ин-та бр. А. и И. Гранат». 1922. М. Стр. 163. Рец. Кривцов, С.—«Под Знаменем Марксизма». 1922. № 11—12.

Троцкий, Л.—Дарвинизм и марксизм. См. его сборн. статей «Поколение Октября». Изд. «Молодая Гвардия». М. Стр. 55—57. Впервые напечатано в виде письма Всероссийскому с'езду научных работников в «Правде» за 1923 г., № 267 и в «Известиях» за № 269.

Унтерман, Э.—Диалектические этюды. Пер. с нем. под ред. П. Дауге. Изд. П. Дауге. М. 1907, стр. 147. Отрывки из «Диалектических этюдов» под названием «Биологическое и экономическое разделение труда» и «Марксизм,' дарвинизм и диалектический монизм», напечат. в сб. «Дарвинизм и марксизм». ГИУ. 1923. См. стр. 98—106.

Унтерман, Э.—Диалектические этюды. Пер. с нем. под ред. П. Дауге. М. 1907. Гл. III (Марксизм, дарвинизм и диалектика).

Ферри, Э.—Коллективизм и позитивная наука (Дарвин, Спенсер, Маркс). Перевод с французского. Изд. «Молот». СПБ. 1905. Стр. 110.

То же. Изд. Корчагиной. М. 1906. (Отрывки напечатаны в сборн. «Дарвинизм и марксизм». ГИУ. Стр. 129—154).

Филиппов, М.—Рец. на книгу Л. Вольтмана: Система морального сознания в связи с отношением критической философии к дарвинизму и социализму. «Научное Обозрение». 1901. № 12.

Шаксель, Ю.—Биологические теории и общественная жизнь. Перевод с нем. Д. Рубинштейна. ГИЗ. 1926. Стр. 89. Рец. М. Левин. «Правда». 1926, № 270, от 21—XI.

Эвелинг, Э.—Дарвин и Маркс. Перевод с нем. Изд. Горской. Киев 1905. Стр. 27. (Впервые напечатано в «Научном Обозрении». 1897. № 10).

То же. Перепечатано в сборнике «Дарвинизм и марксизм». ГИЗ. 1923.

То же. В журнале «Спутник Коммуниста». 1923. № 20.

Энгель, Е. А.—Очерки материалистической социологии. Изд. Л. Френкель. М. 1923. См. очерк первый. «Материалистическая биология и материалистическая социология». Глава «Соотношение дарвинизма и марксизма». Стр. 51—60.

Энгельс, Ф.—Письмо Ланге. 29 III—1866 г. См. Маркс и Энгельс. Письма. 2-е издание «Моск. Рабочий». М. 1923. Стр. 139—141 и письмо Марксу от 16/VI—1867. Там же, стр. 165.

Энгельс, Ф.—Анти-Дюринг. Изд. 3-е, исправл. М. Е. Ландау. Изд. «Моск. Рабочий». М. 1923. См. стр. 40, 80—89.

Энгельс, Ф.—Речь над могилой К. Маркса в Гайгете 17 марта 1883 г. Напечатано в сборн. «Карл Маркс—революционер, мыслитель, человек». Изд. «Моск. Рабочий». М. 1923. См. стр. 37—40.

Энгельс, Ф.—Предисловие к нем. изданию «Коммунистического манифеста» 1883 года. См. «Коммунистический манифест». Изд. Ин-та К. Маркса и Ф. Энгельса. ГИЗ. 1923. См. стр. 49.

Энгельс, Ф.—Л. Фейербах. Перевод и предисловие Г. Плеханова. Изд. «Красная Новь». 1923. Стр. 64—65.

Энгельс, Ф.—Труд, как фактор эволюции в процессе развития от обезьяны к человеку. См. приложение к его «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Пер. Цедербаума, под ред. Рязанова. Изд. «Московский Рабочий». М. 1923. См. стр. 169—180. Вошло также в «Диалектику природы» Энгельса. Архив Маркса и Энгельса. Том II. ГИЗ. 1925. См. также стр. 41, 47, 63, 89, 91, 99, 109, 147, 165, 171, 195, 219, 379.

3. Теория мутаций Гуго де-Фриз и марксизм.

Великанов, И. М.—Теория мутаций в биологии. См. сб. «Медицина и диалектический материализм». Изд. 1. Московск. госуд. унив. М. 1926. Стр. 33—40.

Иванцов, Н. А.—Дарвинизм и менделизм. Изд. «Северный Печатник». Вологда 1926. Стр. 46. (О мутационной теории Де-Фриза).

Гульбе, Д.—Дарвинизм и теория мутаций с точки зрения диалектического материализма. «Под Знаменем Марксизма». 1924. № 8—9, 157—168.

Дучинский, Ф.—Дарвинизм и теория мутаций. «Под Знаменем Марксизма». 1925. № 3, 128—139.

Коршиков, А. А.—Эволюционные теории в историческом изложении. Изд. «Путь Просвещения». 1924. Стр. 187.

Козо-Полянский, Б. М.—Новый принцип биологии. Изд. «Пучина». Л. 1924. Стр. 147.

Левит, С. Г.—Эволюционные теории в биологии и марксизм. См. сб. «Медицина и диалектический материализм». Издание 1 Московск. госуд. унив. М. 1926. Стр. 15—32.

Плеханов, Г.—К вопросам о превращении видов. Год на родине. Полное собрание статей и речей. 1917—18. В двух томах. Том II, стр. 86—88. (Впервые «Единство»), № 112 от 10/VIII—1917 г. (О теории Гуго де-Фриза).

Плеханов, Г.—Основные вопросы марксизма. Соч. т. XVIII. ГИЗ. 1925. Стр. 202.

Сарабьянов, В.—Назревший вопрос. «Спутник Коммуниста». 1923. № 20. Стр. 215—234.

Сухов, А.—Революция и эволюция в естествознании. ГИЗ. Одесса. 1922. Стр. 108 и 2-е изд ГИЗ. 1924.

4. Рефлексология и марксизм.

Бехтерев, В. М., академик.—Психология, рефлексология и марксизм. Изд. Гос. Рефлексолог. ин-та по изучению мозга. 1925, стр. 80. Рец. в «Книгоноше». 1926. № 8.

Бехтерев, В. М., академик и д-р Дубровский.—Диалектический материализм и рефлексология. «Под Знаменем Марксизма». 1926, № 7—8, Стр. 69—94.

Бкрман, Б.—Гипнотизм в свете учения об условных рефлексах. «Вест. Ком. Акад.». 1926. № 15. Стр. 135—154.

Васильев, С.—К характеристике механического материализма «Диалектика природы». Сб. 2-й. Стр. 32—48 (Гольбах и Бехтерев), изд. «Северный Печатник». Вологда, 1927.

Белинковский, М.—Победа материализма. (О работах академика Павлова). «Спутник Коммуниста». 1923. № 23.

Марр, Н.—К вопросу о первобытном мышлении в связи с языком в освещении А. А. Богданова. «Вестник Ком. Академии». 1926. № 16. 133—139 (По поводу статьи А. Богданова «Учение о рефлексах и загадки первобытного мышления» в «Вестнике Ком. Акад.». 1925, № 10).

Невский, В.—Современное естествознание и материализм Маркса и Энгельса («Философия науки» под ред. А. К. Тимирязева и его же «Кинетическая теория материи»; акад. И. М. Павлова «Двадцатилетний опыт об'ективного изучения высшей нервной деятельности животных»). «Под Знаменем Марксизма». 1923. № 2—3, стр. 133—152.

Невский, В.—Хорошие работы естественников и нехорошие выводы из них. «Воинствующий Материалист». 1925. Сборн. № 3, стр. 19—30 (О сборнике, посвященном 75-летию академика И. Павлова).

Рахман, Д.—Джон Локк. С пред. Л. Аксельрод (Ортодокс). Изд. «Червоний Шлях». 1924. Стр. 182.

Рейснер, М.—Рефлексы Павлова и идеология Маркса. «Октябрь Мысли». 1924. № 5—6.

Рейснер, М.—Проблемы социальной психологии. Изд. «Буревестник». 1925. Стр. 135.

Франкфурт, Ю. Г. И. Четманов в роли «марксиста»-психолога. «Правда». 1926, № 246, от 24—Х.

Франкфурт, Ю.—Рефлексология и марксизм. ГИЗ. Л. Стр. 79. Рец. Васильев, С. «Печать и Революция». 1925. № 1. Стр. 240—241.

Франкфурт, Ю. В.—Рефлексология и марксизм. Я. Физиологическое направление. Историко-критический анализ учений И. М. Сеченова и И. П. Павлова. ГИЗ. 1926, стр. 185.

Челпанов, Г.—Психология или рефлексология. Изд. «Русский Книжник». М. 1926. Стр. 58.

Чучмарев, З. И.—Рефлексология, как отдел науки о поведении человека. Сборн. «Психология и марксизм», под ред. Н. Корнилова. ГИЗ. 1925. Стр. 199—221.

5. Теория относительности Эйнштейна и диалектический материализм.

Богданов, А.—Об'ективное понимание принципа относительности. (Методологические тезисы). «Вестник Ком. Академии». 1924. № 8, 332—347.

Вихерт, Э. Теория относительности и релятивизм, с предисловием З. Ц. «Под Знаменем Марксизма». 1926. № 4—5.

Г. Е. (Гессен и Егоршин).—V с'езд физиков. «Под Знам. Маркс.». 1927, № 1, стр. 141.

Гессен, Б. и Егоршин, В.—Об отношении т. Тимирязева к современной науке. «Под Знам. Маркс.» 1927 № 2—3, стр. 188—198.

Гессен, Б. и Егоршин, В. Рец. на сборник № 2 «Диалектика в природе». «Под Знам. Маркс.». 1927, № 2—3, стр. 211—225.

Гольцман, А.—Эйнштейн и материализм (Ответ тов. А. К. Тимирязеву). «Под Знаменем Марксизма». 1924. № 1, 114—126.

Гольцман, А.—Наступление на материализм. «Под Знаменем Марксизма». 1923. № 1. 88—101.

Дейтон-Миллер.—Опыты с эфирными ветрами на горе Вильсон. «Воинствующий Материалист». Сборн. № 5, стр. 252—262.

Дейтон-Миллер.—Смысл опытов с эфирным ветром, произведенных в 1925 г. на горе Вильсон. «Под Знаменем Марксизма». 1926. № 11, 91—109.

Максимов, А.—Теория относительности и материализм. «Под Знаменем Марксизма». 1923. № 4—5, 104—156.

Максимов, А.—Современное состояние дискуссии о принципе относительности в Германии. «Под Знаменем Марксизма». 1923. № 1, 101—119.

Максимов, А.—Еще о популярно-научной литературе о принципе относительности. «Под Знаменем Марксизма». 1922. № 11—12, 122—141.

Максимов, А.—О принципе относительности А. Эйнштейна. «Под Знаменем Марксизма». 1922. № 9—10, 180—208.

Максимов, А.—Популярно-научная литература о принципе относительности. «Под Знам. Маркс.», 1922. № 7—8, 170—182.

Материалист.—Больше ясности, маэстро. «Воинствующий Материалист». 1925. Сб. № 3, стр. 294—296. (По поводу «Этюды по философии марксизма» Семковского).

Орлов, И.—Новые вариации на старую тему. «Воинствующий Материалист». Сб. № 2, стр. 294—307 (Об Эйнштейне).

Рудаев, Б.—На путях к материализму XX века (Маркс и Аристотель. Маркс и Эйнштейн). Харьков 1927. Стр. 70.

То же. В «Наукові записки праці науководослідчої катедри історії европейської культури). ДВУ. 1927. Стр. 1—70.

Сапир. И. Рефлексология и марксизм. «Вести. Соврем. Медицины». 1925. 1. 27—28.

Семковский, С.—Этюды по философии марксизма. М. ГИЗ. 1925. Рец. Луппол, И. «Печать и Революция». 1925. № 3, 242—243.

Семковский, С.—Теория относительности и материализм. ГИЗ. 1924. Стр. 65.

Семковский, С.—К спору в марксизме о теории относительности. «Под Знаменем Марксизма». 1925. № 8—9, 126—169.

Семковский, С.—Диалектический материализм и принцип относительности. ГИЗ. 1926. Стр. 225. Рец. 1) Цейтлин, З. «Под Знаменем Марксизма». 1926. № 4—5, 220—226. 2) «Книгоноша». 1926. № 23—24. 3) «Летописи марксизма». № 2. ГИЗ. 1927. Стр. 129—131. 4) Э. Лепинь. «Правда». 1926, № 117 от 23—V.

Стуков, Ин.—В чем суть моих возражений (Ответ тов. Максимову). «Под Знаменем Марксизма». 1923. № 6—7, 249—254 (По поводу статьи Максимова «Теория относительности и материализм»).

Стуков, Ин.—В плену у релятивизма. «Под Знаменем Марксизма». 1923. № 4—5, 132—139. (По поводу статьи А. Максимова «О принципе относительности А. Эйнштейна»).

Тальгеймер, А.—О некоторых основных понятиях теории относительности с точки зрения диалектического материализма (По поводу немецк. издания «Материализма и эмпириокритицизма Н. Ленина). Перевод Б. Семенченко и Я. Виткинда. «Под Знаменем Марксизма». 1925. № 1—2, 75—102.

Теория относительности и ее философское истолкование. Сборник статей М. Шлика, В. Базарова, А. Богданова и П. Юшкевича. Изд. «Мир». 1923.

Теория относительности и материализм. Сборник статей 1925 г. ГИЗ. М. Л. Стр. 278.

Содержание: И. Орлов. Задачи диалектического материализма в физике. М. Планк.—Возникновение и постепенное развитие теории «квант». А. Тимирязев.—Принцип относительности. А. Гольцман.—Наступление на материализм. А. Тимирязев.—Несколько замечаний по поводу наступления на материализм тов. Гольцмана. А. Гольцман.—Эйнштейн и материализм. А. Тимирязев.—Эйнштейн, материализм и тов. Гольцман. И. Орлов.—Существует ли актуальная бесконечность. И. Орлов.—Классическая физика и релятивизм. З. Цейтлин.—Теория относительности А. Эйнштейна и диалектический материализм.

См. рец. С. Васильева. «Печ. и Рев.». 1925. № 8.

*Тимирязев, А.—Принцип относительности. «Красная Новь». 1921. II.

*Тимирязев, А.—Опровергает ли принцип относительности материализм. См. сборн. «Материализм и естествознание». Под ред. А. Тимирязева. М. 1923. Стр. 3—17. Изд. «Новая Деревня».

Тимирязев, А.—Обзор популярной литературы о принципе относительности. «Красная Новь». 1921, № 4, стр. 285—289.

*Тимирязев, А.—Несколько замечаний по поводу наступления на материализм тов. Гольцмана. «Под Знаменем Марксизма». 1923, № 6—7, 228—244.

*Тимирязев, А.—Эйнштейн, материализм и тов. Гольцман. Ответ на ответ. «Под Знаменем Марксизма». 1924. № 1, 127—135.

Тимирязев, А.—По поводу статьи П. Хейля. «Под Знаменем Марксизма». 1924. № 4—5, 92—93.

*Тимирязев, А.—Теория относительности Эйнштейна и махизм. «Вестник Ком. Академии». 1924. № 7. 337—378.

*Тимирязев, А.—Теория относительности Эйнштейна и диалектический материализм. «Под Знаменем Марксизма». 1924. № 8—9, 142—157; № 10—11, 93—114.

*Тимирязев, А.—Ответ на возражение тов. Цейтлина (По поводу теории Эйнштейна). «Под Знаменем Марксизма». 1924. № 12, 168—173. Статьи, отмеченные звездочкой, вошли в его сб. статей: «Естествознание и диалектический материализм». Изд. «Материалист». М. 1925.

Тимирязев, А.—Ответ тов. Семковскому. «Под Знаменем Марксизма». 1925. № 8—9. 170—190.

Тимирязев, А.—Новая неудачная попытка примирить теорию относительности с диалектическим материализмом. «Воинствующий Материалист». 1925. Сб. № 4, стр. 243—253. (По поводу статьи Тальгеймера «О некоторых основных понятиях теории с точки зрения диалектического материализма».

Тимирязев, А.—«Диалектика природы» Энгельса и современная физика. Опыты, опровергающие принцип относительности. «Воинствующий Материалист». Сб. № 5. 1925. М. Стр. 235, 251—252.

Тимирязев, А.—Опыты, опровергающие принцип относительности. (По поводу ст. Дейтон-Миллера). «Воинствующий Материалист». Сб. № 5. М. 1925, стр. 252.

Тимирязев, А.—По поводу статьи Дейтон-Миллера. «Под Знаменем Марксизма». 1926. № 11, 88—90.

Тимирязев, А. По поводу дискуссии об опытах Дейтон-Миллера на V съезде русских физиков. «Под Знам. Маркс.». 1927, № 2—3, стр. 178—187. См. отв. Б. Гессена и В. Егоршина: «Об отношениях т. Тимирязева к современной науке», там же, стр. 188—199.

Фесенко, В.—Астрономические доказательства принципа относительности. «Вестник Ком. Академии». 1925. № 13, 200—216.

Фредерикс, В. К. и Фридман, А. А.—Основы теории относительности. Вып. I. Тензориальное исчисление. Изд. «Академия». Л. 1924. Стр. 166. Рец. Орлов, И. «Под Знаменем Марксизма». 1925. № 7, 232—234.

Френкель, Я. И.—Теория относительности. Изд. «Мысль». Л. 1923. Рец. З. Ц. «Под Знаменем Марксизма». 1924. № 10—11, 257—261.

Харазов, Г.—Математическая критика теории относительности. «Вестник Ком. Академии». 1925. № 10, 258—299.

Хара зов, Г.— Малый принцип относительности. «Вестник Ком. Академии». 1925. № 12, 65—326; № 14, 144—162.

Хейль, П.— Здравый смысл теории относительности. (Пер. В. Семенченко). «Под Знаменем Марксизма». 1924. № 4—5, 93—108.

Цейтлин, З.— Несколько возражений А. К. Тимирязеву. «Под Знам. Марксизма». 1924. № 12, 159—167 (По поводу статьи Тимирязева: «Теория относительности Эйнштейна и диалектический материализм»).

Цейтлин, З.—Теория относительности А. Эйнштейна и диалектический материализм. «Под Знаменем Марксизма». 1924. № 3, 77—110; № 4—5, 115—137.

Эйнштейн, А.—О специальной и общей теории относительности. (Общедоступное изложение). 1-е изд. 1921. Стр. 91. Рец. Тимирязев, А. «Под Знаменем Марксизма». 1922. № 1—2, 70—73.

Экспериментальное опровержение принципа относительности Эйнштейна. Предисловие А. Тимирязева. Недавние опыты Дейтон-Миллера и теория относительности. Опыты, определяющие «эфирный ветер», выполненные на горе Вильсон. «Под Знаменем Марксизма». 1925. № 8—9, 190—198.

6. Фрейдизм и марксизм.

Баммель, Г.—Философский метод Ленина и некоторые черты современного ревизионизма. «Воинствующий Материалист». 1924. Сб. № 2, стр. 250—261 (О фрейдизме).

Баммель, Г.—В ответ тов. Варьяшу. «Воинствующий Материалист». Сб. № 3. М. 1925. Стр. 322—239 (О фрейдизме).

Быховский, Б.—О методологических основаниях психо-аналитического учения Фрейда. «Под Знаменем Марксизма». 1923. № 11—12, 158—177.

Быховский, Б.—Генеономическое воззрения Фрейда. «Под Знаменем Марксизма». 1926. № 9—10. 178—194.

Быховский, Б.—Метапсихология Фрейда. Минск. 1926. Стр. 40.

Варьяш, А.—История, философии и марксистская философия истории. «Вестник Ком. Академии». 1924. № 9, 280—302, 306—318 (О фрейдизме).

Варьяш, А.—По поводу одного новейшего переворота. «Воинствующий Материалист». № 3, М. 1925. Стр. 310—316. Ответ на ст. Г. Баммеля «Философский метод Ленина и некоторые черты современного ревизионизма». (О фрейдизме).

Варьяш, А.—Фрейдизм и его критика с точки зрения марксизма. См. сборник «Диалектика в природе». № 1. Изд. «Северный Печатник». Вологда 1926. Стр. 28—61.

Воронский, А.—Фрейдизм и искусство. «Красная Новь». 1925. № 7, стр. 241—261.

Виттельс, Ф.—Фрейд и его личность и школа. Л. Гиз. 1925. Стр. 198. Рец. В. Переверзев. «Печать и Революция». 1926. № 1, 203—204.

Григорьев, И.—Психоанализ как метод исследования художественной литературы. «Красная Новь». 1925. № 7, стр. 224—240.

Джемсон, Лестер и коллегия «Плебс». Очерк марксистской психологии. Пер. с 4-го англ. изд. под ред. и предисловием М. Рейснера. Изд. «Современные Проблемы». М. 1924. См. рец. Н. Карева. «Под Знаменем Марксизма». 1925. № 7, стр. 228—232.

Деборин, А.—Фрейдизм и социология. «Воинствующий Материалист». Сб. № 4. М. 1925. Стр. 3—39.

Залкинд, А.—Очерки культуры революционного времени. М. 1924. Изд. «Работник Просвещения». См. ст. «Фрейдизм и марксизм». См. рец. И. Вайнштейна. «Под Знаменем Марксизма». 1924. IV—V. 297—300.

Залкинд, А.—Фрейдизм и марксизм. «Красная Новь». 1924. № 4.

Лурия, А. Г.—Психоанализ как система монистической психологии. См. сб. «Психология и марксизм», под ред. К. Корнилова. ГИЗ. 1925. Стр. 47—80. (О фрейдизме).

Малис, Г.—Психоанализ коммунизма с предисл. проф. К. И. Платонова. Изд. «Космос». 1924. Стр. 85. См. рец. Н. Карева. «Большевик». 1924. № 14, 122—127.

Рейснер, М.—Фрейд и его школа о религии. «Печать и Революция». 1924. № 1, 40—60; № 3, 81—106.

Рейснер, М.—Условная символика, как социальный раздражитель. «Вестн. Ком. Акад.». 1924. IX. 175—197.

Рейснер, М.—Предисловие к книге Джемсона. «Очерк марксистской психологии». М. 1924.

Рейснер, М.—Проблема психологии в теории исторического материализма. Доклад и прения в Соц. Акад. «Вест. Соц. Акад.». 1923. III. 210—255.

Рейснер, М.—Вступительная статья: «Фрейд и буржуазная идеология» к книге Ф. Вительса. «Фрейд и его личность и школа». ГИЗ. 1925.

Рейснер, М.—Социальная психология и учение Фрейда. «Печать и Революция». 1925. № 4, 88—100; № 5—6, 133—150. Перечисленные статьи Рейснера переработаны в его книжку: «Проблемы социальной психологии». Изд. «Буревестник». Ростов/Дон. 1925. Стр. 135.

Сапир, И. Д.—Фрейдизм и его марксистская оценка. «Молодая Гвардия». 1925. № 1, 113—131.

Сапир, И.—Фрейдизм и марксизм. «Под Знаменем Марксизма». 1926. № 11, 59—87.

Сапир, И.—Фрейдизм и марксизм. В № 2 сборника. «Медицина и диалектический материализм». Изд. «Ком. Акад.». 1927, стр. 49—82.

Фридман, Б.—Основные психологические воззрения Фрейда и теория исторического материализма. См. сборн. «Психология и марксизм». Под ред. Корнилова. ГИЗ. 1925. Стр. 113—159.

Фриче, В.—Фрейдизм и искусство. (Доклад и прения). «Вестник Ком. Академии». 1925. № 12, 236—264.

Фриче, В.—Зигмунд Фрейд и Леонардо да-Винчи. «Воинствующий Материалист». № 3. М. 1925.

Фриче, В.—Фрейдизм и искусство. «На литератур. посту». 1927. № 4, стр. 3—7.

Шиллер, Ф.—Марксизм, психоанализ и искусство. «Вест. Ком. Академии». 1926. XVIII. 244—257. (О книге Роланд-Гольст «О жизни и красоте»).

Юринец, В.—Фрейдизм и марксизм. «Под Знаменем Марксизма». 1924. № 8—9, 51—93.

7. Биологическая теория Енчмена и ее марксистская критика.

Бухарин, Н.—Енчменнада, ГИЗ, 1923. Стр. 72.

То же в его сборнике статей: «Атака». ГИЗ. 1924. Стр. 128—170. (Впервые в «Красной Нови»). 1923. VI. См. рец. Н. Карева. «Большевик». 1924. № 1, стр. 141—143.

Гирининс, С.—Марксизм дыбом. «Спутник Коммуниста». 1923. № 23, 117—138.

Енчмен, Э.—Теория новой биологии и марксизм. Вып. 1. Изд. «Вулкан». П. 1923. Стр. 6—82. Рец. 1) Вайнштейн, И. «Под Знаменем Марксизма». 1923. № 4—5. 285—293. 2) Баммель, Г. «Печать и Революция». 1924. VI. Стр. 225—226.

Енчмен, Э.—Восемнадцать тезисов о «Теории новой биологии». Пятигорск. 1920. Стр. 53.

Карев, Н.—Енчменнада (О кн. Н. Бухарина «Енчменнада»). «Большевик». 1924. № 1, стр. 141—143.

Копп, В.—О неслыханных открытиях тов. Енчмена. «Молодая Гвардия». 1923. № 3.

Очередное извращение марксизма. О теории Енчмена. Сборник статей, под ред. С. Гирининса. «Новая Москва». 1924. Стр. 143. Содержание. 1. «Введение». 2. Л. Ческис. Непроизводительный труд. В. Копп. Неслыханное открытие тов. Енчмена. 4. Гирининс. Марксизм дыбом. 5. В. Сарабьянов. Хлестаковщина или наивность. Рец. Сапожников, П.—«Под Знаменем Марксизма». 1924. № 8—9. 293—299.

Сарабьянов, В.—Енчменизм. «Спутник Коммуниста». 1924. № 27, 245—272.

Сарабьянов, В.—Исторический материализм. Изд. 8-е. «Московский Рабочий». М. 1926. См. «Против тов. Енчмена». Стр. 164—187.

Самойлов, А.—Детская болезнь «левизны» в материализме. Изд. «Прибой». Л. 1926. Стр. 215—240. Гл. 15—16. (Об Енчмене).

8. Общие вопросы естествознания.

Агол, И.—Метафизика и диалектика в биологии. «Под Знаменем Марксизма». 1926. № 3. 118—150.

Агол, И. Диалектический метод и эволюционная теория. ГИЗ. 1927. Стр. 96.

Адлер, Ф.—Диалектический материализм и эмпириокритицизм (Ф. Энгельс и естествознание). Сборн. «Исторический материализм». Сост. С. Семковский. СПБ. 1908. Стр. 351—377 и 5-ое издание 1924.

Барыкин, В. А.—Витализм и материализм в микробиологии. См. сборник «Медицина и диалектический материализм». Изд. I Моск. госуд. унив. М. 1926, стр. 55—107.

Баскин, М.—Проблема народонаселения и марксизм. «Спутник Коммуниста». 1924, № 24, 253—272.

Баскин, М.—К вопросу об определении материи в марксистской литературе. «Спутник Коммуниста». 1924, № 24, 289—294.

Бауэр, Э.—Основные ошибки биологии. «Диалектика в природе». Сб. 2-й. Вологда. 1927. Изд. «Северный Печатник», стр. 211—231.

Бернштейн, Э.—1. Об отношении общественных наук к обществоведению. 2. Необходимость в природе и истории (ответ на ст. Каутского: Бернштейн и материалистическое понимание истории), стр. 309—321. 3. Диалектика и развитие (ответ на ст. Каутского: Бернштейн и диалектика). См. его книгу «Очерк из истории и теории социализма». Пер. С. Штейнберга, Изд. Б. Звонарева. СПБ. 1902.

Боголепова, Л. П.—Лесгафт как материалист и диалектик в биологии. «Московский Медицинский Журнал». 1925. IV. 3—16.

Боссэ, Г.—Естествознание и исторический материализм. «Книгоноша». 1925, № 7 (по поводу «Очерков» исторического материализма Б. Горева).

Боссэ, Г.—Задачи Гос. Тимирязевского Научно-Исследоват. Ин-та изучения и пропаганды естественно-научных основ диалектического материализма, его организация и работа (речь на пленуме Совета). Изд. «Северный Печатник». Вологда. Стр. 34.

Быстрянский, В.—Естествознание в плену у метафизики. «Книга и Революция». 1922, № 9—10, стр. 1—7 (о книгах Костычева, Новикова и Вернадского).

Вайнштейн, И.—Рец. на «Очерки культуры революционного времени» А. Залкинда. «Под Знаменем Марксизма». 1924, № 4—5, 297—300.

Вайнштейн, И.—Марксистская психология и патологический марксизм». «Под Знаменем Марксизма». 1924, № 12, 275—282.

Варьяш, А.—Некоторые проблемы современной физики и диалектический материализм. «Диалектика Природы». Сб. 2-й. Вологда. 1927. Изд. «Северный Печатник». Стр. 49—108.

Васильев, С.—Философия и ее проблемы. Изд. «Прибой». Л. 1927, стр. 116.

Горев, Б.—Очерки исторического материализма. Изд. «Пролетарий». 1925, стр. 235. Рец. Боссэ. «Книгоноша». 1925, № 7.

«Диалектика в природе». Сборник по марксистской методологии естествознания, сборник первый. Гос. Тимирязевск. Научный Исследовательский Институт. «Северный Печатник». Вологда 1926, стр. 154. Содержание: Аросин, Д.—Л. И. Аксельрод-Ортодокс (к 25-летию философской деятельности). А. Варьяш.—Фрейдизм и его критика с точки зрения марксизма. С. Васильев—К проблеме становления. А. Болотников.—А. Пуанкаре и его методология. Рец. П. Сапожникова. «Правда». 1926. № 65 от 21—III.

Диалектика в природе. Сборник 2-й. Содержание: С. Васильев.—К характеристике механического материализма. А. Варьяш.—Некоторые проблемы современной физики и диалектический материализм. И. Орлов.—Механика и диалектика в естествознании. З. Цейтлин.—Закон движения Энгельса. А. Тимирязев.—Диалектика природы Энгельса и современная физика. Э. Бауэр.—Основные ошибки биологии. Б. Козо-Полянский.—К выяснению некоторых наших позиций в дарвинизме. Ф. Перельман, Л. Рубановский и И. Великанов.—Два уклона в марксистской философии. Л. Аксельрод-Ортодокс.—Мой ответ. «Северный Печатник». Вологда, 1926. Рец. Ф. Дучинского. «Известия». 1927. № 63, от 17—III. См. рец. Гессена, Б. и Егоршина, В.—«Под Знам. Маркс.». 1927. № 2—3, стр. 211—225.

Егоршин, В.—К вопросу о политике марксизма в области естествознания. «Под Знаменем Марксизма». 1926, № 7—8, 123—134.

Егоршин, В.—Естествознание и классовая борьба. «Под Знаменем Марксизма». 1926, № 6, стр. 108—136.

Егоршин, В.—Современное естествознание и марксизм. «Молодая Гвардия». 1926, № 5, стр. 154—164.

Залкинд, А.—Нервный марксизм и паническая критика. «Под Знаменем Марксизма». 1924, № 12, стр. 260—274 (по поводу рец. Вайнштейна на его «Очерки»).

Залманзон, А.—К проблеме конституции человека. См. сборн. «Психология и марксизм». Под. ред. К. Корнилова. ГИЗ. 1925, стр. 81—93.

Капланский, С.—Материализм Жака Леба. Сбор. № 2. «Медицина и диалектический материализм». Изд. «Ком. Акад.». 1927, стр. 179—195.

Кольман, Э.—К вопросу о случайности. «Под Знаменем Марксизма». 1926, № 6, 153—157.

Корнилов, К.—Наивный и диалектический материализм в их отношении к науке о поведении человека. «Проблемы современной психологии». Сборник № 2, под ред. Корнилова. ГИЗ. 1926, стр. 7—19.
Корнилов, К.—Учебник психологии, изложенный с т. зр. диалектического материализма. ГИЗ. 1926, стр. 164. Рец. В. Слепкова. «Правда». 1926, № 102.
Каразов, И.—Учение о доминанте в оценке диалектического материализма. «Под Знаменем Марксизма». 1926, № 9—10, 108—138.
Луппол, И.—Несколько слов об иррациональном методе в истории философии. «Воинствующий Материалист». Сб. № 3, М. 1925 (о статье З. Цейтлина: «Рациональный и формальный диалектический метод»).
Луппол, И.—Ленин и философия. ГИЗ. 1927, см. стр. 47—60.
Максимов, А.—К вопросу о диалектике в истории естествознания. «Под Знаменем Марксизма». 1924, № 4—5, 138—159, № 7, 97—122.
Максимов, А.—О задачах марксизма в области естествознания. «Молодая Гвардия». 1926, № 9, 125—135.
Маркс, К.—Письмо Энгельсу от 28/I—1863 г., см. Маркс и Энгельс. Письма. Пер. под ред. Адоратскго. 2-е изд. «Моск. Раб.». 1923, стр. 106—109.
«Материализм в естествознании». Сб. статей под ред. Тимирязева. Изд. «Новая Деревня». М. 1923, стр. 70.
Невский, В.—Марксизм и естествознание. «Под Знаменем Марксизма». 1923, № 11—12, 204—213.
Орлов, И.—Теория случайности и диалектика (по поводу статьи Э. Кольмана). «Под Знаменем Марксизма». 1926, № 9—10, 195—201.
Орлов, И.—Логика нормальная, естественнонаучная и диалектика. «Под Знаменем Марксизма». 1924, № 6—7, 69—90.
Орлов, И.—О принципе научного об'яснения явлений. «Воинствующий Материалист». Сб. № 3, М. 1925, стр. 277—293 (о ст. З. Цейтлина «Рациональный и формальный диалектический материализм»).
Орлов, И.—Диалектика эксперимента. «Вестник Социалистической Академии». 1925, № 6, 107—115.
Орлов, И.—Здравый смысл и его идеолог (по поводу работы проф. Боричевского). «Под Знаменем Марксизма». 1925, № 1—2, 52—60.
Павлович, М.—Теория рас с точки зрения историч. материализма. «Молодая Гвардия». 1923, № 2.
Пинкевич.—Естествознание, педагогика и марксизм. 2-е изд. ГИЗ. 1925, стр. 94. Рец. Э. Кольман. «Спутник Коммуниста». 1925, № 3, стр. 123—124.
Плеханов, Г.—О книге Л. Мечникова: Цивилизация и великие исторические реки. Сочинения. Т. VII, стр. 17—30.
Плеханов, Г.—О книге Г. Риккерта. Науки о природе и науки о культуре. Сочинения. Т. XVII, стр. 188—193.
Плеханов, Г.—Чернышевский, Н. Г. Соч. Т. V. Гл. Историческая наука и естествознание. Стр. 251—255.
Познер, В.—Итоги и перспективы современного естествознания. «Спутник Коммуниста». 1924, № 25.
Познер, В.—Марксизм и естествознание. «Молодая Гвардия» 1923, № 6.
Познер, В.—Феноменализм и реализм в современном естествознании. «Спутник Коммуниста». 1923, № 18.
Попов-Подольский, М.—Пробный камень диалектики. «Коммунистическая Мысль». 1923 (Киев), № 12, стр. 31—45.
Пржеборовский, Я. С.—Естествознание и диалектика. «Под Знаменем Марксизма». 1923, № 8—9, стр. 161—166 и № 10, стр. 134—143.
План работ Секции естественных и точных наук. «Вестник Ком. Академии». 1925, № 12, стр. 390—392.
Рах—ов, Н.—Марксизм и естествознание. Изд. «Научная Мысль». Рига. 1908.
Рейснер, М.—Проблемы социальной психологии. Изд. «Буревестник». Ростов/Д. 1925, стр. 135.
Сапир, И.—Против идеализма в биологии. «Спутник Коммуниста». 1924, № 24, стр. 297—326; № 25, стр. 159—178.
Сапир, И.—Размножение в органической природе и диалектика. «Спутник Коммуниста». 1924, № 26, стр. 237—252.
Сарабьянов, В.—О физическом и психическом. «Спутник Коммуниста». 1924, № 24, стр. 327—335 (ответ Сапиру).
Сарабьянов, В.—Основное в едином научном мировоззрении—методе. Изд. «Пролетарий». 1925, стр. 141.

Серебровский, А. С.—Теория наследственности, Моргана и Менделя и марксисты (доклад в секции естественных наук Ком. Академии 12 января 1926 года). «Под Знаменем Марксизма». 1926, № 3, стр. 98—117.
Слепков, В.—Витализм, механизм и диалектика. «Под Знаменем Марксизма». 1926, № 9—10, стр. 89—107.
Тимирязев, А.—Новейшие попытки воскресить телеологию в области физики. «Воинствующий Материалист». Сб. № 2, М. 1925, стр. 280—283.
Тимирязев, А.—Ленин и современное естествознание. «Под Знаменем Марксизма». 1924, № 2.
То же.—Отд. изд. ГИЗ. 1924, стр. 20.
Тимирязев, изд. А.—Поход современной буржуазной науки против материализма в области естествознания. «Спутник Коммуниста». 1922, № 17.
Тимирязев, А.—Диалектический метод и современное естествознание (стенограмма доклада, прочитанного на собрании 23/IV в ред. журнала «Под Знаменем Марксизма»). 1923, № 4—5, стр. 115—132.
Тимирязев, А.—Опровергает ли современная электронная теория материи материализм. «Под Знаменем Марксизма». 1922, № 4, стр. 73—81.
Тимирязев, А.—Естествознание и диалектический материализм. Сб. ст. Кн-во «Материалист». 1925, стр. 329. Рец. 1) Максимов, А.—«Под Знаменем Марксизма». 1925, № 8—9, стр. 302—309. 2) «Книгоноша». 1925, № 31—32 (в этот сборник вошли предыдущие ст. Тимирязева).
Третьяков, Д.—Биология и биологи. ГИЗ. 1924, стр. 181. Рец. Завадовский, М.—«Печать и Революция». 1925, № 3.
Троцкий, Л.—Д. И. Менделеев и марксизм. ГИЗ. 1925, стр. 24.
То же.—«Журн. химической промышленности». 1925, т. II, № 7, 3—10. См. рец. «Летописи Марксизма», № 2. ГИЗ. 1927, стр. 136—138.
Философия науки. Естественно-научные основы материализма. Часть II. Биология под ред. М. и Б. Завадовских. ГИЗ. 1923, стр. 120. Часть I.—Физика под ред. А. Тимирязева. Рец. Андреев, Б. «Печать и Революция». 1923, № 6, стр. 200—202.
Франкфурт, Ю.—Об одном извращении марксизма в области психологии. (О кн. Челпанова. «Психология и марксизм») «Красная Новь». 1925. IV, 163—186.
Франкфурт, Ю. В.—В защиту революционно-марксистского взгляда на психику. «Проблемы современной психологии» сборник № 2, под ред. Корнилова. ГИЗ. 1926, стр. 202—243 (о книге Челпанова: Психология и марксизм).
Фридман, В. Г.—Возможно ли движение. Страница из истории борьбы материализма с идеализмом. «Прибой». Л. 1927, стр. 206.
Цейтлин, З. Рациональный и формальный диалектический материализм. «Воинствующий Материалист». Сб. № 1. М. 1924, стр. 203—232 (что такое материя).
Цейтлин, З.—Закон движения Энгельса. «Диалектика природы». Сб. № 2. Вологда. 1927. Изд. «Северный Печатник», стр. 126—176.
Шаксель, Ю.—Виталистические блуждания в современной биологии. «Вестник Ком. Академии». 1925, № 12, стр. 208—218.
Энгельс, Ф.—Письма Марксу (о Подолинском) от 19 и 22 декабря 1882 г. См. Маркс и Энгельс. Письма. 2-е изд. под ред. В. Адоратского. «Моск. Рабочий». 1923, стр. 282—285. То же в «Спутнике Коммуниста». 1924, № 23.
Введение в изучение марксизма. Вып. I. Естествознание и обществознание. Составил Эссен, Э. ГИЗ. 1924. См. рец. И. Лупиола, «Печать и Революц.». 1925, № 1, стр. 235—237.

Я. Розанов.

Проф. В. Репке. Кон'юнктура. С дополнениями и предисловием автора для русского издания. Под редакцией Альб. Л. Вайнштейна. Изд. НКФ. 1927 г.

Среди обильного потока «кон'юнктурных» работ о кон'юнктуре исследование В. Репке представляет собою заметное явление, заслуживающее внимания. Оно написано в 1922 г. и успело сразу войти в основной инвентарь экономической литературы, посвященной теории и политике кон'юнктуры, а сам автор, дотоле совершенно неизвестный в научном мире, сразу приобрел авторитет в области кон'юнктурных проблем. Если обратиться к содержанию и характеру самой работы, то нетрудно указать, какие особенности и достоинства обеспечили ей

такой благоприятный прием. Сюда надо отнести прежде всего ясность, живость, а местами даже художественность изложения—качества, довольно редко встречающиеся в специальных немецких исследованиях. Далее, умелое обращение автора с материалом, который, очевидно, знаком ему не только в сухой форме статистических таблиц, но и в виде непосредственных, конкретных жизненных фактов. Отсюда—богатство иллюстраций, при полном отсутствии «цифирной» или диаграмной «нагрузки». Отсюда—соответствие (количественное) между фактами и теоретическими выводами, при небольшом сравнительно об'еме книжки. Наконец, свободное оперирование материалом чувствуется также и в той части работы, где Репке занимается морфологическими построениями, где он дает классификационные схемы, касающиеся форм проявления, симптоматологии, политики кон'юнктуры. При всей спорности многих положений автора все же необходимо признать, что именно в этой описательной, морфологической части работы лежит главное ее значение, именно она сделала исследование Репке столь популярным. Больше всего интереса представляет здесь та часть работы, где автор занимается «Kleinmalere», описанием мелких деталей кон'юнктурного процесса, влиянием кон'юнктуры на отдельные обособленные участки хозяйственной жизни. Тут особенно чувствуется наблюдательность автора, острота глаза и меткость определений и оценок. Но на этом также и кончаются достоинства его работы. С точки зрения требований, которые можно и должно пред'явить к ней, как к попытке дать теоретическую концепцию, обобщенную формулу кон'юнктурного процесса, надо констатировать ее полнейшую беспомощность. Отчасти в своей беспомощности сознается сам Репке, когда он пишет: «В наше исследование, которое поставило себе скромную цель—внести порядок в изобилие проблем, связанных с кон'юнктурными феноменами,—нельзя включить, в противоположность попыткам теоретических концепций, об'яснение кон'юнктурного феномена из структуры менового хозяйства, развитие до конца собственного воззрения или хотя бы только обрисовку догматической истории кон'юнктуры. Сцилла поверхностности, которой не следует еще увеличивать область учение о кон'юнктуре, угрожает так же сильно, как Харибда теоретической неизмеримости». Тем не менее Репке не сдерживает слова и пускается в теоретические изыскания, отдавая при этом явное предпочтение «Харибде поверхностности» и электизма.

Мы начнем с анализа теоретических воззрений автора на движущие силы кон'юнктуры. Прежде всего «наводит на размышления» определение кон'юнктуры, которое автор дает на стр. 19. «Кон'юнктура—это есть соотношение спроса и предложения на каком-либо рынке, соотношение в высокой степени не поддающееся исчислению и воздействию и подверженное постоянному изменению. Оценка этого соотношения зависит от того, выражается ли оно или нет в рентабельности отдельных хозяйств, обусловленной ценой и формой продажи». Ко всякому определению можно придраться. Но при всем желании сохранить об'ективность, нельзя не указать на полную бессодержательность такого определения кон'юнктуры, по которому она сводится попросту к соотношению спроса и предложения «на каком-либо рынке», которое, разумеется, всегда подвержено изменению и пр. В лучшем случае—это формальное определение, которое можно приложить к любому явлению рыночного хозяйства, поскольку рынок есть единственная форма осуществления связи спроса и предложения. Для чего нужен этот формализм автору? Для того, чтобы включить в содержание «теории кон'юнктуры» все, что влияет на спрос и предложение. Тут, следовательно, можно в одну кучу свалить и те явления кон'юнктуры, которые выте-

кают из внутренних закономерностей капиталистического хозяйства, и те, которые вызываются действием внешних причин, перечисляемых самим автором, как-то природных (сезонные кон'юнктуры), политических, социальных, технических и т. д.

Но если сезонное оживление спроса и то, скажем, оживление, которое происходит в фазе промышленного под'ема, об'единяются общим термином «кон'юнктура», то ведь совершенно очевидно, что это разные кон'юнктуры, принципиально различные явления. Самому автору прекрасно известно, что учение о кон'юнктуре выросло из учения о кризисах. Более внимательное исследование причин кризисов показало, что они подготовляются предыдущими фазами промышленного оживления и под'ема. А изучение обстоятельств перехода от депрессии к под'ему показало, что в условиях самой депрессии коренятся причины, подготовляющие под'ем. Если по мнению некоторых исследователей переход от депрессии к под'ему представляется более загадочным, чем смена под'ема кризисом, если этот переход, по их мнению, не может совершаться без вмешательства внешних воздействий («пертурбирующих факторов» по Первушину), то во всяком случае внешние факторы только развязывают или ускоряют действие тех сил, которые накапливаются внутри хозяйственной системы в период депрессии и которые не могут проявиться вследствие общей вялости и обилия внутренних трений в хозяйственном организме. Во всяком случае учение о кон'юнктуре явилось, как результат многочисленных наблюдений, обнаруживших, что все фазы так наз. промышленного цикла внутренне связаны между собой и подготовляют друг друга. При чем же здесь сезонные и пр. влияния, лежащие в совершенно иной плоскости и требующие совершенно особого метода изучения. Ведь никакой теоретической проблемы в факте оживления спроса перед Рождеством или Пасхой не существует в том смысле, в каком мы привыкли понимать теоретический анализ смены фаз в промышленном цикле. Для нашего автора, однако,... «все кошки серы». Если кон'юнктура есть «спрос и предложение», то все есть кон'юнктура. Остается только разложить по полочкам ее всевозможные формы и виды проявлений. Больше того: «он ставит на первое место как раз «внеэкономические» факторы кон'юнктуры и без стеснения об'ясняет, почему «сие» необходимо. «Больше всего нужно подчеркнуть, что как раз этим внеэкономическим факторам, частью имманентным всем временам, всем хозяйственным ступеням и организационным формам нужно придать первостепенное значение. Особенно потому, что они могут доказать, что кон'юнктура, как таковая, не есть исключительно явление капиталистическое, свойственное нашей современной хозяйственной организации, но что моменты, образующие кон'юнктуру и вместе с этим при особых отношениях вызывающие кризисы, имеются во все времена и при всех хозяйственно-организационных формах. Ибо «кон'юнктура» не только сила связей социального характера, но и природы». Вопрос ясен. Кон'юнктура, которая, по определению самого Гепке, есть рыночный феномен, тут же об'является продуктом природы и увековечивается для всех форм хозяйства. Уже во всяком случае гораздо последовательнее поступает Ир. Фишер, когда он вообще признает только те циклические движения кон'юнктуры, которые вызваны сезонными причинами, а собственно-промышленный цикл считает «мифом», явлением чисто «монетарного» порядка (См. его статью в «Соц. Хоз.» № 2, 1926 г.).

Справедливость требует отметить, что сам автор сознает особое значение кон'юнктурного цикла, обусловленного внутренним закономер-

ным ритмом движения рыночного хозяйства. Несмотря на обещание не вдаваться в исследование глубоких и коренных причинных связей, он все же их усердно ищет и «находит». Но какой же получается здесь эклектический букет! Положительно нет ни одной сколько-нибудь известной и истасканной буржуазной теории промышленного цикла, которая не оставила бы следов на «построениях» Репке. Если оставить в стороне «гео-экономический момент» (влияние колебания урожаев на движение кон'юнктуры), влияние роста народонаселения, изменения в добыче золота и т. п. причины, каждой из которых Репке отводит известную роль в кон'юнктурном процессе, то из «эндогенных» причин он на первое место ставит то обстоятельство, «что потребность и спрос на одни блага подвержены большим колебаниям, нежели на другие. Именно потому, что потребность на первые блага (т.-е. производительные блага. *И. Д.*), в силу более длинного периода их амортизаций, растягивается на более длительные периоды, ее легче, нежели потребность в предметах второй категории (потребительские блага. *И. Д.*) отодвинуть и возможно эластичнее приноровить к изменениям экономических и психических предпосылок, от которых зависит стремление к покупке». Таким образом, колебательное движение кон'юнктуры исходит прежде всего от производительных благ, к которым по значению в кон'юнктуре Репке приравнивает также влияние текстильной индустрии, наиболее эластичной из отраслей, производящих средства потребления. Но для Репке такое «одностороннее» об'яснение все же слишком жестко», и он торопится дополнить его другими факторами. Так, причину срыва экономического под'ема он видит вслед за Касселем и др. в недостатке капитала. «Сжатие денежного рынка все более и более делалось главным моментом для срыва под'ема». Но и это «скорее повод, чем причина». Другой причиной срыва является, наоборот, «перекапитализация» (термин, который Репке заимствует у Бунятяна). «Народное хозяйство снабжается капиталами в большей мере, чем это отвечает его возможностям применять их, в силу того, что общественное потребление, общественное накопление и частное накопление—процессы, совершающиеся независимо один от другого. Если переход от под'ема к кризису Репке об'ясняет при помощи автоматически порождаемых—хотя и противоречащих друг другу—причин, то превращение депрессии в под'ем для него вообще является загадкой, которую он пытается отгадать при помощи своего излюбленного обращения к в н е-э к о н о м и ч е с к и м силам. Конечно, во время депрессии скопляются потенциальные продуктивные силы, ждущие приложения, капиталов много, процент на капитал низок и пр.—одним словом, есть все материальные предпосылки для под'ема. Но «как ледяной кристалл не может образоваться без сотрясения охлажденной водяной поверхности, точно также не могут быть приведены в действие потенциальные продуктивные силы, собранные в период депрессии, и не могут начать периода под'ема без какого-либо толчка, пришедшего извне». Откуда приходит этот толчок—остается неясным. Но во всяком случае... «весь процесс под'ема в том виде, в каком он был выше описан... немыслим без соучастия двух факторов: одного более психического, с п е к у л я ц и и, и одного—лежащего скорее в организации менового хозяйства: трудности в оценке настоящей и будущей потребности. Оба фактора неразрывно связаны между собою: так как потребность очень трудно оценить, то спекуляция, прежде всего в сфере обращения,—менее в производственной сфере—находит широчайшее поле деятельности и ведет к преувеличениям». Несколько дальше автор довольно обстоятельно исследует «психическую компоненту кон'юнктуры», находя в ней совершенно самостоятельный источник колебаний, дей-

ствующий по методам психического заражения (через биржу и т. д.). А так как на «психическом факторе» основан такой тонкий механизм, как кредит, то совершенно очевидно, что кредитный цикл должен являться у Репке одной из основных сил, определяющих кон'юнктуру. Это влияние кредитного цикла он особо исследует в специальной статье Kredit und Konjunktur» (См. Jahrbücher für Nationaloekonomie u. Statistik. 124. Band, März-April 1926), в которой приходит к выводу, что современная форма банковского кредита, осуществляемого при посредстве открытых текущих счетов, чеков и пр., создает нечто в роде кредитной инфляции, которая вызывает повышение кон'юнктуры. В связи с этим он уделяет большое внимание и процентной ставке, в которой он видит также важный регулятор промышленного цикла. Одним словом, чего хочешь, того просишь. Автор на протяжении десятков страниц барахтается в хаосе нагроможденных им самим без всякого толку и плана причин и факторов, напрасно стараясь внести какой-либо порядок в исследованные проблемы. Иногда на него снисходят минуты просветления, и он как-будто начинает говорить здравые вещи. Так, напр., мы находим у него местами довольно удачную критику «монетарной» теории кон'юнктуры. «Изменение количества денег и об'ем кредита,—говорит он,—уже в силу того не могут рассматриваться как последние причины, что ведь под определяющими причинами ценности денег, помимо факторов на стороне товаров, играет роль также и тот момент, который теоретики денег не совсем ясно обозначают, как «скорость обращения денег», т.-е. меняющийся об'ем склонности публики держать денежные резервы. Но весь кон'юнктурный цикл может как раз рассматриваться, как последовательная смена скорости обращения денег». Совершенно правильно Репке указывает в другом месте, что движение кон'юнктуры—не есть только явление ценностного (или «ценового», как теперь модно выражаются) порядка, а включает в себе, с одной стороны, колебание физического об'ема продукции в целом, с другой—непрерывные качественные изменения состава этой продукции. Поэтому он с полным основанием считает утопичными проекты Кейнса и Фишера о стабилизации кон'юнктуры путем стабилизации общетоварного индекса цен (через аппарат кредита), хотя сам подчеркивает роль кредита, как смягчающего фактора, в движении американской кон'юнктуры. Он сознает, правда, несколько смутно, что колебания кон'юнктуры вытекают из несоответствия между темпом накопления и темпом потребления и об'ясняет загадку всеобщего перепроизводства специфическим механизмом капиталистического рынка. «То, что кажется перепроизводством, не может рассматриваться, как нечто суммарно-количественное, а лишь как внутренний качественный недостаток сложного и, благодаря вмешательству денег, столь чувствительного общехозяйственного менового процесса, как временное нарушение сцепления предложения и спроса в их отдельных долях и порциях». Наконец, он правильно нащупывает роль «производительных благ», т.-е. материальных элементов производительного капитала в движении кон'юнктуры. Однако эта идея, которую новейшая буржуазная экономия взяла напрокат у Маркса, впервые указавшего на основной капитал, как на «материальную основу кризисов», и которую она видоизменила и исказила соответственно своим классовым задачам, служит у Репке орудием для доказательства неизбежности колебания кон'юнктуры при всякой системе хозяйства, основанной на высокой технике, поскольку длинный путь производства не дает возможности предвидеть будущие потребности. Если раньше мы узнавали от автора, что кон'юнктура—вечное явление, поскольку времена года всегда меняются, то теперь кон'юнктура увекове-

чивается автором по причинам чисто внутреннего экономического порядка, ибо для производства благ необходимо время, в течение которого потребности могут измениться. А потому—нечего вменять кризисы специально капиталистической системе хозяйства.

Другой причиной неизбежности кризисов при социализме Репке считает наличие мирового хозяйственного сплетения. Время и пространство—вот, оказывается, где истинные причины кон'юнктурного цикла, и поскольку эти философские категории не отменяются с отменой капитализма, то вместе с ними остаются и все «качества». Вот последнее слово буржуазной науки о кон'юнктуре.

Уделяя много места анализу кон'юнктур с «короткими» и «длинными» волнами, Репке очень мало—всего в нескольких строках—останавливается на проблеме пресловутых «больших циклов». Он, повидимому, считает длинные периоды расцвета и депрессии явлением чисто монетарного порядка, связанным с добычей золота, ухитряясь и здесь вступить в противоречие с собственным утверждением, что денежный феномен не может об'яснять кон'юнктурных движений.

С большим интересом читаются главы, посвященные влиянию кон'юнктуры на различные отрасли промышленности и на торговлю, где автор не ставит перед собою задач широких обобщений, а занимается изучением частичных или мелких закономерностей. Заслуживает внимания положение автора, что образование капиталистических монополий совершается, по общему правилу, одинаковым темпом как в период под'ема, так и в период депрессии, за исключением краткосрочных монопольных соглашений, которые обусловлены кон'юнктурой. Автор упускает здесь из виду, что краткосрочные соглашения имеют тенденцию перейти в длительные, и что таким образом депрессия все же стимулирует процесс об'единения. Много любопытного читатель найдет в книге также и по другим вопросам кон'юнктурной политики предприятий, которую автор делит на активную и пассивную с соответственными подразделениями.

Что касается симптоматологии кон'юнктуры, то Репке главным образом дает здесь известную упорядоченную классификацию симптомов, внося мало нового в содержание и исследование самих симптомов. Придавая особое значение симптомам сферы производства (среди них главным образом размеры продукции), Репке вместе с тем считает, что диагноз и прогноз кон'юнктуры должны основываться в первую очередь на симптомах сферы обращения (процент, вклады, операции с фондами, внешнеторговый оборот, внутренний оборот). Среди последних, однако, нет ни одного, показания которого не были бы двусмысленными, и поэтому суждения должны базироваться на всей совокупности признаков, а не на каком-либо одном из них, то же самое относится и к другим сферам.

Заключительная глава посвящена вопросам кон'юнктурной политики государства, возможности которой Репке склонен скорее преуменьшить, чем преувеличить. Важнейшими орудиями этой политики он считает регулирование учетной ставки и предпринимательские функции государства (в особенности жел. дорог). Что касается кредитного планирования, как орудия кон'юнктурной политики, то Репке высказывается о нем кратко и выразительно: «Рационализация кредита есть шаг к социализму—или, как это называют, к плановому хозяйству, и находится под тем же основным сомнением, как это последнее». «Рационализация кредита» при сохранении капиталистических отношений производства, обмена и распределения есть утопия, а не «шаг к социализму», как это угодно изобразить Репке.

Но ведь для него и социализм—утопия, а потому подобное смешение свидетельствует не только о безграмотности автора в вопросах социалистической теории, но и об определенной тенденции, относительно которой не может быть никаких сомнений: назад к «laisser faire».

Знакомство с книгой Репке—полезно отчасти в виду известных достоинств ее, отмеченных нами вначале, а главным образом—в виду того, что она является характерным образцом блужданий «теоретической» буржуазной мысли в лабиринте современной упадочной капиталистической кон'юнктуры.

И. Д.

Классики естествознания. Кн. 16. Вильям Гарвей. Анатомические исследования о движении сердца и крови у животных. ГИЗ. 1927 г. Стр. 113.

В серии классиков естествознания работа В. Гарвея относится уже к историческим документам развития «современного естествознания», именно с этой стороны книга является ценным вкладом в русскую литературу по истории естествознания. Гарвей—современник великих исторических потрясений и революций, стоящих у исторического входа капиталистической эры. Гарвей — современник революционных сдвигов в методологии познания вообще и естествознания в частности. Он стоит в общении с такими колоссами новой философии, как Бэкон В. (которого он пользует как врач) и Декарт (который первым признает истинным открытие кровообращения); вместе с тем он достойный последователь великой школы анатомов нового естествознания,—школы, вписавшей в анатомию славные имена Сильвия, Везалия, Фаллопия, Евстахия, Серветто и Фабриция. В «новой анатомии» «анатомы должны учиться и учить не по книгам, а препаровкой, не из догматов учености, но в мастерской природы». Выдвигая этот лозунг, Гарвей говорит: «Я вовсе не хотел пересмотром и перебиранием статей и мнений анатомических авторитетов в громадном томе показать свою памятливость, ночные труды и свою начитанность», чем в досуге, можно добавить, занимались схоластические ученые-монахи того времени.

Есть известные основания утверждать, что, «раньше чем Бэкон Веруламский дал теорию индуктивного метода, Гарвей практически показал на деле, что значит индуктивный метод и каких результатов можно достичь наблюдением и опытом». Открытие кровообращения Гарвеем, когда еще вовсе не известны были капиллярные сосуды (открытые потом Мальпиги, с применением микроскопа), показало всю силу индуктивного метода, особенно в соединении его с дедукцией. Постулирование Гарвеем «анастомозов и пор», соединяющих вены и артерии на периферии тела, в сущности является дедуктивным следствием эмпирической индукции. Вот как доказывает Гарвей существование «анастомозов и пор»: «Проход крови через артерии при ослабленной тугой повязке и связанное с этим вздувание вен, расположенных ниже, доказывает, что кровь проходит (из вен в артерии), но не наоборот; это доказывает существование или анастомозов между этими сосудами, или же пор в тканях, которые служат для тока крови» (58). [Взятое нами в скобки (из вен в артерии) очевидно описка, вкравшаяся при переводе, так как в начале этой же статьи Гарвей говорит обратное: «Что артерии есть сосуды, выводящие кровь из сердца, а вены являются путями для возвращения крови в сердце, и что в конечностях тела кровь проходит из артерий в вены (курсив

наш. *И. Б.*) или по анастомозам или же просачиваясь сквозь поры тканей». (Стр. 50)][1]).

В сущности прилив крови в конечность после ослабления тугой повязки мало что доказывает, если не известна еще истинная природа кровообращения. Вздутие вен при слабой повязке ниже ее могло найти тысячу неверных об'яснений при запутанности вопроса в то время. Ближайшим об'ясняющим обстоятельством могло бы быть то, что вены снабжены тонкими мало упругими оболочками и лежат на поверхности тела в отличие от артерий, имеющих упругие стенки и лежащих глубже.

Впрочем, уже Гален допускал существование анастомозов и пор, по которым сообщаются сосуды.

Хотя еще до Гарвея малый круг кровообращения был открыт прежде всего Серветтом, погибшим на костре в 1553 г. в Женеве, затем Колумбом и Цезальпини, но беглые справки Гарвея о господствующих взглядах или, вернее, о господствующей путанице по этому вопросу, показывают, какое огромное дело сделало открытие Гарвея. Уже продолжение изучения значения венозных клапанов, открытых Сильвием и точнее их изучившим Фабрицием, учителем Гарвея, могло быть ближайшим исходным пунктом открытия Гарвея. И Гарвей, действительно, талантливо и точно продолжил дело своего учителя, об'яснив их значение в движении крови по венам. Но главное внимание он, повидимому, направил на деятельность сердца, изучая его на вивисекциях.

Трудность первых наблюдений систолы и диастолы при вивисекциях приводила сначала Гарвея в смятение: «Дух мой пришел в смущение,—говорит он,—я не мог различить систолы и диастолы, так как у многих животных сердце показывается и исчезает в мгновение ока, с быстротой молнии, так что мне казалось один раз здесь систола, а там диастола, другой раз наоборот». «Ежедневное внимательное и терпеливое изучение движений сердца», наконец, увенчалось успехом. Гарвей, изучив характер ритмических сокращений сердца, установил его отношение к пульсации кровеносных сосудов и дал правильную теорию пульса, взамен фантастических учений о пульсе в тогдашней медицине. Именно, поняв деятельность сердца, Гарвей понял весь процесс кровообращения. «Сердце есть основа жизни и солнце микрокосма, подобно тому как солнце можно назвать сердцем мира. В зависимости от сердца кровь двигается (курсив наш. *И. Б.*), оживляется, противостоит гниению и сгущению» (41),—писал Гарвей.

Изучив движение сердца, Гарвей пришел к убеждению, «что при движении сердца со всех сторон происходит утолщение полостей желудочков, сжатие их и выталкивание из них крови... при сокращении сердце бледнеет, ибо в это время выпускает всю кровь, которая содержится в его полостях; при расслабленном и покойном состоянии сердце принимает свой обычный цвет, ибо снова его желудочки наполняются кровью. В самом деле в этом никто не может сомневаться, так как если глубоко поранить желудочек, то при каждом движении и

---

[1]) В роттердамском 1648 г. издании диссертации Гарвея (издании, которое помечено первым, коим и пользовался переводчик) неверно, переданное место значится так: «Signum est Sanguine a b a r t e r i i s i n v e n a s (курсив автора), & non contra, permeare» (стр. 137), точно так же, как и в начале II главы, где читаем: «& in membris & extremitatibus sanguinem (vel per anastomosum immediate, vel mediate per carnis porositates, vel uttoque modo) transire abarteriis in venas» (стр. 126).

при каждой пульсации сердца видна стремительно выбрасываемая кровь» (16).

Вслед за изучением деятельности сердца Гарвей наложением лигатур на вены и артерии, отходящие от сердца, устанавливает действительный ток крови по артериям от сердца, и по венам к сердцу. Далее простые вычислительные определения количества крови, проходящей через сердце в $1/2$ часа, в сутки и т. д., убеждают Гарвея, что кровь не может вся уходить на питание тканей, она должна возвращаться по венам в сердце для пополнения питательным материалом. По вопросу о снабжении питательным веществом крови Гарвей полагал, что «сердце является местом, где происходит совершенная переработка пищи и распределение по всему телу» (65); для предварительных превращений хилус уносится кровью по венам в печень, «чтобы в ее воротах приостановить ход хилуса и дать ему полное преобразование. Таким образом он не может пройти в сердце слишком рано или в непереработанном виде, что могло бы причинить затруднение источнику жизни» (68)—сердцу.

Говоря о легочном круге кровообращения, Гарвей несколько раз настаивает, что «причиной всех ошибок была неясность вопроса о связи сердца и легких у человека» (стр. 28, см. также 29 и 30). Гарвей действительно нащупал центральный пункт путаницы, но вопрос оказался не столь простым, как казалось Гарвею. «Вина этих анатомов,—говорит он,—состоит в том, что, желая познать органы животных, они изучали их исключительно на человеке и притом на трупе». Сам Гарвей наблюдал кровообращение у всех классов позвоночных, пытался наблюдать и на некоторых беспозвоночных. Однако упрек предшествующим ему анатомам брошен огульно. Так, Везалию требовалась большая отвага, чтобы анатомировать хотя бы труп, но человеческий. Великий революционер анатомии, говорят, не брезговал воровать трупы казненных преступников, так как анатомия человеческого тела запрещалась религиозными догмами. Гален поэтому анатомировал обезьян. Но еще Эразистрату (за 300 лет до новой эры) приходилось производить публичные вивисекции на живых преступниках, а не на трупах. Демокрит и Аристотель анатомировали главным образом животных. Но и сам Гарвей, несмотря на широкий диапазон его вивисекций, не свободен от анатомических ошибок, его правило «когда сердце имеет один желудочек, то оно имеет и одно предсердие» (75) верно для рыб, но не верно для амфибий и рептилий, во-вторых, именно у некоторых амфибий перегородка предсердий имеет отверсти вопреки утверждениям великого анатома. Очевидно, дело не в об'ектах анатомии, а в сложности самого «вопроса о связи сердца и легких».

Анатомию легочных вен и артерий удовлетворительно описал еще Аристотель, хотя он и допускал ошибочно непосредственное сообщение легких и сердца через особые поры. Последнее требовалось для оправдания физиологических спекуляций древних, спекуляций с теорией пневмы. Теория пневмы у древних по существу есть прообраз, смутное угадывание значения дыхания для кровообращения. Стоял таким образом кроме анатомического отношение сердца и легких еще вопрос физиологического взаимоотношения дыхательной и кровеносной системы. К этой последней цели была направлена и книга Фабриция о дыхании, с изобличения которого начинает свое «вступление» Гарвей.

Несмотря на то, что Гарвей якобы вопреки Фабрицию писал: «Что назначение и польза сердца и артерий иная, чем груди и легких», «так как сердце по своему строению и движению отличается от легких, а артерии от груди» (стр. 1), в тексте, возвращаясь к дыханию, он

говорит, в согласии с Фабрицием, что «кровь проходит и фильтруется через легкие для охлаждения (курсив наш. *И. Б.*) от вдыхаемого воздуха и для предупреждения индивидуума от перегревания, удушения и тому подобного» (34).

Открытие Гарвея оказалось первой страницей научной физиологии нового времени. Но все важнейшие физиологические процессы, связанные с кровеносной системой, трактовались Гарвеем по-старинке, возьмем ли мы дыхание, снабжение крови питательными веществами, деятельность селезенки или почек. Однако открытие Гарвея имело огромнейшее значение для последующего развития физиологии. В 1628 г. он напечатал во Франкфурте свое «Exercitatio Anatomica de Motu cordis et Sanguinis», в 1928 году этой работе исполняется 300-летний юбилей. Физиология животных и человека запишет вместе с этим 300-летний юбилей и в свою собственную историю.

Книга снабжена предисловием знаменитого русского физиолога академика Ив. Павлова.

Перевод местами прекрасный, но, как выше уже отмечено, не свободен от досадных описок. При более внимательном просмотре их можно было бы избежать. Нежелательно также в историческом документе «употребление более современной терминологии», допущенной сознательно переводчиком, что он и оговаривает в послесловии.

Подобные труды, в виду большого исторического их значения, интересно иметь со всеми архаизмами в терминологии и даже их ошибками, на которых последующая наука будет учиться. При всех этих замечаниях нельзя не присоединиться к академику Павлову в выражении благодарности за появление рецензируемой «книги доктору-физиологу К. М. Быкову, сделавшему перевод ее с латинского подлинника».

Помимо прекрасно изданной (что надо отметить к чести Госиздата) диссертации Гарвея, книга снабжена обширным послесловием переводчика, в котором автор определяет историческое место бессмертного открытия Гарвея.

И. Бугаев.

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ.

М. П. Павлович.

(1871—1927 гг.).

19 июня 1927 г. не стало М. П. Павловича-Вельтмана (Волонтер), старого революционера, видного представителя советской общественности и науки, автора многочисленных трудов по международной политике и востоковедению. Оборвалась кипучая и многосторонняя жизнь и деятельность...

М. П. Павлович родился в 1871 г. в Одессе, где провел и свои ученические годы. Уже в бытность свою в гимназии он постепенно проникается революционными идеями, принимая участие в кружках самообразования и усиленно читая «запрещенную» литературу. «Капитал» Маркса, «Наши разногласия» Плеханова и мн. др. были прочитаны Павловичем еще на гимназической скамье. На общественную арену он выступил убежденным марксистом и социал-демократом. По окончании гимназии Павлович поступил на юридический факультет местного университета, но всецело отдался пропагандистской деятельности среди рабочих. В 1892 г. он был арестован по делу Цыперовича (большой социал-демократический процесс) и после полуторагодового тюремного заключения был сослан в Сибирь на пять лет. Здесь чтением и непосредственным общением с революционными борцами Павлович расширяет свои горизонты, закаляет свое революционное миросозерцание. По возвращении из ссылки он поселяется в Кишиневе и снова принимается за пропагандистскую работу. Здесь же, заинтересовавшись происходившей тогда англо-бурской войной и ее ролью в развитии международных отношений, Павлович выступает с рядом докладов и опубликовывает свою первую работу «Что доказала англо-бурская война», вышедшую в Одессе в 1901 г. Из Кишинева Павлович выехал за границу в Париж, где сразу же попал в водоворот тогдашней революционной эмиграции, стал сотрудником «Искры», при



М. П. Павлович.

чем писал преимущественно на темы о вооруженном восстании, тактике уличного боя и т. п. Тогда уже Павлович стал славиться, как марксистский военспец.

В 1905 г. он возвращается в Россию, едет в Петербург на пропагандистскую работу в военных организациях, в Преображенском и Семеновском полках, среди гарнизона Петропавловской крепости и др. В 1906 и 1907 гг. Павлович дважды арестовывается, сидит в Таганке и в Крестах, затем скрывается в Финляндию и бежит за границу. Снова очутившись в Париже, Павлович чужд того уныния и моральной депрессии, которые охватили немалую часть эмиграции после разгрома первой революции и в тяжелые годы Столыпинщины, он попрежнему активен и бодр в своей работе. Теперь особенное внимание его привлекают революционные события, развернувшиеся в странах Ближнего, Среднего и Дальнего Востока. Павлович непосредственно общается с различными восточными революционерами, младотурками, персидскими конституционалистами, индусскими эмигрантами, китайскими революционерами и т. д. «У меня на квартире,—пишет он в своей автобиографии,—постоянно собирались индусские, персидские, китайские революционеры, с которыми мы обсуждали планы революционной работы. Я сопровождал персидских революционеров д-ра Абдулла-Мирзу и рабочего Раим-Заде во время их поездки по Европе, редактировал прокламации для персидских, китайских и индусских революционеров и сотрудничал в их газетах и журналах. Эта интенсивная работа в восточном национально-революционном движении, которому я придавал огромное значение, захватила меня целиком». Интерес к Востоку, давно уже зародившийся у Павловича, развернулся с особенной силой. Свое практическое ознакомление он пополняет широким знакомством с литературой и всякого рода документацией. Он сам опубликовывает чрезвычайно ценный источник для характеристики царской политики в Персии—секретные письма знаменитого начальника казацкой бригады Ляхова. На ряду с этим Павлович занимается и общими вопросами международных отношений, особое внимание уделяя проблеме империализма.

Во время мировой войны Павлович стал в ряды интернационалистов, был ближайшим сотрудником «Нашего Слова», где вместе с Антоновым-Овсеенко, Лозовским и др. выступал против социал-патриотических уклонов. После Февральской революции Павлович вместе с М. Н. Покровским и Агафоновым занимался разбором секретного архива русского посольства в Париже, в результате чего было обнаружено 60 провокаторов. Осенью 1917 г. Павлович, принимавший энергичное участие в отправке русских эмигрантов на родину, вернулся в Россию.

После Октябрьской революции знания, энергия и исключительная работоспособность Павловича были широко использованы. Ему пришлось выполнять множество серьезных и ответственных поручений. В качестве видного знатока международных отношений он участвует в качестве эксперта в Брестской конференции. А. А. Иоффе авторитетно засвидетельствовал, какую пользу приносил Павлович при этих переговорах. Затем Павлович становится во главе главного комитета государственных сооружений, руководящего всем строительным делом в РСФСР. Здесь впервые были разработаны и частично начаты осуществлением проекты Свирстроя, Волховстроя, Волго-Донского канала. Бурно развернувшиеся события гражданской войны оторвали Павловича от мирного строительства и двинули его на фронт, где он работал при штабе южфронта и в Дагестане. А затем короткий

период работы на Украине в качестве замнаркомпроса, активнейшее участие в с'езде народов Востока в Баку и в Совете действия и пропаганды народов Востока, большая и плодотворная работа в Наркомнаце в качестве члена коллегии (1921—1923 гг.), председательство в Научной Ассоциации Востоковедения и Русско-Восточной Торговой Палате, профессура в Военной Академии и мн. др. На ряду с этим интенсивное литературное творчество и аккуратнейшее исполнение всех своих партийных обязанностей; Павлович был одним из любимейших лекторов-агитаторов в многочисленных рабочих аудиториях. И всюду и везде Павлович был бодрым, живым и активным деятелем, хорошо умевшим работать и заражавшим этой работоспособностью других.

М. П. Павлович оставил большое литературное наследие. Он был чрезвычайно плодовитым, быстро и свободно пишущим автором; творчество его било ключем. Почти каждый год опубликовывались книги, брошюры, большие журнальные статьи, обстоятельные рецензии и т. д. Многие из работ Павловича выдерживали по несколько изданий, при чем всякий раз вносились поправки и значительные дополнения, увеличивавшие первоначальный текст иногда даже в два раза и более. Научные, основанные на тщательно проработанном и всегда обильном фактическом материале работы Павловича написаны живым, увлекательным и доступным языком. Широкая культурность автора и его общая литературная начитанность ярко отобразились и на манере его письма. Этим, конечно, об'ясняется большая популярность его произведений.

Трудно в настоящей краткой статье охарактеризовать все многочисленные писания М. П. Павловича; хочется отметить лишь главнейшее. Большинство работ Павловича касаются вопросов современных международных отношений, авторитетнейшим знатоком которых он, по справедливости, считался. Особенное внимание его привлекал империализм, его теория и практика. Специальностью Павловича, как метко выразился в своей речи на гражданской панихиде М. Н. Покровский, была «слежка» за империализмом. Он действительно внимательнейшим образом следил за всеми махинациями империалистических держав, вскрывая их подоплеку, выявлял все их мины и контрмины. Основная идея, которую он проводил в своих работах, заключалась в подчеркивании особой роли тяжелой индустрии во внутренней экономике и внешней по политике империалистических государств.

Если даже не во всем можно согласиться с теоретическими предпосылками Павловича, требующими известных оговорок, то, во всяком случае, как его общий курс «Империализм» (неск. изд.), так и целый ряд книг, составляющих части огромного задуманного труда «Основы империалистической политики и мировая война», являются крупным вкладом в марксистскую литературу, об империализме. В книге об империализме обращает внимание сделанный рукой мастера обзор существующих теорий, а также основных явлений империализма. Из работ, посвященных отдельным проявлениям империалистической политики, особенно следует отметить выдержавшие не одно издание книги: «Империализм и борьба за великие железнодорожные и морские пути будущего» и «Мировая война 1914—1918 гг. и будущие войны», «Борьба за Азию и Африку», «Французский империализм». Последний труд, дающий блестящую и исчерпывающую характеристику империалистической политики довоенной и послевоенной Франции, носит на себе черты долгих и вдумчивых наблюдений автора в самой стране.

Кстати сказать, работа эта, впервые опубликованная в 1918 г. в виде небольшой книжки в 78 страниц, появилась в новом издании

осенью 1926 г. об'емистым томом в 260 стр. К этому же циклу работ примыкает серия монографий под общим заглавием «РСФСР в империалистическом окружении»; здесь М. П. Павлович дает чрезвычайно интересный и основательно документированный обзор взаимоотношений Советской России и главнейших капиталистических. стран—Англии, Франции, Соед. Штатов и Японии.

Видное место в своих работах Павлович уделял Востоку. Революционный, пробужденный Восток, колониальный и полу-колониальный мир, сбрасывающий свои цепи и восстающий против жестокой эксплоатации империализма—привлекали исключительное внимание Павловича. Этими вопросами, как уже мы говорили выше, он занимается во время эмиграции в Париже; эти же востоковедные темы заняли его еще в большей степени и по возвращении на родину. Когда в 1921 г., по инициативе В. И. Ленина, было положено начало Всероссийской (ныне Всесоюзной) Научной Ассоциации Востоковедения с ее актуальными и боевыми задачами, то Павлович стал ее председателем и редактором первого органа марксистского востоковедения—журнал «Новый Восток». Теперь его прежние штудии развернулись с новой силой. В каждой книге «Нового Востока», в отдельных книгах, брошюрах, сборниках и статьях Павлович откликается на все основные моменты национально-освободительной борьбы народов Востока. И китайские события с их широким диапазоном и Тихоокеанская проблема, Марокканская трагедия и аграрные отношения Персии, революционная Турция и Индия и Япония—все это тщательно анализируется и социологически освещается Павловичем. На ряду с зарубежным Востоком он глубоко интересуется и нашим Советским Востоком, фиксируя в своих писаниях отдельные моменты его строительства и культурных достижений. Хорошо памятна та роль, какую сыграл Павлович в подготовке и проведении первого тюркологического с'езда в Баку, так всколыхнувшего тюркскую общественность. На этом с'езде Павлович выступил с обстоятельным докладом «Культурные достижения тюркских народов СССР после Октябрьской Революции»; эту тему он задумывал разработать в виде целой книги, приуроченной к празднованию десятилетия Октябрьской Революции. Павлович являлся одним из первых пионеров Советского Востоковедения, немало способствовавшим развитию и укреплению его позиций.

Нельзя не отметить также работ Павловича по военным вопросам. Он один из первых русских марксистов обратил серьезное внимание на военные сюжеты. Перу его принадлежат книги на темы: «Регулярная армия или милиция» (1907 г.), «Вооружение народа и вооружение против народа» (1912 г.), «Русско-японская война» (несколько изд.), «Химическая война и химическая промышленность» (1924 г.) и др. Павлович принимал ближайшее участие в организации Военной Академии, профессором и почетным слушателем которой состоял до конца своих дней.

В заключение следует указать, что одна из первых работ по ленинизму составлена М. П. Павловичем. Им выпущена книга — «Ленин. Материалы к изучению ленинизма» 1924 г., заключающая в себе ряд этюдов, характеризующих взгляды Ленина на национальный вопрос, его критику ультра-империализма Каутского, его оценку народничества и др. Эти этюды первоначально напечатаны были в журналах (в том числе и на страницах «Под Знаменем Марксизма»)[1]).

---

[1]) «П. Зн. М.» № 10, 1923; №№ 1 и 2 за 1924 г.

Незадолго до смерти М. П. Павлович предпринял издание собрания своих сочинений. Ему удалось выпустить всего 4 тома. Надо искренно пожелать, чтобы начатое дело было доведено до конца и литературное наследие крупного марксиста-международника и востоковеда было широко опубликовано.

И. Бороздин.

Сообщение из Владивостока.

При Дальневосточном Государственном Университете в марте месяце организован «Кружок Друзей Воинствующего Материализма». В основу программы и деятельности кружка положена статья Ленина в т. XX «О значении воинствующего материализма». За короткий период своей деятельности кружком проведены следующие доклады:

1) «Диалектика в развитии органического мира».
2) «Методологическая теория марксизма».
3) «Философия Маркса и Энгельса и связи с экономическим развитием общества».
4) «Ленин как философ».

На ряду с философскими выступлениями кружок предполагает проведение докладов по теоретической политэкономии и естествознанию. Кружок об'единяет партийный и беспартийный актив. Кружок завоевал симпатии общественных организаций ВУЗ'а. Вне сомнений, что кружок имеет будущность. Кружок завязал связи с РАНИОН, Институтом Красной Профессуры и др. организациями.

ОПЕЧАТКИ

Напечатано:	*Должно быть:*
№ 4	
стр. 32, строка 5 снизу ничью	нитью
» 35 » 16 сверху чтобы	как
» 35 » 17 » как	чтобы
» 37 (примечание) — искажение Ньютона	искажение и Ньютона
» 46 строка 26 сверху — исторические	исторически